

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ



*Иные берега*

*Vieraat Rannat*

1

**1 (15) 2013**

Журнал Объединения русскоязычных литераторов Финляндии  
Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden lehti

Хельсинки 2013  
Helsinki 2013

Главный редактор – Ольга Пуссинен  
Päätoimittaja – Olga Pussinen

Редакционная коллегия – Л. Корниенко, М. Крошнева  
Toimitusneuvosto – L. Kornienko, M. Kroschneva

Составитель – Людмила Яковлева  
Tekijä – Ludmila Jakovleva

Корректурa – О. Пуссинен, И. Глебова  
Korrehtuuri – O. Pussinen, I. Glebova

Компьютерная верстка – Ирина Глебова  
Tietokoneenmuotoilu – Irina Glebova

Иллюстрации – Анатолий Туманов  
Kuvitus – Anatoli Tumanov

Журнал выходит два раза в год, весной и осенью.  
Aikakauslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Подписка на журнал принимается по e-mail:  
Lehti tilaus e-mail:

[inyeberega@gmail.com](mailto:inyeberega@gmail.com)

2

Информация о журнале расположена на сайте:  
Tiedonanto lehdestä:

<http://finlito.tk>

Тексты для публикации принимаются по электронной почте:  
Julkaistavia kirjoituksia otetaan vastaan osoitteessa:

[inyeberega@gmail.com](mailto:inyeberega@gmail.com)

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  
Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.  
Присланные материалы не рецензируются.  
Издатель: Объединение русскоязычных литераторов Финляндии.

---

Lähde mainittava kirjoituksia lainattaessa.  
Lehden kanta ei välttämättä ole sama kuin kirjoittajan kanta.  
Lähetettyjä aineistoja ei arvioida.  
Julkaisija: Suomen venäjänkielisten kirjailijoiden yhdistys ry.

© Иные Берега Vieraat Rannat 1 (15) / 2013

© Inye Berega Vieraat Rannat, 1 (15) / 2013

Издание осуществляется при финансовой помощи государственного унитарного предприятия «Московский центр международного сотрудничества».

# Содержание

Содержание .....	3
------------------	---

## *Проза и поэзия*

Ольга Пуссинен. Седьмые небеса. Повесть .....	5
Григорий Аросев. Стихотворения .....	59
Баллада о неизбежном.....	59
Армения.....	61
Правило шитья.....	61
Джаз .....	62
Алексей Ланцов. Стихотворения .....	63
Наставление .....	63
«Женщина, читающая в метро...» .....	64
Ирина Глебова. Целую, баба Клава. Рассказ .....	65
Кристина Маиловская. Рассказы.....	77
Слева – гор, справа – гор .....	77
Хород-херой Волгоград.....	79
Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград! .....	81
Павлик Лемтыбож. Стихотворения .....	83
«Ангел ходит в наши сны...» .....	83
Лилия-камелия.....	83
«Я опять поступил не по-вашему...».....	85
Галия Мавлютова. Рассказы .....	86
От ада до Колорадо .....	86
Мальцевский рынок .....	87
Невстреча .....	88
Валерий Скобло. Стихотворения .....	90
Август .....	90
«Я промолчал почти два года...».....	90
Подражание классику.....	91
«На больничной койке я лежал – у окошка...» .....	91
«Я узнал рисунок обоев...» .....	92
«Где бы я ни был, в каком бы пекле...» .....	92
«Как ветерок по замершей квартире...».....	93
«Они приходят ниоткуда...» .....	93
Геннадий Гончаров. Лохи. Рассказ.....	94

Андрей Кашкаров. Ненужные люди. Рассказ .....	99
Валерий Нуйя. Стихотворения .....	116
Вера .....	116
Юбилей .....	117
Владимир По. Стихотворения. ....	118
Полет души .....	118
Звезды-рыбы .....	118
Людмила Яковлева. Сашка. Рассказ .....	119
Наталья Мери. Стихотворения .....	123
Нью-Йорк.....	123
Волшебный танец.....	124

### *Критика и публицистика*

Рамиль Сарчин. «Я – везде, я – нигде...». <i>О стихах Н. Мери</i> .....	125
Сергей Калабухин. «Битва за прибалтику». <i>Размышления над страницами исторического романа И. Лажечникова «Последний Новик»</i> .....	129

### *Переводы с иврита*

Стихотворения Н. Альтермана в переводе М. Польшковского	
Блики осени.....	141
Уход из города.....	141
Старинный напев.....	142
«Снова слышен, казалось, забытый напев...» .....	143

### *Переводы с финского языка*

Стихотворения Э. Лейно в переводе Г. Михлина	
Лесною тропинкой иду я .....	143
Вместе мы ходим, как будто в тумане .....	144
Покой .....	145
Костры нищих.....	147

### *Документалистика*

Василий Пурденко. Исповедь нелегала .....	148
---	-----

### *Книги наших авторов*

Она сшивает время и пространство. <i>Видео-книга Н. Мери «Поэтическая география»</i> .....	170
---	-----



**Ольга Пуссинен**

Olga Pussinen

**Седьмые небеса**

Повесть

*Проза*

...И внял я неба содроганье  
И горный ангелов полет,  
И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье...

А.С. Пушкин

Я наяву вижу то, что многим даже не снилось,  
Не являлось под кайфом, не случилось в кино...

«Сплин»

Писатель и ученый-филолог, кандидат филологических наук (1999, диссертация «Концепция человека в творчестве Иво Андрича»), докторант хельсинкского университета, сфера нынешних научных интересов – двуязычие и русский язык как функционально ограниченный. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Автор поэтического сборника «Жизнь в двух частях» (2012).

Литературные публикации: в журналах «Иные берега Vieraat gannat», «Нева», «Зинзивер», «Северная Аврора», «Молодая гвардия», в «Литературной газете». С 2001 года живет в Хельсинки.

**У**тро началось с дождя. Дождя Валентина не видела, но, часов в шесть, ненадолго проснувшись от рассветной прохлады, услышала мягкий, вкрадчивый стук капель, сочащийся в открытое окно, и, натянув на себя скинутое ночью покрывало, вновь погрузилась в неровную, дрожащую дремоту, наполненную причудливыми быстрыми сновидениями, которые почти всегда посещали ее, если ночевать приходилось вне дома. Гостиничные сны были, как правило, резкими, красочными и слегка тревожными.

В восемь часов она проснулась окончательно и минут десять лежала, смотря на мягко покачивающийся желто-оранжевый атлас портьеры, закрывавшей окно, вслушиваясь в стук собственного сердца и звуки окружающего мира, припоминая утренние сны. Сердце стучало ровно, сильно и устойчиво. Звуки гостиничной жизни были на удивление тихими и слабыми: лишь

один раз на ресепшен, находившейся практически за стеной ее номера, слабо тренькнул телефон, и портье, тут же схвативший трубку, ответил звонившему что-то короткое и однозначное, – да, да... нет, да. Сны, посланные сегодня Валентине, были исключительно яркими и образными. В первой части ей привиделось, что верхние передние зубы ее стали вдруг лопаться, как спелые орехи, раскрываясь фиолетово-розовой скорлупой с темно-коричневыми ободками, взявшись за которые, она с легкостью, безболезненно вытащила из десны штуки четыре или даже пять. Во второй части Валентина увидела саму себя обнаженной: тело покрывал плотный слой вшей, облепивших бедра, живот, грудь и руки густой шевелящейся шерстью. Насекомые весело ползали туда-сюда по Валентиным пространствам, а она лежала неподвижно, словно мать сыра земля, боясь шелохнуться и нарушить их хлопотливую возню, подобную броуновскому движению, бесконечному и неостановимому. «Ну, вши-то вроде к добру», – подумала Валентина, силясь вспомнить чувства, сопровождавшие сновидения, но чувства отсутствовали: не было ни страха, ни отвращения. «Авось, обойдется, – промелькнула в голове мысль неизвестно о чем. – Что обойдется-то?.. И когда ж ты перестанешь квасить? Женщины спиваются быстрее!..» Но похмелье, кажется, не грозило, хотя последний бокал вина вчера был явно лишним, как это часто случалось. Впрочем, кьянти пошло легко и радостно, беседа в целом осталась

приятной, а поцелуи провожавшего ее Спутника сладкими и томительными. «Хорошо, что он не остался, – подвела она итог, – всех вшей бы мне распугал...» Русского надрыва, разумеется, избежать не удалось, но ту никем не отмеченую границу, за которой на следующее утро становится стыдно, они не перешагнули. Точно? – Да точно, я тебе отвечаю.

После того как обзор вчерашнего вечера был закончен, Валентина поняла, что в интерьере номера, который, впрочем, по его примитивизму и упрощенности дальше некуда и интерьером-то было сложно, ей не хватает самого главного: окна. Почему она вообще вчера задернула эту штору? – А потому что этаж был первый. А окно, значит, распахнула, словно калитку, – заходи, народ, на мой огород! Так? – Именно так. В принципе, как раз этот поступок был полным и совершенным безрассудством, – оставить открытым окно на ночь в помещении на первом этаже. Такого, наверное, не делал никто по всей России последние двадцать пять лет. Уж если провинциальные бабуси захлопывают окна и запирают двери на засовы, опасаясь грабителей и маньяков, которые могут, сбившись с пути, завернуть в их глухую деревню, то что говорить о Москве? – Ты знаешь, сколько здесь понаехавших, четверть, а то и треть которых точно занимаются всякими темными криминальными делишками? А у тебя сын, между прочим. Воспоминание о Елисее вызвало в Валентиновой душе традиционный приступ чистосердечного раскаяния в легкомысленном поступке. В самом деле, почему она вчера не закрыла окно? И ведь не забыла же, просто решила оставить открытым, вот так, да. Потом сбросила с себя всю одежду, забралась нагишом под одеяло и уснула. Скорей всего, разозлилась на то, что Спутник все-таки с ней не остался. Даже вот именно так, что уж тут хвостом-то вилять перед самой собой. Это все равно не повод оставлять окна открытыми, это тебе не Европа. – Ладно, я больше так не буду.

6

Вздохнув, Валентина вытянула руки и с наслаждением глубоко потянулась, так что сцепленные в замок пальцы даже хрустнули. Перевернувшись на постели два раза, она поняла, что сон уже не вернется. Значит, надо встать и занять себя делом, которого, в общем-то, не было: впереди расстилался совершенно свободный длинный летний день, в конце которого ей надлежало сесть в поезд и отправиться на северо-запад, от тополей к соснам, от жары к сдержанному умеренному теплу. «По-вински нельзя сказать «будет жарко», – как-то в начале их знакомства поделился с ней Юкка, с которым они тринадцать лет назад в течение первых трех или четырех занятий пытались вместе штудировать русский синтаксис. – «Как нельзя?.. – изумилась тогда Валентина, – А как же это говорится по-вински?» – В ответ Юкка добросовестно задумался, и через две минуты решил: «Говорят: будет теплее. Или: еще теплее». В общем-то, оказалось, что язык, как всегда, не лгал: бывало тепло, бывало теплее, бывало еще теплее, но жарко бывало так редко, что, казалось, будто никогда и не было. Вернее, один раз было, но тогда, когда она как раз уехала в Россию. За свою десятилетнюю жизнь в Винляндии она никогда не помнила, чтобы утро вползало в комнату таким томным, лениво-разнеженным воздухом, мягким и густым, словно кошачья лапа. Винские утра были бодры и подтянуты, а прохлада, веющая из лесов, призывала не лежать на печи, а пойти лучше до обеда выкорчевать пару пней, потому как к обеду точно польет дождь и земля тут же раскиснет.

Сделав шаг с кровати, она оказалась у окна, поскольку комната была крошечная, и сильным движением откинула портьеру в сторону. За окном было ясное, чистое и теплое позднейюньское утро, наполненное той теплотой и истомой, от которых сразу становилось понятно: будет жарко. Не то адово пекло, в котором две трети страны поджаривалось год назад, а нормальный (а не аномальный!) красивый летний день, когда девушки будут ходить в пестрых легких сарафанах, а юноши в шортах и майках, дети будут, не капризничая, есть мороженое, а мамы и папы смотреть на них милыми спокойными взорами, не боясь за их хрупкое детское здоровье. От

прошедшего на заре дождичка густые хлопья тополиного пуха намokли и скатались в клубы, белыми шарами валявшиеся по всему дворику, пустому и тихому; сюда даже не достигал голос эстакады, которая находилась практически за углом и уже должна была шуршать, жужжать, гудеть и реветь своими стальными конями разных мастей и пород.

Дворик был по-московски уютный и просторный, усаженный тополями и акациями, которые уже отцвели, – не чета длинным узким питерским колодцам, кидавшимся в глаза стенами и окнами соседних домов. Прямо напротив Валентины, метрах в тридцати под деревом лежал большой черно-рыжий дворовый пес и что-то грыз, уткнув в землю белую от тополиного пуха морду. Уловив ее взгляд, он оставил свою добычу и, повернув свою крупную лобастую башку, посмотрел прямо ей в глаза, вывалив наружу ярко-красный язык. Несколько мгновений они осматривали друг друга, а потом Валентина вдруг сообразила, что стоит перед окном в чем мать родила, и кобель прекрасно это понимает: он по-собачьи склонил голову набок и взгляд его стал определенно веселее и хитрее. «Ну, ты еще тут мне подмигни!» – пробормотала Валентина, чувствуя, что краснеет от простой звериной откровенности, и так же сильно задернула штору обратно. «Домой тебе пора, кудрявая», – вслух сказала она самой себе и в очередной раз удивилась тому, что называет Винляндию своим домом, хотя это произошло уже давненько, лет через пять после развода.

– Я бы вообще запретил эмигрантам писать про Россию, – сказал ей вчера вечером Спутник, когда они, голые, валялись вот на этой же гостиничной кровати, остывая после любовных утех и неспешно, с чувством, покуривая одну сигаретку на двоих. – Вы или поливаете страну грязью, или растекаетесь потоком розовых сопель и слюней о том, чего уже нет в помине, при этом знать не зная, чем живет ваша Раша, сволочная она для вас или любимая.

– Я никогда не писала о России, – сдвинув брови, отрезала Валентина. – Я пишу только о самой себе. У меня не хватает ума делать глобальные историческо-философские обобщения и выкладки.

– Пиши лучше о виннах, хоть пару лавров сорвешь, – пуская связку колец в потолок, съехидничал Спутник. – Такие книжки здесь всегда вызывают интерес, особенно если будешь играть на струнах зависти: а вот, мол, в больницах-то там розовые пижамки выдают бесплатно. А у нас-то тридцать лет назад стелили дырявые простыни и в сортире дуло. Слушай старших, а то так и будешь прозябать в неизвестности.

– Ты меня старше ровно на три месяца, – отмахнулась Валентина. – Не могу я писать о виннах, я их не знаю.

– Как это не знаешь?.. – удивленно повернул к ней голову Спутник, так что она в очередной раз крупным планом увидела его близорукие глаза редкого светло-карего цвета: глаза цвета виски, как раз в тон его любимому напитку, которого они немало выпили, проводя время в этих и им подобных геополитических беседах. – Ты же с ними живешь. Как можно за десять лет не узнать того, с кем живешь?

– Я живу не с ними, – начиная раздражаться от этих вечных споров про белого бычка, отвела она его руку, вкрадчиво ползущую к внутренней стороне ее бедра. – Я живу параллельно им. И наши параллельные не пересекаются и вряд ли когда-нибудь пересекутся, что бы там не утверждал Лобачевский. Мы живем строго по Евклиду. А то, что в винских больницах выдают розовые пижамки, меня как-то мало утешит, коли я попаду в этот казенный дом. Да их и выдают-то благодаря России, – только из-за того, что умная европейская буржуазия, глядя на Советский Союз, поняла, что нельзя совсем не кормить собаку, которая тебе служит. Если ее не кормить, она превращается в волка. Как это... как это ты делаешь такие колечки?.. Я тоже хочу, покажи еще раз.

– У тебя не получится, – выдувая очередную связку, снисходительно усмехнулся он, явно обидевшись за отторгнутые эротические поползновения. – Я же говорю, – слушай

старших. Я уже ползал, когда ты еще сидеть не умела. Вот она – ваша эмиграция. Варите в собственном соку, переваривая и отрывая друг друга. Скоро у вас наступит несварение желудка и острый гастрит. Но ведь зато в тридевятом царстве!.. Хотя, ты во многом права: Россия никогда не могла себя обустроить, какие бы идейки ни выдвигали всякие нобелированные возвращенцы, зато она всегда будет катализатором к переменам для других стран.

– Хватит меня шпынять своим великодержавным мужским шовинизмом, – поморщилась Валентина, вдруг остро, до внезапного холода под сердцем почувствовав, что вечер вступает в свою финальную часть, за которой последует разлука неизвестной длительности. – Я никогда осознанно не хотела уехать. Это все получилось как-то само собой...

– Ну вот и пей теперь нарзан. Хлебааай... – не сдаваясь, продолжал издеваться он, явно отыгрываясь на ней за свои прошлые поражения в вечных боях между западниками и славянофилами, заводимых где-нибудь в Парижах и Нью-Йорках. – Собирай кисель с берегов полной ложкой. Не лезь в русскую тоску.

– Знаешь... – затушив сигарету, с горечью во рту и в душе, садясь на постели и поворачиваясь к нему, сказала Валентина. – Знаешь, меня иногда просто тошнит от высокой интеллектуальности наших с тобой разговоров. Скажи мне что-нибудь простое, ну пожалуйста. Я ведь завтра уеду, а ты этого словно и не помнишь...

Спутник сразу стал серьезным и замолчал, пристально и деловито разглядывая потолок. Валентина высунула язык и скорчила ему рожу: ме-е-е! – а затем, вздохнув, уже наклонилась вперед, чтобы окончательно подняться, как вдруг он, резко приподнявшись, сильно обхватил ее, до боли сдавив ей горло, так что она инстинктивно впиалась в его руки ногтями, и повалил назад, зарывшись лицом в ее волосы. Какое-то мгновение они лежали, окаменев в этом судорожном объятии, поскольку оба прекрасно понимали, что миг пира плоти в их несуразной жизни заканчивается, сменяясь на непристойный по-русски пир духа, а потом он еле слышно, на выдохе, медленно прошептал прямо ей в ухо: Лю...биимая...

Она сразу обмякла, растекаясь, словно мороженое на блюдечке, от острого, до костей и когтей пробирающего счастья этого редкого слова, которое из него приходилось просто выбивать прямыми указаниями на грядущее расставание, а, возможно, и полный конец, где нет ни хаоса, ни печали, ни воздыхания, а есть только слова кириллицей, все более и более скудные, – не зови меня, не докличешься, только в облаках ветер вычертит имя... Впрочем, вероятно, если бы Спутник повторял эти заветные слова часто, она бы так за него и не цеплялась, – Шуриковы изначальные полуистерично-болезненные бесконечные признания в любви всегда вызывали в ней смутные сомнения в их подлинности. А тут раз в год признался, как под пыткой на дыбе, – так, может, и не совсем соврал. Лю...биимая... я тебя отведу к самому краю вселенной. Через огонь, через воду, через матушку сыру землю. Другим путем туда не попадешь, – не протоптана дорожка, не проезжена. Готовься: три пары железных башмаков сносишь, чтобы кровь из ноженек потекла, три железных посоха собьешь, три железных хлеба сглодаешь, и лишь после отведаешь три минуты запретного блажества.

Она пустодумно встряхнула головой, отгоняя лишние воспоминания, и, переместясь от портьеры к зеркалу, посмотрела на свое отражение требовательным и затаенно-придирчивым взглядом, так хорошо знакомым женщинам, которым еще довольно далеко до жизненной отметки «баба ягодка опять», но борьба за вечную молодость уже началась. С той стороны стекла на Валентину глянула красивая обнаженная Валентина, за ночь помолодевшая лет на семь-восемь, как это всегда бывало после активной любовной зарядки именно с тем, с кем и хочется ею заняться. Волосы после сна сбились в крупные густые солнечно-светлые кудри, кожа словно излучала изнутри мягкое затаенное сияние, подчеркивающее скулы нежным яблочным румянцем, губы



налились горячим красным цветом, а природная миндалевидность глаз вдруг усилилась, как на фотографиях из отрочества, с которых на взрослую Валентину тарасилась любопытная девочка, белобрысая и раскосая. У зеркальной Валентины в это утро изменился даже взгляд, она рассматривала свою хозяйку влажными, чуть бесстыдными глазами совершенно чужого цвета: темно-серого с фиолетовым отливом, – с той самой поволокой, о которой и упоминал в своих стихах Спутник. «Беда с тобой», – укоризненно, хоть и ласково сказала Валентина отражению, но зеркальная Валентина лишь лукаво усмехнулась, не желая устыдиться, и повела печами, от чего заволновались обе груди, дерзко торчавшие сосками вразлет, а на животе, к которому Валентина всегда была особенно придиричива, дрогнул маленький, чуть вытянутый пупок. Впрочем, сегодня даже к животу нельзя было придраться: все было так, как оно должно было быть, – в меру выпукло, в меру плоско, в меру мягко и в меру упруго. «Вот что секс животворящий делает», – не удержавшись, поднеся указательный палец к губам, прошептала то ли Валентина своей самой верной подруге, то ли она ей, – обе, впрочем, тут же засмутились нежданно слетевшего с уст богохульства и, запрокинув руки, закрыли лица локтями.

Она отправилась в душ и внезапно заторопилась, стремясь побыстрее вырваться из этой маленькой комнатки, сжимавшей ее мысли своим периметром, как объектив камеры, очерчивавший строгие границы рамок, в которые должен уместиться многогранный пейзаж. «Скорей, скорей!» – приговаривала она, ежась под прохладными струями воды, выгонявшими из головы последний хмель. «Быстреей, быстреей!» – нетерпеливо притоптывала босой ногой, безжалостно раздирая буйны кудри. «Давай, давай!» – как кричала в бассейне их тренерша по водной аэроробике, бодрая поджарая эстонка Хели, лет на пятнадцать старше Валентины. – «Давай, давай, работай! Оба ноги, оба ноги!..» Натягивай на оба ноги свои любимые походные штаны цвета хаки: выпадение из буден закончилось, – помятое вечернее платье в крупных цветах грустно свисает с кресла, а на смену высоким каблукам из-под кровати выглядывают тупые темные носы дорожных туфель.

Покидав как попало вещи в чемодан, Валентина без сожаления покинула комнатку, не решившись даже на прощание посидеть в туалете, который, хоть и был безупречно чист, тем не менее, вызывал какие-то смутно-брезгливые чувства. На ресепшене сидел уже не ночной портье, а молоденькая девочка по виду неполных двадцати лет со слишком гладкими, металлически-светлыми, явно чужими волосами и невероятно длинными ровными плоскими ногтями, половина которых была выкрашена розовым лаком и густо украшена блестками. Милостиво разрешив оставить вещи до вечера, девочка с наивным детским любопытством, не стесняясь, осмотрела Валентину с ног до головы. «Нечего пялиться», – мысленно посоветовала ей Валентина, ощутив укол ревности к нерефлексирующей силе молодости, и дитя, действительно, поджало губки и перевело взгляд на окошко, на котором от лихих прохожих была поставлена крепкая решетка в сердечко. Все так же торопясь, Валентина выскочила во двор, с размаху угодила плямо в наплаканную ночным дождем лужу, распугала стайку мирно купавшихся в ней голубей, взмахнула обеими руками, словно собираясь взлететь вместе с ними, потом вдохнула всей грудью теплый и тягучий, словно вишневое варенье, московский воздух и наконец-то успокоилась. Знакомый пес все так же валялся под тополем, уже догрызая свой завтрак. На шум крыльев он приподнял голову и лениво поглядел на Валентину одним прищуренным глазом, – второй был закрыт в сладкой дремоте. «Ступай уже отсюда, шепутная», – как бы посоветовал он ей, затем смачно, во всю пасть зевнул и снова уронил лохматую голову в белый пух.

– Ну пока, Серый, – сказала ему Валентина, так что вышедший вслед за ней из гостиницы постоялец, – толстый и рыхлый мужчина непонятного возраста в костюме и галстук в яркую зелено-красную полоску (это в жаркий-то летний день, бедняга!), с удивлением воззрившись на нее, не понимая, с кем она может говорить без телефона или

наушников. Валентине вдруг нестерпимо захотелось ему подмигнуть, чтобы с наслаждением увидеть, как на его удивленная физиономия станет совсем растерянной: мягкие щеки вздрогнут, маленький рот приоткроется прописной буквой О, брови взлетят к ежику волос, покрывая лоб натужными морщинами, короткие, словно подстриженные ресницы часто заморгают, а в блеклых, по-бычьему широко расставленных глазах бегущей строкой отразится судорожное шевеление мысли: что нужно сделать?.. С огромным трудом удержав себя от хулиганской выходки, она одарила провинциального бизнесмена дружески-отстраненной улыбкой, чуть не сказав ему «Хорошего продолжения дня!» по-вински, и, не дожидаясь обратной реакции, устремилась к темно-коричневому, квадратному нутру арки, выводящей на бульвар. Винский этикет въелся в нее настолько крепко, что нужно было прожить в России не менее недели, чтобы начать говорить «спасибо» и «извините» на русском. А сегодня в ее командировке шел день пятый? Нет, уже шестой: И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Завернув за угол, она сразу наткнулась на какую-то кофейню и решительно вошла внутрь, раздумывая о том, что вчера в это время она еще только садилась в машину, чтобы отправиться из Юрюзани в Москву. Пространство уплотнилось и выстроилось чередой гостиниц, ресторанов, столовых и кофеен, предлагавших напиток разного по качеству кофею. В юрюзанской студенческой столовой кормили замечательно вкусными майонезными салатами советской традиции, которые Валентина всегда ела с искренним удовольствием, но вот кофе там был отвратительный, засыпавшийся из пакетика в чашку и заливавшийся кипятком. Пить этот химический раствор было совершенно невозможно, и Валентина каждый раз досадовала на себя, что не помнит этого факта. А может, голова забывала его в надежде, что в следующий приезд порадует переменами и в пакетике окажется порошок, напоминающий кофе хоть запахом, если не вкусом.

– Американско, – не раскрывая солидную кожаную папку меню, – сказала она подошедшему мальчику в длинном черном фартуке. Волосы у мальчика были такого же металлического цвета, как и у гостиничной девочки, но не распущены по плечам, а из требований гигиены собраны в хвост. Валентина поймала себя на том, что разглядывает мальчиковы ногти с целью сравнения стилей маникюра и не без некоторого усилия перевела взгляд на худое скуластое лицо со слишком острым, выпирающим вперед подбородком. Маникюра на ногтях, к счастью, не оказалось. – Американско, пожалуйста, и стакан минеральной воды, kiitos<sup>1</sup>.

Официант вытянул вперед тонкую шею, чутко отреагировал на незнакомое слово, которое все-таки воробьем спорхнуло с Валентининых уст, угадывая, не относится ли оно к сфере напитков или блюд, но потом, решив не попадать впросак и не задавать дилетанских вопросов, уточняя, что же это такое, быстро тряхнул хвостом и отправился за стойку к кофемашине. Машина выглядела солидно, так что кофе обещал быть вкусным. Кофейня, кстати, по оформлению была похожа на ту, куда они со Спутником направились сразу после ее приезда – вероятно, одной сети. Но та находилась на Поварской. Они зашли туда выпить по чашке кофе, в результате выпили по два бокала коньяка, потом Спутнику не понравилась шумная компания кавказской направленности, заседавшая за соседним столиком, и они переместились в ресторан Союза Писателей. Он с самого начала хотел ее туда повести, но она воспротивилась.

– Хвастаться ведь тащишь, небось? – думая съязвить, спросила она, но поддеть его оказалось невозможно: как и большинство мужчин, он сам был в восторге от возможности почесать свое тщеславие, раздутое так же болезненно, как пузырь на мозоли.

<sup>1</sup> Спасибо (винск.).

– Разумеется, – с искренним недоумением развел он мягкими и нежными, маленькими ухоженными ладонями белоручки с изящными тонкими пальцами. – Красивой девушкой обязательно надо похвастаться. Положение обязывает. Ладно, выпьем за встречу здесь, а продолжим там. Ну, расскажи, что там интересного в Юрюзани? Вот ведь, – всего-то двести километров, а к вам в Европы, право слово, проще выбраться. Ну, давай, со свиданьцем! Целоваться сейчас не будем, да? Потом уж как следует поцелуемся...

Он неторопливо выпил две трети благородной жидкости, плескавшейся в бокале, засунул в рот ломтик лимона и, сморщившись, вопросительно посмотрел на Валентину. Она же, как и каждый раз при встрече, внимательно всматривалась в него, стараясь понять, откуда и каким образом сформировалась в нем эта зачаровывающая небрежность и мягкая уверенная наглость, не оставляющая у окружающих никаких сомнений в правоте его действий? Врожденная ли и обусловленная прихотливым узором звезд на небе в час рождения: Марс в Тельце указывает на любовь к разного рода чувственным наслаждениям и удовольствиям, роскоши и материальному благополучию, часто, впрочем, оборачивающемуся хроническим расточительством. От литературных премий и наград, которыми он был увешан, словно новогодняя елка? Но Спутник действительно был талантлив и имел все шансы не только войти в антологии и анналы, но там и остаться. Или от тестя, хваткого и умелого парторга, как шустрый сперматозоид просочившегося за годы дикого капитализма по газпромовским трубам в лоно совета директоров? И как это он не уследил за своей дочкой, позволив ей выйти замуж за писателя? Впрочем, судя по тому, что отношения у них со Спутником были дружески-деловыми, зять явно вел какие-то, не имевшие к литературе бизнес-дела, а тесть был ходок еще похлеще зятя, – наверняка Спутник не раз прикрывал его своей грудью от тещи. «Хороший мужик, только фамилия у него Херов», – как-то обронил о нем Спутник. – «Не бывает людей с такими фамилиями», – засомневалась Валентина, не понимая, как это часто случалось, шутит ли он, или говорит всерьез. – «Эх, маленькая, знала бы ты, сколько их на белом свете водится». – «Ну, тогда и у тебя в роду точно парочка Херовых имеется». – «Да кто ж их знает, – вполне возможно... Он, кстати, про тебя спрашивал, я ответил, что ты лесбиянка, а то он еще влюбится на старости лет, вздумает на тебе жениться, от этого Херова и раньше-то всего можно было ожидать, а теперь и подавно, – он же чувствует, что жизнь кончается». – «Где это он меня видел?» – изумлялась Валентина. – «Да заезжал по делу на ваш слет соотечественников, замминистра повидать, наскочил на твоё выступление. Даже книжку твою у меня потом просил». – «А ты, значит, не дал?» – «Нет, конечно, я ж не совсем дурак. Познакомил его с одной поэтической лет тридцати, стриженная такая, костлявая, как селедка... У него почему-то слабость не к моде, а к поэзии. Ну? Ты что задумалась, маленькая? За встречу же пьем!.. Где была-то: кто любит – не любит – кто гонит нас?..»

Очнувшись от созерцания, она вслед за ним выпила свой коньяк почти до конца, тут же пожалев об этом: и что за неистребимая привычка пить французский Мартель как русскую Столичную?.. Набрав вместо лимона полный рот воздуха, ожидая, пока алкоголь перетечет из горла в грудь и разольется да по жилочкам, она с тем же странным чувством пространственного перенасыщения, под участившиеся удары сердца отмерила расстояние в сутки назад и оказалась во дне четвертом, когда создавались небесные светила для знамений, и времен, и дней, и годов, в храме Иоанна Богослова, находившегося на подворье Архангело-Ущуповского мужского монастыря, в пятидесяти километрах от Юрюзани. Их привезли сюда на экскурсию после второго дня конференции по проблемам билингвизма и многоязычия в полицентричном мире, успешно завершившейся к двум часам дня. Из гостей в монастырь поехали только Валентина и профессорша из Иордании Сальма аль-Какая-то, которая по-русски, как выяснилось, могла сказать только привет и хорошо, – харасо. Каким ветром ее занесло

в Юрюзань, было совершенно непонятно, тем более что к лингвистике и многоязычию она не имела никакого отношения, специализируясь на философии архитектуры средневековых мечетей, которых на древней юрюзанской земле с учетом яростного исторического сопротивления татаро-монгольскому игу принципиально не было построено ни одной! Но Сальма, выглядывавшая из своего пестрого в серенький цветочек хиджаба, словно ученая мышь, на несовпадение направленности конференции с областью собственных научных исследований внимания не обращала, бесконечно фотографируя все, что попадалось под руку. Сейчас, впрочем, она смиренно сидела между двумя юрюзанскими преподавательницами на лавочке, поставленной для немощных прихожан вдоль левой стены. Преподавательницы были также завернуты в платочки, но не по-мусульмански наглухо, а с тем неистребимым кокетством, с которым, вероятно, юрюзанские крестьянки еще во времена царя Гороха надевали на головки кички и кокошники, не забыв выпустить по бокам по две тонких завивающихся русских пряди. У Валентины с собой платка не оказалось, но одна из преподавательниц, Римма Васильевна, заботливо вручила ей свой запасной шарфик, который оказался настолько искусственным, что все время сползал на затылок, и Валентина коротала ожидание тем, что его поправляла. Ждали монаха со сложным именем Адраазар, – он должен был ознакомить собравшихся с историей монастыря, известного, кстати, по всей России, как сообщила Валентине все та же Римма Васильевна еще в автобусе, желтом тупорылом уазике, каких Валентина не видела уже, наверное, лет пятнадцать, с тех пор, как уехала из родных зарайских краев.

Храм был старый, по стилю тянувшийся к нарышкинскому барокко восемнадцатого века, но, тем не менее, никак не дотягивавший до стройной красоты московских церквей, ярусы которых были рассчитаны пропорционально, ширина последовательно сужалась кверху и верхний купол возвышался над нижними, подобно длинной срединной свече, горевшей в геометрически-ровном окружении коротких. Здесь же то ли в расчеты главного зодчего закралась ошибка, то ли он вовсе был не мастак считать, а прикидывал все на глазок и строил на авось, – так или иначе, но основной нижний ярус получился слишком широким, на его массивное квадратное тело тонкими полосками, как пара четырехугольных блинов, были положены еще два яруса, из центра которых на подставке третьего возвышалась луковка купола, тонкая и слабенькая на фоне всей остальной неуклюжей основательности. Снаружи церковь была выкрашена до предела прилежно и старательно, словно деловой костюм, отутюженный ответственной женой к мужниному собранию, на которое приедет столичное начальство: согласно канонам стиля красный кирпич стен был расчерчен белыми псевдоколоннами, увенчанными белыми же псевдоарками. Впрочем, изначальный красный цвет стен в процессе обновления почему-то сменили на веселенький оранжевый колор, вероятно, в тон посаженной перед центральными воротами лужайке тюльпанов, игриво раскачивавших под легким летним ветерком своими нерусскими головками. Внутри реставраторская фантазия разгулялась еще сильнее: все четыре толстых столпа, поддерживающие купол, и даже алтарь оказались выложенными розовым, голубым и белым фарфором, между плитками которого вились змейки позолоты. Суть замысла, вероятно, заключалась в том, чтобы перещеголять и облагородить привычные русские изразцы, но этот новодел смотрелся настолько странно и чужеродно, что Валентина не могла отделаться от чувства, будто находится в кукольном домике, и ощущала себя андерсовской пастушкой, стоящей на каминной полке. Не хватало лишь трубочиста, на которого нужно было бы смотреть неподвижнотомным, антрацитно-черным блестящим взглядом, отведя правую руку с посошком в сторону, а левую приложив к круглой и твердой розовой груди, украшенной золотыми рюшами. Бьющая по глазам навязчивая нежность орнамента абсолютно не давала сосредоточиться на иконах, казавшихся на фоне этой глазурной отпо-

лированности унылыми темными квадратиками, из которых на людей угрюмо и неприветливо выглядывали желтовато-серые лики святых. Первые пять минут Валентина добросовестно прислушивалась, не раздастся ли в душе тихий звон струны духовного начала, но инструмент веры молчал, намертво заглушенный и задавленный оркестром смелых архитектурных бросков и изысков. Тогда она оставила свои тщетные попытки и, заглушив чувство досады на неуместные новаторства художников, – «Заставь дурака Богу молиться... Да ладно, может им просто на восстановление храма какой-нибудь заворовавшийся директор пожертвовал по вагону украденных каолина, кварца и шпата, так что пришлось срочно искать дарам применение?» – стала разглядывать церковь взглядом посторонней незаинтересованной посетительницы, объединившись с мусульманской Сальмой, которая с туристической резвостью крутила влево и вправо крупным семитским носом. Кроме них пятерых внутри никого не было, – видимо, монастырь наполнялся только в праздничные дни. Не пахло даже воском, поскольку редкие свечи не могли заполнить огромное пустое пространство. Воцарилась белая тишина без запахов и звуков.

Через десять минут, окончательно соскучившись в фарфоровом нутре, Валентина от нечего делать стала сравнивать нос профессорши с носами ее чуть менее ученых коллегинь, – картошка, огурец, виноградинка. Обладательница последней, Светлана Борисовна, главный организатор конференции и помимо этого вообще замдекана факультета английского языка, нетерпеливо сморщила свой нежный маленький носик и, наклонившись к Римме Васильевне, довольно отчетливо произнесла, что ведь проректор лично звонил в монастырь и просил встретить заграничных гостей, как полагается. Римма Васильевна шумно вздохнула своей картошкой и посмотрела на молодую начальницу умудренным жизненным опытом взором: везде, мол, одно и то же, никогда ничего вовремя не делается, я из своей группы четверых на передачу отправила, представляете?.. «А может, он молится? – высказала предположение Валентина. – Может, его одолели беси, и он их изгоняет, – это же, наверняка, небыстрое дело, особенно, если бесей несколько сразу...» Преподавательницы опять переглянулись, словно решая, надо ли смеяться, поскольку не могла же Валентина брякнуть такую глупость всерьез; Светлана Борисовна даже на всякий случай изобразила полуулыбку левой стороной рта, показывая Валентине, что, как современная эмансипированная женщина, реагирует на ее шутку, но поддержать ее сейчас никак не может. Широко заулыбалась только ничего не понявшая Сальма, не связанная профессиональной этикетностью. На этом неловком моменте, легок на помине, и появился Адраазар.

Валентина принялась разглядывать его с живым любопытством, поскольку была далека от церковного круга и на улице не смогла бы отличить монаха от других батюшек, не отказавшихся кардинально от мирских радостей. Впрочем, Адраазар был одет, как и все обычные православные служители рядовых чинов, в стандартную, ничем не примечательную рясу. Тем не менее, выглядел он, как и подобает выглядеть монаху, – был высок, худ и слегка сутул. Длинные гладкие волосы его были собраны в хвост, а борода курчавилась и торчала во все стороны живым беспорядочным венником, в котором уже были заметны отдельные ранние седые волосы. Он быстро подошел к ожидающим и также быстро, словно с разбегу, начал говорить, смотря куда-то поверх голов сидящих на скамейке дам. Видно было, что к таким экскурсиям он уже привык и они не вызывают в нем ни смущения, ни волнения. Говорил он легко, плавно, связно, строя речь полновесными литературными оборотами со сложноподчиненными предложениями, причастными и деепричастными оборотами, как будто не говорил, а писал. В общем, монах был грамотный, хорошо владевший ораторским искусством и образованный, по всей видимости, не в семинарии, а имевший за плечами и хранивший в шкафчике или тумбочке диплом философского факультета. Сергей Ни-

колаевич, молодой старший научный сотрудник, которому еще не исполнилось тридцати лет, в силу чего взрослые преподавательницы обращались к нему по имени, тихонько переводил основные тезисы Адраазарова повествования Сальме, поглядывая на монаха усмешливо и затаенно-недобро, тем взглядом, каким один краснобай глядит на другого краснобая; Сальма, все так же многокультурно и полицентрично улыбаясь, покорно кивала головой, показывая, что следит за сюжетом. Повествование, впрочем, было лишено строгой научной последовательности, – Адраазар словно не рассказывал, а размышлял вслух, плавно перелетая с одного предмета на другой. Начал он, однако, с традиционной для русского человека темы: с жалоб на скорбную долю и горький удел, – правда, не свою персонально, а монастыря, претерпевшего неисчислимое количество бед и лишений за годы советской власти. После революции монахов постепенно разогнали: тех, кому повезло больше, по другим приходам, тех, кого Господь возлюбил и решил испытать на прочность, – в места разной степени отдаленности и холодов; праведники же и вовсе отправились сразу в рай. В тридцатые годы территорию монастыря задействовали под колхозный скотный двор и в храме какое-то время гулкими голосами, требуя сена, печально мычали тощие коровенки. После войны колхоз постепенно оперился и с божьей помощью отстроил буренкам собственные хоромы, а в центральном храме обустроили клуб, где отчетные годовые собрания перемежались лекциями о коварстве империализма и тяжелой жизни рабочего класса в странах Запада, редкими выступлениями юрюзанского областного ансамбля русской песни «Калинушка» и более частыми посиделками сельской молодежи под гармошку, самогонку и рябиновую наливку, которой издавно славилось Ущупово. Но к перестройке половина молодежи разъехалась, а вторая половина уже предпочитала ездить на дискотеки в Юрюзань, лекции прекратились, поскольку лекторы, не получая зарплат, переключились на челночную торговлю, а унылые, проводившиеся раз в году собрания никак не могли облегчить агонию умирающего социалистического духа. К распаду империи храм совсем захирел, печально глядя на мир черными неосвященными глазницами, в которых треть стекол была выбита пацаньем, развлекающимся стрельбой из рогаток по голубям, любившим спуститься и посидеть на облупившихся карнизах круглых окошек.

Адраазар замолчал, мастерски выдерживая мхатовскую паузу, подчеркивающую и акцентирующую драматизм застойных времен; взгляд его, и так не сконцентрированный на слушателях, и вовсе ушел в себя, словно нащупывая выход из потемок, но потом вдруг неожиданно вернулся, и из глаз, как будто распахнувшихся настезь, хлынул такой яркий и чистый поток голубого света, какого Валентина не видела ни у кого и никогда и не поверила бы, что такое возможно, посчитав это образным преувеличением.

– Но оказалось, что слово Божье живо в народе и никакие запреты и гонения не смогли его истребить и уничтожить! – воскликнул Адраазар радостно, любуясь на ему одному видимую крепость православной веры. – Лишь только монастырь был возвращен в лоно матери-церкви, тут же на помощь восстановления святых стен пришли местные жители, бескорыстно помогавшие строителям в их работах, – всего за год обитель была восстановлена, а на другой год расширилась почти в полтора раза. Были возвращены иконы и множество вещей, которые бабушки и дедушки нынешних селян спрятали во время разграбления и бережно хранили долгое время. Пропала лишь самая главная святыня храма – икона Иоанна Богослова, написанная в XIII веке. Но и возвращенному радовались мы несказанно! Целых три иконы принесла нам местная героиня Валентина Учайкина: Божьей матери Троеручицы, Николая Угодника и Параскевы-мученицы. Говорю я «героиня» не только потому, что совершила она столь благое дело, но и потому, что Валентина Ивановна – личность поистине уникальная и легендарная. Почти шестьдесят лет назад, дав подписку о неразглашении военной

тайны, она принимала участие в испытании новейших по тем временам летных систем и адаптации человека в экстремальных условиях, после курса подготовки начав тренироваться в прыжках с парашютом...

Услышав знакомую зарайскую фамилию, Валентина навострила уши: ее родная ЗАР – Зарайская автономная республика – граничила с юрюзанской областью и начиналась практически через неполных сто километров к юго-востоку от Ущупова. В Урузье, городе где прошло Валентино детство, был целый клан Учайкиных; к нему, кстати, принадлежал и Дима Учайкин, которого она смело могла поставить первым номером своего дон-жуанского списка, – ей было пять, а Диме шесть, когда они, сбежав с прогулки в детском саду, поцеловались за весенними кустами шиповника, решив стать женихом и невестой. Валентина тогда в кровь ободрала руки о шипы, и это были ее первые любовные раны, замазанные потом зеленкой. Так что героическая Валентина вполне могла приходиться Диме какой-нибудь двоюродной или троюродной тетушкой или бабушкой, – на юрюзанщине было много зарайских сел и деревень, а после революции зарайцы начали активно смешиваться с русским населением.

– ...постепенно увеличивая расстояние... – между тем продолжал свой рассказ Адраазар, взволнованно сверкая бирюзовым огнем очей. – Последний прыжок она совершила с высоты четырнадцать километров! Во время такого, небывалого по тем временам полета она не раз теряла сознание, но, несмотря на это, сумела приземлиться. Однако, этот прыжок оказался последним в ее биографии, – сердечная мышца не выдержала столь сильных перегрузок, и Валентина Ивановна начала страдать сильной аритмией.

– Что-что?.. – встрепнулся Спутник, до этого рассеянно плававший взглядом по вырезу Валентиной майки. – Со сколько?.. А на подводной лодке вместе с капитаном Немо она не ходила? А может, с Бондом против доктора Зло сражалась? Или против Бонда на стороне КГБ? Что ж ты, маленькая, – вроде бы умница, а такую лапшу у себя на ушах развешивать позволяешь...

– Ну, не знаю, – досадливо прикусила выпяченную нижнюю губу Валентина. – Мне, конечно, тоже показалось, что многовато. За что купила, за то и продаю, во всяком случае! Но с ее мужем еще невероятнее история случилась. Его звали тоже Валентином – Валентин Учайкин, они были какими-то дальними родственниками, в соседних деревнях росли, а потом оба уехали в Юрюзань и как-то попали в школу ДОСААФ, а дальше их двинули на эти испытания новейших летных систем. Только Валентин испытывал действие катапульты на дальние расстояния, – то есть его усаживали в эту катапульту и выстреливали им в определенную точку, а потом приезжали и забирали. И вот однажды он уехал на испытания и не вернулся. Сказал на прощанье, что уезжает на Новую Землю. И больше Валентина его не видела. А перед этим привез из Ущупова и забрал с собой икону Иоанна Богослова, – ту самую, тринадцатого века; оказывается, его бабка ее у себя на чердаке всю жизнь прятала. Показал Валентине лик Иоанна и говорит, – возьми, мол, в командировку, чтоб узнать, коли встретиться придется. И все, – месяц, два, три, полгода... А потом ее вызвали и сказали, – не жди, не ищи и не расспрашивай никого, можешь выходить замуж, паспорт переоформим. Только она замуж больше не пошла, вернулась в Ущупово, к свекрови и всю жизнь с ней вдвоем прожила. А через сорок лет, когда уже не осталось, наверное, ни одной советской тайны, к ней приехал военный, летчик, генерал-лейтенант, совсем старенький, с палочкой-то еле ходил. И рассказал, что Валентина, действительно, в тот раз катапультировались на Новую Землю. И катапультиация была произведена восьмого мая. А девятого все их отделение вдруг срочно привлекли к участию в параде на Красной Площади, – зачем-то они совершенно неожиданно там понадобились. И они решили, что заберут Валентина чуть позже, – у него на этот случай были четкие инструкции, палатка, термобелье, запас продовольствия и воды, он мог ждать группу трое суток. А потом, откуда ни возьмись начались грозы, которых не предсказывала ни одна

метеостанция, и они никак не могли вылететь на Новую Землю. В общем, они туда добрались только одиннадцатого числа. И никого не нашли, в обозначенном квадрате никого и ничего не оказалось, – ни Валентина, ни обломков катапульного челнока, ни палатки, ни ложки, ни ножа! Даже следов приземления не было, хотя они нашли радар, пускавший сигналы, – его прикрепляли к груди испытателя. Тогда они запросили разрешение на спасательную экспедицию и за неделю обшарили всю Новую Землю, но все равно никого и ничего не нашли. Ни единого следа больше! Его там просто не было, ты понимаешь?..

– Понимаю, – утвердительно закивал головой Спутник, разглядывая последние капли коньяка на дне бокала. – Я, ты знаешь, иногда очень отчетливо понимаю Маркса, сказавшего, что религия – это опиум. Я, конечно, тут сам недели две назад напился, как сволочь, с одним батюшкой из Колычево, но все ж таки, до таких сказок он не договаривался, все больше Маяковского читал, – врага, говорит, надо знать в лицо. Крепкий такой поп, пробивной, – точно в архиепископы выйдет.

– Маяковского?.. – сбившись, неуверенно переспросила Валентина. – А зачем ты с ним встречался? Представляешь, этот тоже читал стихи...

– По делу встречался, с недвижимостью вопрос решали, – неохотно процедил Спутник. – Какие стихи?

К поэзии Адраазар перетек так же неощутимо, как начал свое повествование про супругов-испытателей Учайкиных, – или же Валентина отвлеклась, заглядевшись на переливы света в его глазах, напомнившие ей игру балтийских волн, на которые она смотрела ежедневно в течение последних пятнадцати лет. В пасмурную погоду море наливалось расплавленным текучим свинцом, тяжелым и густым, будто замыкаясь и отодвигая от себя все посторонние желания, надежды и чаяния, а в более редкие солнечные дни внезапно словно распахивалось настезь, открывая в глубоком, пронзительно-синем сиянии людям всю свою неожиданно-ласковую красоту; точно также и лицо монаха, когда он говорил о событиях не слишком веселых, – а таких в жизни всегда почему-то случается больше, – казалось, уходило вглубь себя, прикрывая взор створками смирения, но потом дул ветер, облака разбегались, и на небе становилось видно солнце, освещавшее незамутненную непогодой детскую наивную чистоту этого русского мужицкого скуластого лица, с каким, верно, ходил вокруг своей последней церкви с топором за поясом и сапогами на плечах плотник Степан Пробка.

Первые пятнадцать минут Валентина восхищалась монахом совершенно бескорыстно и искренне, точно так же, как любовалась Балтикой, однако на шестнадцатой минуте к восхищению постепенно начало примешиваться какое-то смутное недовольство. На семнадцатой же минуте, прислушавшись к себе, она осознала, чем недовольна. Она была все явственнее и явственнее недовольна тем, что слушает Адраазара с полной, стопроцентной отдачей, тогда как он, в свою очередь, до сих пор ни разу не посмотрел ей в глаза, а ведь должен был, давно должен был посмотреть и восхититься сам, увидев ее восхищение и откликнувшись на него. В конце концов, все мужчины, на которых она обращала внимание, начинали проникаться этим вниманием и переводили свои глаза на нее, оставляя других женщин, поддаваясь этому веселому, натуральному, доброму взгляду, представляя эти босые, без чулок, ноги, – все без исключения, она могла дать руку на отсечение, уж она-то знала свою силу и власть! Почему ж этот не смотрит, не видит, не отзывается?.. Дурында, он же монах, – едва слышно прошептал ей Ангел из-за правого плеча. Сказано же, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Это ты открываешь Евангелие пару раз в год, а он каждый день на ночь читает: вырви правый глаз свой и отсеки правую руку свою, если они соблазняют тебя, отсеки и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. Он-то молодец и войдет в рай смело и гордо, а вот ты за свои



пылкие страсти и неразборчивую неводержанность отправишься прямиком пить адскую смолу! – Какая еще смола, что ты слушаешь эти бредни? – захихикал за левым плечом бес. – Давай, девочка моя, не робей, посмотри на него, как ты умеешь, опусти ресницы и взмахни ими, словно бабочка нежными тонкими крыльями, улыбнись ему той самой, заветной, чуть приоткрытой влажной улыбкой, чтобы во рту мягким жемчужным светом блеснул ровный ряд зубов, скрывающих горячий язык... Такого человека можно полюбить, эти глаза и это простое, благородное и – как он ни бормочи молитвы – и страстное лицо! Вас ведь, женщин, не обманешь: еще когда он придвинул лицо к стеклу, смотря из окна кельи во двор, по которому вы бродили, и увидал тебя, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал...

Спекулируя на знании классической литературы, бесы кривлялись, корчили рожи и бубнили хором, жадно столпившись за левым Валентиным плечом и нагло выталкивая прочь грустного Ангела, из крыльев которого вылетали мягкие белые перышки, сиротливо кружившиеся по летнему сквозняку, гулявшему в храме. Бесы проворнее ангелов, проворнее, как ни жаль, – крутятся вечно возле, дергают за руки, за уста, за мысли, как за ниточки. Поддавшись их напору, Валентина, совершенно отвлекшаяся от речей монаха, сосредоточила во взгляде всю свою призывную силу и направила ее, как комплект ракет из установки «Град», в сторону Адраазара, стоявшего практически рядом, – чуть подавшись вперед, она могла бы коснуться пальцами его плеча. Он тут же повернул к ней голову и посмотрел в глаза прямым спокойным взором.

– Пушкин, – сказал он ей, – бесспорно, был великим поэтом. Но среди его современников имелись и другие, не менее талантливые люди, писавшие порой более глубокие стихи, которых люди сейчас просто не знают. Хочу прочесть вам одно их таких творений.

Валентина опешила. Бесы тоже совершенно растерялись, поскольку кто-кто, а Пушкин в сцену абсолютно не вписывался. По сценарию монаху следовало бы поднять на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказать, прижимая левую руку к подолу рясы: «Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас». Однако, Адраазар, ничуть не смущаясь несовпадениями сюжетных линий, выпростал вперед длинную, худую и неповрежденную десницу и, так же неотрывно глядя на Валентину, начал декламировать, по-прежнему безыскусно и в то же время проникновенно, как и говорил ранее:

Как хорошо быть одному  
В своей судьбе, в своем дому,  
Довольствоваться малым,  
Питаться снегом талым.

Как хорошо на полчаса  
Лечь на кровать, закрыть глаза,  
Уйти в себя, как в море  
Или кино немое...

«Какое кино?.. – изумилась Валентина, оглядываясь в поисках поддержки на Римму Васильевну и Светлану Борисовну, слушавших Адраазара с благостно-лирическими улыбками, а также Сережу Николаевича, морщившего лоб, путаясь в тонкостях перевода. – Какое кино?! Первый фильм Люмьеры сняли через шестьдесят лет после смерти Пушкина, он даже сфотографироваться-то не успел!..» Но ни ее коллеги, ни уж тем более сам чтец не обратили никакого внимания на столь вопиющий исторический ляп, поглощенные ритмом размера, успокаивающе постукивавшего, словно поезд по нака-

таннным рельсам. Адраазар читал плавно и вдохновенно, перетекая от строчки к строчке, от строфы к строфе:

Как хорошо спешить на зов  
Высоких птичьих голосов,  
С утра поющих в небе  
Легко, как на молебне.

Как хорошо в конце концов  
Стать оболочкою для слов,  
Исполниться молитвой  
В одно с дыханьем слитой...

Ракеты «Град» рассыпались, как коробок со спичками, ударившийся о невидимую непробиваемую преграду. Установка басовито крякнула и задымилась, словно печка, в которую насовали слишком много сырых дров. Бесы разочарованно сморщили маленькие, и без того сплюснутые пороссячи носы-пяточки и, повернувшись, всем стадом поплелись прочь, тонко постукивая копытцами и брезгливо помахивая длинными черными хвостами с лохматыми кисточками на концах. Из-за позолоченного косяка главного входа ехидно и торжествующе улыбнулся отмищенный Ангел, победоносным стягом гордо расправивший свои крыла. Валентина почувствовала себя Наполеоном, ошеломленно вступившим в пустой и тихий Кремль, – все произошло совершенно не так, как представлялось в мечтах, грезах и прочитанных романах. «*Mais de quoi est-ce qu'il s'agissait?*»<sup>2</sup> – недоумевающе спросила императора Жозефина, взволнованно обмахиваясь пышным веером из белых страусиных перьев. «*Mais vuos ne me compreniez pas, ma cherie?*»<sup>3</sup> – грустно ответил тот. – *Cela a été son propre poème. Poème d'Adraazar*».<sup>4</sup> Она недоуменно вздернула голыми, полными, присыпанными рисовой пудрой плечами: «*Et alors?*»<sup>5</sup>

Спутник тоже не понял ее разочарования.

– Ну и что? – знаком подзывая официанта, спросил он. – Повторите, пожалуйста. Подумаешь, не удержался, стишок прочитал. Кому ж ему еще было прочесть как не вам, университетским интеллигентам? У него там в монастыре сплошные посты, послушания, обеты и молитвы, Интернет по расписанию два часа в неделю и никакого читательского отклика. Понятное дело, не удержался парень, потешил самолюбие, тем более анонимно, под пушкинским прикрытием. Ну и что?..

– И ничего, – раздраженно подхватила Валентина, обижаясь на его недогадливость. – Вот именно что ничего! Сразу никаких бесов, – как бабка отшептала, все в один миг выветрились, словно ветром сдуло.

– Это почему же? – вскинул он брови.

– Да потому что поэты, а особенно русские, – наклоняясь к нему, холодно и презрительно отчеканила Валентина, ощущая внезапно нарастающую, усиленную коньяком упрямую и резкую враждебность, – самые распоследние сукины сыны во всем мире, а уж я повидала на своем пути немало сукиных и рассукиных сынов, поверь мне, русских и иностранных! Связываться с поэтом, – это как подцепить мандавошек.

– То есть, я, стало быть, – лобковая вша на твоём прекрасном теле, так? – медленно бледнея, отклонился назад Спутник.

– Так ты-то не поэт. Ты в глубине души – чистой воды торгаш, и если б ты был посмелее, то бросил бы всю эту словесность нахер, как Рембо, а тебе просто храбрости не хватает!..

<sup>2</sup> Но в чем же было дело (фр.).

<sup>3</sup> Вы разве не поняли, моя дорогая (фр.).

<sup>4</sup> Это же было его собственное стихотворение. Стихотворение Адраазара (фр.).

<sup>5</sup> Ну и что (фр.).

Мирная беседа совершенно неожиданно зашла в тупик жесткой яростной ссоры, в конце которой Спутнику надлежало бы по чести встать и уйти, кинув на стол пару тысячных бумажек, – желваки на его скулах так и заходили от оскорблений, которые Валентина бросала ему в лицо, как плевки. Ну и зачем ты его доводишь? – А хочется... Раз – да под дых, так, чтоб дыхалку перехватило, а второй раз, – да локтем по позвонкам, а третий раз да под ребра сапогом с коваными набойками, ты же мне их сам подремонтировал, разве не помнишь? Не умеешь любить – сиди дружи, милый. И уступишь сейчас здесь ты, а не я; тут я – центр-форвард, и я кидаю шайбу по твоим воротам. Три – ноль.

Она уже неоднократно провоцировала его такими выходками, и он каждый раз отклонял ее нападения, не желая идти в лобовую; на лобовых атаках Спутник был слаб, предпочитая сворачивать, обходить и ударять с тыла, – на этом умении, впрочем, он и делал свои деньги, просаживая их потом по кабакам. Вот и сейчас он вздохнул, пригладил волосы, поднял голову и посмотрел ей в глаза с ясной усмешкой, накрывая ее руку своей ладонью:

– Ну что ты опять развоевалась? Что случилось, скажи мне.

Ах, если б она могла сказать! Такое вслух не говорится, не надо притворяться бестолковым бараном. Не со Спутником же Валентина вела эти стычки, она вела их с самим Господом Богом, ропща против несправедливости расставленных на пути ее любви рогаток и засад. К Нему молча взывала она: *Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! – laissez-le-moi encore un peu mon amoureux!*<sup>6</sup> Оставь мне его, мон Дьё, оставь мне его, – на день, на два дня, на три дня. Оставь мне его на мгновение столь краткое в сравнении с теми годами, что мы проживем порознь. Дай мне зацеловать его, – сладко и горько, допьяну и досмерти, дай заласкать его во всех местах так, чтобы кончилось семя его из чресел его в лоне моем и на устах моих, чтобы воспарил он над ложем нашим, пустой и легкий, как космонавт в невесомости, чтобы три месяца после не хотел никого более, кроме меня, и ходил бы по московской земле, шальной и блаженный, напевая дурацкие песенки: *Какая женщина жила у Винского вокзала!* – Она и пела, и пила, и на метле летала... Дай мне, дай мне пресытиться им, чтобы отпустила я его со спокойной душой и чистой совестью к жене и сыну малому, тестю и теще, друзьям и врагам, прибыльному бизнесу и убыточной поэзии, а сама оглянулась бы по сторонам в поисках других возлюбленных, других жеребцов, – вон их сколько здесь дышит, тяжело и горячо, топчась поодаль в ожидании своей очереди. Ибо ты сам, мон Дьё, сам, своими руками невесть зачехотворил меня такой, – неверной, легкомысленной и блестяще-переменчивой, словно пена морская...

– Это возраст тебя поджимает, маленькая, – заходя с тыла, как она и ожидала, глубокомысленно поправил очки Спутник. – Нормальное женское взросление, – сначала у вас принцы, потом придурки, а потом все мужики – козлы.

Валентина расхохоталась так громко и раскатисто, что сидевшие неподалеку кавказцы разом обернулись и посмотрели на Спутника с явной завистью. Что-что, а смешить ее он умел, за это она его очень ценила.

– Ну, уж ты-то точно от козла недалеко ушел, – утирая выступившие на глазах от смеха слезы, проговорила она, разом простив ему все невысказанные обиды. – На том же лужку пасешься. Молодец, хорошо реагируешь, – три-один. Давай, твое здоровье! Тем более, что и стих-то был, в самом деле, неординарный. Пушкин за отсутствием времени эту тему, действительно, обдумать не успел:

И не бояться, что умрешь,  
Что смерть небытие, то – ложь,

---

<sup>6</sup> Мой Бог, мой Бог, мой Бог! – оставь мне его ненадолго, моего любовника (фр.).

Не пропадешь бесследно –  
Шагнешь из тела – в небо...<sup>7</sup>

Они дружно чокнулись и выпили, ощущая облегчительную сладость примирения и с новой силой нахлынувшего на обоих желания. Валентина прикрыла рот ладошкой, пряча улыбку.

– Все, хватит, – решительно сказал Спутник, тоже начиная улыбаться, – вставай, пошли отсюда, здесь контингент неподходящий. Я чувствую, тебя тут нанут клеить, как только я отлучусь в туалет. Бери сумку, по дороге доскажешь, что там еще произошло, в этом волшебном монастыре...

– Но монастырь действительно необычный, – зачастила Валентина, поднимаясь и по привычке, выработанной в студенческие годы, начиная активно жестикулировать. – О нем и в летописях упоминается. Его даже Батый не разорил, когда шел на Юрюзань. Подошел к самым стенам, только через Оку надо было переправиться. Назначил переправу на утро, чтобы на свежую голову монахов распотрошить. А ночью увидел сон. И поутру приказал обойти монастырь стороной...

– Не маши руками, милая, – рассматривая счет и вынимая из внутреннего кармана пиджака толстый, перекрученный сверток разномастных купюр, привычно посоветовал ей Спутник. – Летописей не так уж и мало, твой сказочник не уточнил, в которой из них об этом чудесном избавлении написано? И что там во сне было, он случайно не в курсе?..

– Ну, кто ж его знает, что там было, во сне? – подходя к нему вплотную и кладя руки на плечи, ответила Валентина, ощущая в душе огромный прилив нежности и любви и радуясь тому, что эти чувства живы, что ее любовь дышит, поет, приплясывает и ведет ее за собой вслед своему прихотливому танцу. – Только сам Батый, только он. Давай все-таки поцелуемся...



**Б**атый проснулся, словно бы от толчка, совершенно внезапно. Будильный петух еще не кричал, значит, не было даже трех часов. Хан иногда просыпался так, с ощущением, что где-то вблизи ходят разведывательные отряды неприятеля, но сейчас такого чувства точно не было, – юрюзанский коназ уже давно был извещен о приближении ордынских войск, а отправлять отряды внезапного нападения было бессмысленно, поскольку силы были слишком неравны. Завтрашний бой вообще был бессмысленным, но коназу в его упрямую урусутскую башку втемяшилось умереть героем и оставить после себя в мире добрую славу. Ну, что же, – все желания в этой жизни рано или поздно сбываются, тем более стремления, достойные воина и правителя. Сговориться с соседними коназами Юрий вряд ли успел, поскольку его послам отрубили головы еще в Воронеже. Так что в этот момент он, скорее всего, ходил по своей горнице взад-вперед, словно барс, запертый в клетке, – на шкуре одного из таких барсов Батый сейчас лежал, прислушиваясь к тихим шагам и приглушенным пересвистам караульных за пологом юрты. Все шло, как надо, – завтра к вечеру они подойдут к стенам защищающей Юрюзань коломенской крепости, около которой будет стоять скудная и бледная урусутская рать, лучники выпустят поток стрел, а потом польется конница, с визгами и подвыванием вопя «Хуррагх!» Об исходе боя можно было даже не думать, пожалуй, он передаст в этот раз командование Менгу-хану, а своей славе оставит более крепкий орех – Машфу. Юрюзанцы меж тем запрутся в детинце<sup>8</sup> и, стена и проклиная поганых и окаянных, продержатся там дней пять, может шесть, – не больше недели. Итак, завтра, нет, уже сегодня, часов через шесть. Нет, завтра, сегодня

<sup>7</sup> Отрывки взяты из стихотворения Алексея Ланцова «Как хорошо...» с любезного согласия автора.

<sup>8</sup> Укрепленная часть внутри города, Кремль.

не получится, на очереди же еще эта шаманская деревянная крепостишка, монастырь. Ну, с ней застоявшееся войско разделается быстро, больше времени уйдет на переправу, кони будут скользить по льду, кроме того, его сначала надо прощупать, чтобы не нарваться на запорошенную полынью или тонкую наледь, которая не выдержит тяжести пороков<sup>9</sup>. Значит, завтра монастырь. Слово монастырь вдруг отозвалось неожиданным уколом под левую лопатку, словно укусом блохи. Это же его он видел во сне, от которого, собственно, и проснулся. Батый плотно закрыл веки и в одну секунду вспомнил весь этот странный сон до последней картинки.

Во сне он увидел самого себя, сидящего на любимом, молодом, белом в яблоках арабском жеребце Аннычаре посередине русла затянутой льдом и заметенной снегом Оки. Вокруг никого не было, он находился совершенно один, чего с ним не случалось, наверное, ни разу в жизни, – даже когда он высылал всех из юрты, за пологом всегда присутствовали десятки людей, в обязанность которых входило следить за каждым движением сначала юного тайджи<sup>10</sup>, потом хана, а затем великого джихангира<sup>11</sup> и кидаться исполнять его любое желание, высказанное даже шепотом. Именно сознание полного одиночества наполнило сон смутной тревогой, с которой Батый до боли в глазах вглядывался в белую пустоту реки и обрамлявшие ее холмистые снежные берега. Левый, пологий, был пуст, а на верху правого, более крутого, стоял тот самый монастырь, – деревянная молельня с узкой башенкой колокольни и три низкие избы, окруженные забором из плотно составленных заостренных кольев, на каждом из которых была надета круглая снеговая шапочка. По замыслу лучники должны были забросать молельню горящими стрелами, а стенобитное орудие открыть хлипкие ворота со второго удара. Ветер раздувал гриву коня, вокруг которой струились снежные змейки, поднимаемые снизу и сметаемые с боков, смешивавшиеся с мелкими колючими снежинками, сыпавшимися сверху, с туманно-серого неба. Батый осматривал окрестности, не понимая, что ему делать и куда идти, и ощущая растерянность от того, что решения, которые он всегда принимал быстро и уверенно, в этот раз отсутствовали. Аннычар, вероятно, почувствовавший смятение хозяина, также заволновался и принялся переступать с ноги на ногу, все быстрее и быстрее, а затем забил копытом и, взвизвись на дыбы, громко и отчаянно заржал. Натянув поводья до упора, чувствуя, как узда впивается в конские губы, Батый все-таки смирил жеребца. Вокруг все оставалось так же тихо и холодно. Неожиданно по белой тишине откуда-то сверху медленно поплыл густой, насыщенный звук, – думмм!.. Вздрогнув от неожиданности, Батый понял, что это был удар колокола, доносившийся из урусутского шаманского дома, – дуууммм... дуууммм... дуууммм... Затем на тяжелый бас главного колокола начали нанизываться более тонкие кольца и совсем тоненькие колечки колоколов поменьше и полегче, – дум-дуууммм... дум-дуууммм... дум-дум-думмм!.. Перезвон постепенно наполнил белое русло реки, коня и его самого, заставляя раскачиваться в такт ударам. Аннычар, вытянув вперед морду и прижав серо-дымчатые уши, ловил каждый новый удар всем трепещущим телом. На одной, особенно рассыпчатой связке мелких колец далеко впереди, на повороте речного русла, сливающегося с горизонтом, показалась черная точка, и Батый впился в нее взглядом, стараясь разгадать, что же это такое. Человек? Зверь? А, может, злой дух Иблис?.. – впрочем, духи двигаются быстро, не заставляя своих жертв томиться в ожидании беды: прыгают сзади черной кошкой Карапшик и вонзаются острыми и длинными, как наточенные ножи, когтями в горло, раздирая его в кровь. Больше всего хана мучило то, что он не мог сам устремиться существу навстречу, – неизвестно почему, но Батый твердо знал, что ему нужно оставаться на месте, словно выполняя чей-то приказ, и это тоже было странно, потому что последние

---

<sup>9</sup> Стенобитных машин.

<sup>10</sup> Царевича (монг.).

<sup>11</sup> Покоритель вселенной; титул главнокомандующего (арабск.).

десять лет джихангир не слушал команды, а раздавал их. Точка медленно, медленно приближалась, росла, увеличивалась в размерах, и наконец Батый смог разглядеть, что это был старик в длинной, ниже колен, холщовой светлой рубахе, полы которой трепал и раздувал ветер. По виду он был похож на урусутского дервиша, из тех, что, как объяснили ему, ходят от одного шаманского дома к другому, чтобы поклониться деревянным доскам с изображениями богов и святых, творивших чудеса. Голова старика была непокрыта, на ногах тоже ничего не было, он шел босиком по снегу легко и плавно, не проваливаясь в сугробы, а словно скользя по ним, а ведь рассыпчатый декабрьский снег не держал ни волков, ни лис, ни даже кошек!

Высокие колокольца смолкли, но большой колокол, остановить который было не так просто, продолжал раскачиваться, отсчитывая медленно снижающие громкость и силу удары. С тринадцатым старик оказался рядом с ханом и остался стоять, опустив голову перед всадником. «Кто ты?» – спросил его Батый, и собственный голос показался ему тихим и слабым в еще наполненном гудением пространстве. Старик не двигался, лишь длинные седые курчавые волосы шевелились под ветром. «Кто ты?» – повторил хан по-татарски, снова не получив никакого ответа. Наконец он вспомнил и затвердевшими, непослушными от холода губами в третий раз спросил по-урусутски: «Като ты?..» Старик поднял голову и Батый увидел, что лицо дервиша, словно белая маска, было облеплено тонким узором снежинок, а глаза под густыми и лохматыми от снега бровями закрыты, как будто он крепко спал, – такие отрубленные головы врагов Батью часто приносили в дар ордынские темники<sup>12</sup> и джагуны<sup>13</sup>; на них не было ни страха, ни ненависти, ни какой-либо другой человеческой страсти, лишь спокойное умиротворение смерти. Но ведь старик-то был жив, – Батый даже видел легкий пар дыхания, выходящий из его ноздрей! «Надо открыть ему глаза, – подумал он, – поднять веки!»

Он спрыгнул с коня и тут же увяз в мягком снегу почти по край сапог. Аннычар, потеряв хозяина, снова отчаянно заржал и бросился вперед, неистово размахивая хвостом и выбивая из-под копыт струи снега, разлетавшиеся вокруг ног коня россыпью маленьких белых водоворотов. Батый беззвучно ахнул и хотел уже броситься вслед за жеребцом, но тут старик положил ему руку на плечо и медленно открыл глаза, запорошенные снегом. «Идем», – сказал он едва слышно, одними губами, и, взяв хана за запястье, повел его по нехоженному снегу к правому берегу реки. Они начали взбираться по крутому откосу, – Батый скользил, оступался и тыкался свободной левой рукой в сугробы, стараясь найти под ними хоть какую-то опору, но пальцы раз за разом сжимали лишь мягкие отрезки снега, за которые нельзя было удержаться. Старик же поднимался легко и спокойно, сильной уверенной рукой подтягивая за собой хана. «Пороки здесь не поднимешь, – успел подумать Батый, окончательно запыхавшись, чувствуя в висках удары все сильнее колотящегося сердца, – придется искать другой путь». Наконец неровный подъем кончился. Они стояли наверху, но почему-то не на правом, а на левом берегу, – монастырь опять находился прямо напротив, и между ними снова лежала Ока. «Как же так?» – изумленно спросил Батый дервиша. Ничего не отвечая, тот поднял голову, и, прищурясь, стал смотреть наверх. Повторяя его движение, великий джихангир тоже вскинул глаза и увидел над собой ослепительно синее, бездонное летнее небо, на котором не было ни одного облачка, предвещавшее нежно-теплый день, который к полудню прогреется до легкой жары. Солнце находилось у него прямо за головой, на востоке, значит, они смотрели на запад. «Виждь, – сказал старик, легонько касаясь перстами его плеча. – Внемли. Сядут девы семо и овамо. Пойдут путы путать и полки пятить». Не понимая урусутской речи, Батый впился тревожным взглядом в гладкое, без единой морщинки и складки небесное полотно, расстилавшееся над ними... На этом моменте напряженного ожидания хан и проснулся.

<sup>12</sup> Начальники корпусов в десять тысяч человек.

<sup>13</sup> Сотники (монг.).

«Надо позвать гадалку, – решил он. – А впрочем, вздор. Ничего дурного во сне не было, – никакого знака о поражении или смерти. А болезнь меня уже миновала. От болезней у меня теперь есть жена» – он скосил глаза и взглянул на Учайку, которая, спала глубоким сном, уткнув голову в его плечо, по-детски трогательно приоткрыв губы и чуть посапывая. Непривычное чувство мягкого умиления разлилось вдруг внутри груди Батыя сладкой тягучей волной. «Зря, конечно, я оставляю ее ночевать в своей юрте, – женщина должна жить отдельно. Надо отправить ее в обоз, к другим женам, – пусть учится носить нарядную одежду, говорить по-птичьи щебечущим голосом и ходить мелкими шажками, опустив очи ниц. Иначе по войску пойдут всякие глупые толки и ненужные пересуды. Да. Завтра же отошлю ее от себя». Приняв это решение, он тут же понял, что не выполнит его ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни через месяц, ни до конца похода, сколько бы он ни продлился. Не отошлет, о чем бы ни сплетничали нукеры и усмехались джагуны. Во-первых, пока она рядом, его жизнь в безопасности, а во-вторых... во-вторых, ему... он... ее... она... Ну да, – пока она рядом, жизнь великого джихангира в безопасности. Орда не должна потерять своего предводителя. Умереть, не дожив до тридцати лет, было бы крайне обидно, – а именно так почти и произошло месяц назад. Кипчаки, как бы они ни притворялись, всегда на деле оказывались подлыми тварями, – ублюдочный народ, появившийся на свет от сношений свиньи с шакалом!.. Смелости в них никогда не было, – лишь желание поживиться, урвав кусок от туши оленя, загнанного стаей волков.

Три кипчакских хана – отец и двое сыновей – приехали в ставку великого джихангира около месяца назад, – слух о том, что поход идет успешно, затмил их разум жадностью и желанием даровых богатств. Песни они пели те же, что и всегда, дескать, татары и кипчаки – братья по крови, а кто же поддержит друг друга в трудную минуту, как не брат брата? Батый, однако, не собирался держать отряды кипчаков в орде на особых условиях, увеличивая им долю добычи: ему совершенно не нужны были недовольства со стороны туркмен, тангутов, белуджей или аланов, которые, кстати, в бою сражались куда отважней. Кроме того, хан не сомневался, что при малейшей неудаче братья тут же побегут втихаря сговариваться с урусутами, если уже не заключили с ними очередной нерушимый договор. В силу этого он любезно, приветливо и непроницаемо-дружески выслушал цветистые речи об «одной крови одного рода», принял в дар двенадцать жирных черных курдючных баранов, двенадцать рыжих степных кобылиц и двенадцать кипчакских красавиц в остроконечных войлочных шапках: Зарина, Джамия, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфийа... Гюльчатая. Батый равнодушно осмотрел подаренных невольниц, задержавшись взглядом лишь на личике последней, Гюльчатой, почти девочке лет тринадцати-четырнадцати, искоса бросавшей детские любопытные взгляды на грозного джихангира, и усмехнувшись, поблагодарил братьев за щедрые дары, обещая обдумать условия возможного союзничества. Их глупость его искренне позабавила: неужели они, подсовывая ему неопытное дитя, думали, что у него было мало наложниц, обученных высшим тонкостям в искусстве услаждения мужчин? А может, наоборот, решили, что он пресытился их опытностью и детская целомудренность его раззадорит? Да ничего они не думали, собрали в кучу этих усатых красавиц и пригнали к нему, как стадо ослиц. А девчонка, небось, уже спит и видит, как станет любимой женой джихангира. Тупые ишаки...

С удовольствием он выпил лишь кумыс, который набивавшиеся в братья ханы привезли в бурдюках из своих степей. А вот этого, как оказалось, делать совершенно не следовало, несмотря на то, что кумыс был свежий, прохладный и отменно вкусный, доставивший хану истинное наслаждение. Ночью он проснулся от резкой боли, скрутившей кишки. Лишь только Батый открыл рот, чтобы позвать Турукана, верного

нукера<sup>14</sup>, ходившего за ним с самого детства, как из его рта стремительно потекла густая желтая рвота, залившая шею, грудь и шкуру барса, на которой он спал. Следом неудержимо полилось из нижнего отверстия, и юрта наполнилась густым смрадом, от которого хан опять начал блевать. Прибежавший на странные звуки нукер, обнаружил Ослепительного, корчившегося в луже собственной блевоты и испражнений. Перепуганный, он начал обтирать лицо Батыя голыми руками, так что через минуту они оба оказались выпачканными мерзостной вонючей массой, продолжавшей извергаться из нутра хана. Наконец Турукан сообразил кликнуть на помощь других нукеров и помчался за лекарями и шаманом. Когда они пришли, Батый лежал на середине юрты, дрожа всеми конечностями от нахлынувшего озноба. Целебный отвар не принес облегчения, – хана опять обильно вырвало. Шаман принялся окуривать больного дымом от веточки волшебного дерева тум-тум, приговаривая древние заклинания, изгоняющие злых мангусов<sup>15</sup>, но мангусы сдаваться не желали, – через час Батый опять обпоносился, словно младенец, причем на этот раз в каловой жидкости были явно заметны кровяные следы. Дознание, проведенное на следующий день, результатов не дало, – все три кипчака были совершенно здоровы и клялись геройской памятью общих предков, что их кумыс не мог принести Ослепительному никакого вреда. В отравлении их заподозрить было трудно, поскольку все пили напиток из одного кувшина, а от своей чашки Батый не отворачивался, так что времени подбросить отраву просто не было. Кроме того, выгоды от такого зла кипчаки вообще не имели. На всякий случай хан велел приставить к ним стражу и караулить до тех пор, пока ему не станет легче.

Но легче не становилось: рвота и понос продолжались, а жар то поднимался, то резко падал, совершенно обессиливая больного, организм которого через краткое время исторгал любые принятые им пищу и питье, а также разнообразные отвары, приготовленные дрожащим от страха лекарем. Шаман разводил руками и говорил, что Ослепительного, верно, сглазили, напустив на него тьму злобных мангусов, терзающих внутренности джихангира.

Через неделю мучений, двадцативосьмилетний, полный сил молодой мужчина превратился в скелета, обтянутого серой пересохшей кожей, по которой обильно расползлись язвы, источавшие грязно-белый гной, засыхавший и превращавшийся в струпья. Любое движение приносило ему мучительные страдания, от которых он начинал кричать так, что сорвал голос. Войска, не знавшие о болезни джихангира, топтались на месте, проводя время в джигитовке, костях и развлечениях с красотками из окрестных деревень. Начались стычки и потасовки из-за неподделанных женщин и выигрышей; произошло даже убийство. Убийце, разумеется, устроили показательную казнь, сломав ему спину, но пора было принимать какое-то решение, вот только никто не знал, какое. Джагуны не решались заводить разговор о судьбе похода, поскольку она была неразрывно связана с судьбой джихангира, а его судьба висела на волоске. Оставалось лишь ждать, уповая на милость высших сил.

На седьмой день, когда Батый, очищенный нукерами от утренних извержений, лежал навзничь, тупо и безмысленно глядя застывшим взглядом наверх, полог юрты откинулся, и Турукан подвел к постели хана незнакомого воина. Тот встал на колени и, непроизвольно брезгливо скривившись, прижался лбом к запачканному полу.

– Ослепительный, – прошептал нукер, поднимая голову и с ужасом вглядываясь в то страшное существо, которое лежало на постели великого джихангира, – мне донесли, что в зарайской деревне, рядом с которой стоит орда, живет местная знахарка, весьма сильная и излечившая многих селян, детей, взрослых и старцев от самых лютых

<sup>14</sup> Нукеры – охранники хана, составлявшие его личную дружину.

<sup>15</sup> Мангусы – сказочные кровожадные чудовища тюркской мифологии, обладающие сверхъестественной силой, вампиры.



хворей. Не мое дело давать тебе советы, но скорбь, как червь, гложет мое сердце, когда я вижу твои страдания...

Батый с трудом повернул к нему высохшее посеревшее лицо с запекшимися от сукровицы в коричневую корку, истончившимися до нитки губами.

– Привести... – прохрипел он, обдирая сухое горло словами. – Привести, иначе я здесь к завтрашнему утру сдохну, как шелудивый пес, в собственных нечистотах и блевотине, напрасно дожидаясь помощи от этих невежд... Послать стражу и привести сейчас же...

Утомившись от столь долгой речи, хан медленно закрыл воспаленные, сочащиеся желтоватой слизью глаза, и впал в тяжелое забытие. Очнулся он от того, что кто-то медленно и мягко гладил его ладонью по лицу, – на удивление, прикосновения не приносили боли, от них растекалось тепло, проникая под щеки и губы внутрь, к затылку до самых шейных позвонков. Батый открыл глаза, обнаружив, что они не слеплены гноем и он в состоянии спокойно и незаметно для себя самого моргать, как все здоровые люди. Над ним склонилось молодое женское лицо, – довольно крупное, с невысоким лбом, вокруг которого вились светло-русые пряди волос, и чуть раскосыми, но в то же время большими глазами насыщенно-голубого цвета, осматривавшими его внимательно и пытливо. Женщина еще раз провела рукой по голове хана, – от макушки к подбородку, потом сжала пальцы в кулак и, отведя локоть в сторону, резко раскрыла ладонь, словно выбрасывая что-то невидимое. Подсунув левую руку под шею хана, она уверенно приподняла его спину и поднесла к губам плошку с жидкостью, от которой шел густой дымящийся пар, пахнувший сочным, но незнакомым травяным запахом.

– Симть<sup>16</sup>, – сказала она, кивая головой. – Симик, иля пеле, тон чождалгават.<sup>17</sup>

Батый глядел на нее, пытаясь разгадать, чьих племен была знахарка. Кожа ее была так же бела, как и у урусутов, и волосы так же светлы, но скулы выписаны намного четче и упрямее, а нос более прям и строг. Потом он вспомнил, что нукер говорил о зарайцах. Значит, это та самая зарайская шаманка. Странно, она была непохожа на тех зарайцев, которых он видел на берегах Мокши, – их щуплый, пронырливый, как заяц, князек даже приходил к джихангиру на поклон, набиваясь к нему в сокольничие. Впрочем, он особо их не разглядывал: мелкий смиренный народец, – у мужчин из оружия одни топоры, да и те они не решаются пустить в дело, предпочитая отсиживаться в лесах.

– Симть, – повторила знахарка чистым высоким голосом. – Тонь порат эзь сак куломс, менель тештьне ёвтнить ханонтень оштё комсь иеть вадря эрямо.<sup>18</sup>

Он покорно начал глотать тягучую сладковатую жидкость, ощущая, как, смазывая гортань, она мягко проскальзывает в желудок. «Хуже уже не будет... – замелькали в голове мысли. – Разве не все равно теперь, – я и так на пороге, с ней или без нее. А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю...»

Непривычное чувство теплого насыщения разлилось от желудка по всем членам, наполняя их приятной тяжестью, и хан почувствовал, что погружается в мягкую розово-сиреневую дремоту, переходящую в крепкий сон, без кошмаров и боли.

Разбудили его опять те же теплые руки, ласково гладившие лицо.

– Сыргузть, – сказала знахарка, начиная разминать пальцами уши Батыя. – Тон удыть кемгавтово част. Саты, мон карман тонь ормань изнямо.<sup>19</sup> Турукан!

«Она уже знает, как кого зовут, шустрая зарайская лиса», – подумал Батый, не понимая, доволен он этим или нет, и тоже позвал: – Турукан! – голос был хоть и сла-

<sup>16</sup> Пей (зарайск.).

<sup>17</sup> Выпей, не бойся, тебе станет легче (зарайск.).

<sup>18</sup> Пей. Тебе рано умирать, звезды сулят хану еще двадцать лет счастливой жизни (зарайск.).

<sup>19</sup> Просыпайся. Ты спал двенадцать часов. Довольно, я буду тебя лечить (зарайск.).

бым, но полнозвучным, не сипел, не хрипел и не царапал связки. Хан внезапно осознал, что это была первая спокойная ночь, проведенная без рвоты и поноса.

Прибежавший на зов Турукан переводил восторженный взгляд с Ослепительного на знахарку, выказывая полную готовность исполнить любое повеление. Шаманка, не робея, взяла его за руку и принялась объяснять ему что-то на зарайском языке, слова которого перекатывались на ее губах, будто камушки под быстрой речной струей, выплескиваясь из потока звуками «ыть» и «сть». Нукер покорно слушал и кивал коротко стриженной седой головой, пригибая шею, как ученик слушает учителя, которому невозможно перечить. Наконец она решительно взмахнула рукой, будто отдавая приказ идти в бой. Турукан подошел к хану и, не успев тот даже открыть рот, откинул верблюжье одеяло и начал снимать с него нателную рубаху тонкого китайского шелка. Через короткое время ослепительный хан, полностью обнаженный, лежал на шкурах, на полу юрты, а она возвышалась над ним, рассматривая его тело с прерывистой улыбкой, легкой змейкой пробегавшей по ее губам. Он почувствовал детский стыд за свою наготу, как будто ему снова было четырнадцать лет и он опять входил в шатер к наложнице, дабы обрести мужественность. Рассердившись на самого себя, Батый решительно взглянул на шаманку, но она, не смущаясь, перешагнула через него и, подтянув подол платья, уселась прямо на его чресла, чуть пониже мужского достоинства, которое увядшим цветком грустно лежало на правой ноге. Знахарка вытянула левую руку, и Турукан вложил в нее большую глубокую чашу, из которой она ладонью правой руки зачерпнула полную пригоршню густой желтоватой мази. Резкий, пощипывающий ноздри запах разошелся по юрте.

– Аштик састо<sup>20</sup>, – строго сказала шаманка Батыю. – Кандт эсить сталмунть, кода-бу стака илязо ули.<sup>21</sup>

Он кивнул головой, не поняв ни слова и сам удивляясь, зачем кивает. Знахарка поднесла пригоршню с мазью и губам и три раза на нее подула, а затем быстро зашептала свои зарайские заклинания. Проделав так три раза, она начала обеими руками втирать мазь в тело хана сильными поперечными движениями, потепенно спускаясь вниз: от левого плеча к правому, от левого соска к правому, от левой половины живота к правой... Когда мазь в ладони заканчивалась, она зачерпывала очередную пригоршню из чаши, которую, стоя рядом на коленях, держал Турукан, глядевший на шаманку заворуженно, словно суслик на песчаного удавчика. Первая чаша ушла на переднюю половину тела хана, вторая – на его тылы; усердная шаманка смазала все складки и отверстия, не забыв даже о промежутках между пальцами на ногах. Содержимое третьей чаши пошло на шею и голову, – даже длинные волосы хана были смазаны с помощью деревянного гребня. Закончив, шаманка вытянула руки к потолку юрты и три раза выкрикнула: «Вант! Кунсолук! Теик теменьть!»<sup>22</sup> – «Теик теменьть!»<sup>23</sup>, – густым басом отозвался вдруг Турукан. Знахарка рассмеялась и легко, как годовалая кобылица, соскочила с Батыя. Они укрыли его сначала холщовой простыней, затем верблюжьим одеялом, а напоследок медвежьей шкурой. Тяжесть показалась хану такой внушительной, будто бы он лежал под стенобитным орудием.

Сперва по телу пробежал легкий холодок, растекшийся от туловища по всем членам; конечности похолодели настолько, что Батый не мог шевельнуть ни единым пальцем ни на руках, ни на ногах. Затем холод постепенно сменился теплом, а тепло – жаром, но не тем жаром болезни, который скрючивает все тело и от малейшего движения оборачивается жгучим ознобом холода, а посторонним жаром, накалявшим кожу и по жилам, прожилкам и сухожилиям пробиравшимся до самых костей. Через десять минут

<sup>20</sup> Лежи смирно (зарайск.).

<sup>21</sup> Неси свою ношу, как бы тяжело не было (зарайск.).

<sup>22</sup> Видзь! Внемли! Сотвори! (зарайск.)

<sup>23</sup> Сотвори! (зарайск.)

Батыю начало казаться, что весь его скелет горит, словно охваченный пламенем куст, а волосы на голове потрескивают раскалившейся листвой. Под Воронежем хан остановился на ночлег в одном из урусутских молельных домов, и толстый бородатый урусутский шаман, потчuya Ослепительного сладким хмельным зельем, рассказывал, что зелье это приготовлено из ягод, поспевших на диком кустарнике каражимеш<sup>24</sup>; как-то раз один такой куст загорелся и горел три, четыре, пять дней, неделю, и все люди приходили дивиться на эти чудеса, не понимая, почему же не может он выгореть до конца, до головешек, углей, золы и пепла? Потом отправился к кусту и Батый, сказав: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает? А как подошел он к кусту, то увидел, что куст этот есть он сам, разбросавший в разные стороны руки, ноги и волосы, и пылает он пламенем алым, и горит он огнем синим, но сгореть не может, будто сделан он не из древесной плоти, а из камня или из глины. И дивился Батый на те чудеса, смотря со стороны на себя самого. Затем вышел из пламени посланник Бога по имени Анагел, и встал по правую сторону от куста. А после того воззвал из среды куста и сам Бог: Батый, Батый! Он сказал: вот я, Господи! – и закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: собирай войско свое и веди его на запад, веди, пока не дойдешь до северного моря. Покорятся тебе все народы на пути твоём, ибо наступает день Господень, ибо он близок – день тьмы и мрака, день облачный и туманный; ты будешь облаком и туманом, ты повлечешь за собой тьму и мрак. Приведешь на земли западные народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века: зубы у него – зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы; вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Будешь нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их. От меча падут они; младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены; раскаяния в том не будет у меня.

– Но ты же не мой Бог, – возразил Богу Батый. – Ты Бог тех народов, которых хочешь поразить и низвергнуть. Почему возвышаешь ты меня, а их унижаешь, если они молятся тебе и к тебе взывают в опасности, а ты не хочешь их защитить? Не могу я найти в этом ни смысла, ни справедливости. Не проще ли им тогда перестать верить в тебя?

– Если бы кто-то меня спросил, – усмехнулся вдруг стоящий по правую сторону от среды куста пухлогубый Анагел, потряхнув белокурыми длинными кудрями, – как я чую присутствие высших сил? Дрожь в руках? Мурашки по шее? Слабость рук, подгибание ног? Я бы ответил: если страшнее, чем можно придумать – то это Бог. Кто мудр, чтобы разуместь это? – продолжил он, так же странно усмехаясь. – Кто разумен, чтобы познать это? Не ты мудр, Батый, и не ты разумен, чтобы судить о делах, тебе неподвластных: не рука ты, а лишь праща в деснице Божией, летящая через холмы и реки и разящая праведников вместе с нечестивцами, производя смятение в умах их и разделяя сердца их. Будут они развеяны, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым от куста огненного!..

На этих словах жар пекла достиг своего предела, ствол Батыя содрогнулся, листья на его ветках затрепетали в пламенном напряжении, а плоды среди листвы лопнули и сильными частыми толчками потекли на землю обильным густым семенем, как это случалось в отроческих снах. Он открыл глаза, ожидая увидеть лицо шаманки, но увидел физиономию Турукана, ослабившегося от умиления.

– Ты проснулся, Ослепительный, – пробормотал нукер, глядя на джихангира со слезами на глазах, выступившими от тщательно скрываемой отеческой любви и тревоги. – Ты выздоравливаешь. Скоро силы к тебе вернуться, и ты вновь станешь прежним могучим батыром и великим правителем.

<sup>24</sup> Слива, терновник (тат.).

– Сколько я спал? – спросил Батый, выпрастывая правую руку из-под одеял и накидок. – Я голоден, принеси мне еды.

– Почти сутки, Слепительный, – прошептал Турукан. – Все сошло... Ни одной язвы... Она уже варит для тебя какую-то похлебку из молочного ягнегка. Она сказала, что ты сможешь есть привычную еду через три дня.

Рука, действительно, была чиста и здорова, более того, кожа на ней стала как будто более молодой, тугой и упругой. Заторопившись, Батый скинул все покрывала, сел и принялся осматривать свое тело: гноиники и язвы исчезли, не оставив после себя ни рубцов, ни шрамов. Казалось, что страшной болезни и не было, что он не валялся здесь неделю в горячечном бреде, выкрикивая самые черные ругательства от боли и злобного бессилия.

В светлом проеме откинувшегося полога показалась знахарка, несущая в руках деревянную плошку, от которой распространялся пар и сочный запах свежесваренной ягнатины, заливший рот хана обильной кисловатой слюной. Она села на коленях рядом с постелью и достала откуда-то из рукава маленький черпачок, которым принялась зачерпывать шурпу<sup>25</sup> с мелкими кусками мяса, ловко отправляя их в рот больного, словно орлица, кормящая своего орленка. Хотя вкус от незнакомых трав и приправ был непривычен, Батый жадно жевал и глотал, причавкивая от нетерпения и слизывая языком капли с подбородка. Когда с едой было покончено, она таким же ловким уверенным движением вытерла хану рот, заблестевший от маслянистого наваара. Эта детская непосредственность и смелость развеселила Батые: дикарка, вероятно, не имела никакого представления о высоком положении своего больного, который мог в любую минуту распорядиться ее жизнью по своему усмотрению. Впрочем, хану не хотелось ее одергивать.

– Батый, – сказал он, утвердительно кладя руку себе на грудь. – Я – Бату-хан. Батый. А ты?.. – он перевел указательный палец на нее. Палец уперся в висевшее на груди знахарки ожерелье, которое целиком было составлено из медвежьих зубов. Зубы тихонько поднимались и опускались, следуя за дыханием высокой крепкой груди. – Ты? – снова спросил хан, заставив себя оторваться от груди, посмотреть на лицо и встретиться глазами с ее чуть насмешливым ярко-голубым взглядом.

– Учайка, – спокойно ответила она, улыбаясь все смелее и показывая собственные, крупные красивые зубы, здоровые и целые, словно у молодой лошади. – Монь лемем Учайка.<sup>26</sup>



– Утяйка, – повторил он, чувствуя, что начинает непроизвольно улыбаться вслед за ней. Трое следующих суток Батый ел приготовленные Учайкой похлебки, поскольку на приносимые Туруканом жареную баранину и конину она отрицательно качала головой, пил сваренные ею отвары разного цвета и запаха и смотрел, как она, сидя на полу рядом с большим дорожным сундуком, разбирает разнообразные травки, принесенные с собой в большом бауле. В остальное время он спал, приказав Турукану отправлять прочь с порога всех джагунов, с какими бы вестями они не приходили. Кипчакским ханам было велено убираться подобру-поздорову из лагеря, благославляя джихангира за то, что он даровал им их

жалкие жизни. В конце третьего дня, когда день уже сменился ночью и одуревшее от бездействия войско с трудом угомонилось, он в первый раз за две недели само-

<sup>25</sup> Похлебку (тат.).

<sup>26</sup> Меня зовут Учайка (зарайск.).

стоятельно, без посторонней помощи вышел за пределы юрты. Снег за время долгого стояния был вытоптан и запачкан всякими отходами людской деятельности: как только покров обновлялся свежим снежком, его тут же заливали и заваливали помоями, мусором и нечистотами. Поморщившись, Батый посмотрев наверх, сильно, до рези в груди вдохнув морозный воздух и выпустив его из легких медленной струей горячего пара жизни. Низкое зимнее небо нависло над юртами, придавливая их к земле своей чернотой. Ветер лениво перетаскивал по этому черному пространству серые сгустки облаков, сквозь которые прорывались мелкие и крупные звезды. Покрутив головой, Батый отыскал слева Повозку вечности<sup>27</sup>, дуга которой свешивалась за его макушку. Месяца не было: он гостил у своей земной жены Хоседем, эта колдунья своими чарами сманивала его с неба каждую четвертую неделю. Батый вдруг вспомнил о своих женах, которых не посещал с визитом как раз три недели. Шатер любимой жены Асият-Ханум находился здесь же, в нижней части лагеря, до него можно было пройти за десять минут. Наверняка, она плачет каждый день от тревоги и неизвестности. Батый задумчиво поглядел в темноту, прятанную шатер младшей жены великого джихангира, и, решительно повернувшись, зашел назад в юрту. Пора было сниматься и двигаться к Юрюзани.

– Утяйка, – улегшись на постель, позвал он знахарку, которая, оставив травки, занималась тем, что расчесывала свои густые, слегка волнистые волосы, доходящие ей до пояса, – подойди сюда.

Она послушно откликнулась на его голос, выбралась из-за сундука и, подойдя, опустилась на колени рядом с ложем, вопросительно глядя на хана. Тот провел пальцами по бусам из медвежьих зубов, чувствуя их острия на подушечках своих пальцев. Затем он провел ладонью по ее шее, – от подбородка к ключицам, так что большой палец попал на яремную жилу справа, указательный и средний спустились к левой ключичной впадине, а безымянный с мизинцем легли чуть пониже кости. Она вытянула шею, и Батый ощутил в своей руке биение ее пульса, будто он сжимал мелкую птаху.

– Была у Месяца жена – прекрасная Солнце, – глядя второй рукой девушку по колену, заговорил он, не заботясь о том, что она его не понимает. – Любила она его всем сердцем, берегла и стерегла, словно малое дитя. Было также у него много других жен и наложниц, было их такое большое число, что ни один звездочет в мире не мог их сосчитать. Вот только однажды посмотрел Месяц с неба на землю и увидел там прекрасную шаманку Хоседем, которая мыла свои белые ноги на речном берегу, думая, что никто не видит их наготу под покровом темной ночи. Закачался Месяц от красоты Хоседем, закружился по небу. Удивилась шаманка, что свет в ночи скачет и прыгает, посмотрела на небо и увидела влюбленного Месяца. Понравился Месяц Хоседем и решила она сманить его к себе на землю, потому что не было у нее небесных любовников, – только люди, звери и мангусы. Скинула она с себя рубаху и стала звать Месяца и манить его к себе, говоря: «Месяц, Месяц, мой дружок, позолоченный рожок, лезь ко мне в окошко, – дам тебе горошка». Забыл Месяц про любимую жену Солнце и спустился на землю к шаманке. Увела она его в свое жилище, и целую неделю не хотел он ее покинуть, ибо все знают, сколь умелы и опытны в искусстве любви все шаманки, – способны они подарить мужчине ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот только обычно это безобразные сморщенные старухи, потому находится на них чрезвычайно мало охотников. Я думал, что Хоседем была единственной молодой и прекрасной лицом колдуньей, но сейчас вижу перед собой вторую. Убедился я, что ты искусная знахарка и врачевательница, которой нет равных. Но я выздоровел, и тебе пришла пора проявить свои умения на ложе любви. Раздевайся, покажи мне красоту.

Он передвинул руку на заднюю часть ее шеи и начал несильно, но настойчиво пригибать девушку к себе. Но Учайка опередила его и, изогнувшись в груди мягкой вол-

---

<sup>27</sup> Созвездие Большой Медведицы.

ной, так что зубы ожерелья тихонько заклацали, стучаясь друг о друга, наклонилась совсем близко к его лицу, и ее длинные распущенные волосы опали на коричневую замшевую подушку, закрыв голову хана светлым водопадом, сквозь который пробивались огоньки светильников. Батый впервые ощутил ее запах, тонкий и робко-сладковатый, каким пахнут первые цветы, пробивающиеся из-под весеннего снега к солнечным лучам. Желание поднялось в нем с такой силой, что заглушило все мысли о том, какими тонкостями любовных соитий владеют зарайские шаманки. Но не успел он зажать девушку в объятии, как она подула ему на лицо, а затем незаметным движением положила на глаза пальцы обеих рук, плотно прижимая их к глазницам, скулам и щекам. От ее дыхания пахнуло сладким запахом плодов каражимеш, созревающих ко второй половине лета, и Батый успел удивиться тому, откуда она раздобыла их зимой; сразу же вслед за этой полумыслью сон навалился на хана, руки ослабли и безвольно упали, тело онемело, веки налились тяжестью и слиплись, а рот разошелся в неудержимом зевке, так что из углов губ потекли струйки слюны.

– Дзе-дзе...<sup>28</sup> – зевая, разбивчиво забормотал он, поворачиваясь на правый бок. – Сделаем это завтра поутру, ты все равно от меня не убежишь, кюрюльтю...<sup>29</sup> Я всегда получаю то, что хочу... Сейчас... я еще немного слаб после болезни... но утром ты узнаешь мою силу, я не уступлю... ни медвее...дю, ни мангуу...су... я могу заставить кричать от наслаждее...ния лю-буу...ю женщину... Туру-кан! Не выпускать ее никудааа без моего распоряжеее...ния...

Он проснулся от позабытого за время болезни ощущения утренней прибывшей мужской силы. Впромнив вчерашний вечер, Батый сладко потянулся, предвкушая горячее удовольствие и позвал шаманку. Ответом была тишина, лишь под деревянным настилом юрты сиротливо заскреблась озябшая зимняя мышь, пробивавшаяся к теплу. От второго оклика мышь испуганно заметалась, потеряв выход. На третий в юрту зашел Турукан и исполнительно склонился над Ослепительным. Возбуждение сразу покинуло чресла. Великий джихангир сел на своем ложе из настеленных друг на друга медвежьих и барсовых шкур и, не смотря на нукера, обвел взглядом юрту, после чего встал и, подойдя к сундуку с бумагами, резко откинул его крышку, прекрасно понимая, что Учайки там нет и быть не может.

– Где она? – ощущая обжигающий внутренности прилив гнева, прошептал он. – Где она, – сжав кулаки и потрясая ими перед носом обомлевшего от страха нукера, завопил он, – где эта ведьма, как ты смел ее отпустить, тупоголовый ишак, подлый злодей, враг всего рода Чингизидов?!

– Она ушла, Ослепительный, – сдавленным голосом ответил Турукан. – Ты же сам сказал, что она больше тебе не нужна и велел ей идти домой.

– Я сказал? – изумился Батый. – Когда это я говорил тебе такое?..

– Она мне передала твои слова, на рассвете. Я не посмел ослушаться твоего приказа.

– Что значит – передала? – опять закричал хан. – На каком языке вы с ней вообще разговаривали?!..

– Я не знаю, Ослепительный, – побледнев, прошептал нукер. – Она взяла меня за руку и сказала, и я все понял. Прости меня, это была моя вина, и я готов за нее расплатиться!

Он бухнулся на колени и ткнулся лбом Батыю в ноги. Тот брезгливо пихнул его ступней в голову, еле сдерживая желание ударить посильнее и побольнее.

– Одеваться, – сквозь зубы процедил хан. – Лошадь. Заседлать Рогнеду. Кто ездил за шаманкой? Кто знает дорогу?

<sup>28</sup> Ладно, ладно (монг.).

<sup>29</sup> Желанная (монг.).

– Твой верный советник Ульдемирян, Слепительный, – торопливо поднимаясь и суетливо подавая хану шальвары, зашептал нукер, не смея говорить в полный голос. – Ее деревня недалеко, примерно в тридцати ли<sup>30</sup> отсюда на восток по хорошей дороге. Снегопадов за последнюю неделю не было, так что ты доедешь быстро, за половину ши<sup>31</sup>.

Через четверть ши Батый уже скакал на молодой, еще по-детски резвой гнедой кобыле по снежной дороге, с одной стороны которой стоял черно-белый лес, а по другую расстилалась огромная холмистая равнина. За ханом следовали пять вооруженных нукеров, а впереди, указывая путь, ехал Ульдемирян, дородный, рано располневший советник, приходившийся джихангиру троюродным братом по материнской линии. Острым умом он не отличался, но был хорошим оратором и на курултаях<sup>32</sup> умел расписать любое решение хана как шаг, ведущий к славе и богатству последнего из воинов. Быстрая езда давалась ему нелегко: жирное тело попрыгивало на каждом ударе лошадиных копыт, а потом тяжело падало в седло, грозя завалиться направо или налево. Батыю даже показалось, что он видит дрожащее сало Ульдемиряновых щек. Самого же джихангира скачка после долгого перерыва привела в истинный восторг: он с возбуждением представлял испуганный взгляд беглянки, которым она посмотрит на догнавшего ее охотника.

Деревенька лежала в низине, так что стала видна уже издалека. Путь к ней преграждал заваленный снегом овраг, на объезд которого пришлось потратить лишнюю четверть ши. Зарайцы, скорее всего, также издалека заметили конников, потому что когда хан и его провожатые въехали на узкую тропинку, по обеим сторонам которой были натканы низкие скособоченные избенки, то не обнаружили на улице ни одного человека, – людишки попрятались, не ожидая от визита ничего хорошего. В окошках, затянутых темными, закопченными бычьими пузырями тоже не было видно ни одного лица. Впрочем, в деревне и так остались, вероятно, лишь старики со старухами и мелкие дети, которых невозможно было забрать в качестве рабов, потому что они по старости или малолетству обычно быстро помирали, не выдержав долгих переходов до низовьев Итиля в Тмутараканские края. Эта деревня вообще не дала никакого наваара, – весть о великом походе орды опередила войска, и зарайские мужики и парни, прихватив своих жен, невест, подросших детишек и скот, удрали в лес, где сейчас и прятались на зимовьях, обустроенных ими для спасения от татарских деренчей<sup>33</sup> и урусутских тиунов<sup>34</sup>, регулярно приезжавших за поллюдьем<sup>35</sup>. Батый впервые задумался о том, почему же Учайка не ушла вместе со всеми и как сумела избежать пленения.

Изба шаманки стояла на другом конце деревни и оказалась предпоследней, почти упираясь в лес. По внешнему виду она ничем не отличалась от остальных, – такая же мелкая и ушедшая от старости в землю. Хан спешил, потрепал Рогнеду по узкой, благородно вытянутой морде с белой звездой во лбу, бросил поводья, и, брезгливо пригнувшись, чтобы не задеть головой черный подгнивающий косяк, вошел внутрь. За ним последовали Ульдемирян и три нукера. Два остались снаружи приглядывать за лошадьми и шевелением окрестной жизни. От двери с диким воплем отскочила какая-то придурковатого вида курносая девка, столкнувшись с незванными гостями. Учайка

<sup>30</sup> Древнекитайская мера измерения расстояний, заимствованная татаро-монголами. Один ли равен пятистам метрам.

<sup>31</sup> Древнекитайская мера измерения времени, также заимствованная татаро-монголами после завоевания Китая. Один ши равен двум современным часам.

<sup>32</sup> Собрания представителей татаро-монгольской знати, на которых определялись направления внешней политика Золотой Орды.

<sup>33</sup> Деренчи – разбойники (тат.).

<sup>34</sup> Тиун – доверенный приказчик князя, сборщик податей.

<sup>35</sup> Поллюдье – дань, взимаемая князьями со смердов.

сидела на лавке у окошка, склонившись над енотовой шкурой, лежавшей у нее на коленях. При виде вошедших девушка подняла голову, выпрямилась и спокойно посмотрела на джихангира. В глазах ее не было ни удивления, ни страха, – она словно ожидала приезда хана. Батый почувствовал досаду от обманутых ожиданий, смешанную со смутным чувством уважения к ее смелости.

– Менду, хурхэ<sup>36</sup>, – оглядывая заставленную всяким деревянным скарбом и утварью горницу, сказал он. Внутри оказалось довольно чисто, истоплено, и почему-то пахло полынью. Горница была весьма просторной, но большую часть помещения занимала объемная печь, за которую метнулась испуганная зарайская девка. По бокам располагались лавки и сундуки, а в угол втиснута квадратная столешница. Занавеска на печи отодвинулась, и из-за нее высунулась повязанная платком до бровей женская голова. Охнув, голова тут же спряталась обратно и тоненьким голосом тихонько запричитала в своем укрытии.

– Ты оказалась более хитрой лисицей, чем я думал, – усмехнувшись, почти ласково продолжил Батый, проходя на середину горницы, – ты сумела провести за нос мою охрану, – берикелля<sup>37</sup>. Но меня тебе все равно не обмануть, зря ты на это надеешься. Собирайся, – ты поедешь со мной. Будешь моей личной лекашкой. Это великая честь, никто не посмеет тебя тронуть и пальцем, пока я жив. Собирайся, это говорю тебе я – великий воин, джихангир Бату, внук Чингиз-хана. Завязывай в узел все свои травы и идем.

Сидя все так же прямо и неподвижно, она спокойно выслушала его речь до конца и отрицательно покачала головой. Шкура в ее руках оказалась шубой, которую она, видимо, штопала. Вытащив иглу с ниткой, Учайка проворно воткнула ее в моток суровых ниток, отложила его на окошко и начала гладить руками пестрый мех.

– Не дури, – теряя самообладание, сказал Батый. – Женщина не смеет перечить мужчине, не вводи меня в гнев, иначе это плохо кончится. Ты не понимаешь, с кем споришь, глупая девка!

Она опять помотала головой и, поднявшись, понесла шубу к сундуку рядом с печью. Открыв его, девушка неторопливо и аккуратно начала укладывать ее внутрь.

– Взять ее, – чувствуя, как от унижения начинают вздрагивать губы, приказал Батый, – Тащите строптивую ясырку в лагерь. Смотрите только, не покалечьте нена роком.

Два нукера тут же подскочили к Учайке и вцепились в нее, – один схватил за волосы, другой зажал руками колени. Третий топтался рядом, вытаскивая из-за пояса аркан. Сундук захлопнулся, тупо ударившись о полу шубы, оставшейся торчать, напоминая треугольный хвост неведомого зверя, попавшего в ловушку. Стражи повалили шаманку на пол и наклонились, собираясь вязать. Несколько мгновений она безвольно лежала в их руках, словно заснувшая рыба в сети, но потом вдруг тело ее сильно и пружинисто выгнулось несколько раз, на напряженной шее проступили толстые, узловатые синие жилы, а лицо исказилось, превратившись в уродливую белую маску. Затем Учайка открыла рот, и из него извергся низкий волчий вой, постепенно переходящий на все более и более высокие, пронзительные тона, от которых у Батыя заломило уши, по всему черепу, ото лба к затылку прошла острая боль, а кости заломило так, как будто все туловище разрывалось на части. Державшие шаманку стражники начали дергать головами и трясти руками. Через минуту оба они, бросив жертву, стояли друг против друга на четвереньках, отклячив зады, и тонко прилеивали, словно молочные козлята, зажав уши кулаками. Третий же, бросив аркан, как шар, крутился вокруг себя, стараясь в этих поворотах дотянуться до лежавшего у его ног тесака.

<sup>36</sup> Здравствуй, милая (монг.).

<sup>37</sup> Молодец (тат.).



– А, шайтан!.. – не выдержав воя, злобно закричал Батый. – Перестань, замолчи, хватит!..

Она покорно умолкла и, поднявшись с пола, медленно подняла на хана бледное лицо с рассеченной в схватке нижней губой, из которой сочилась красная струйка крови. Оба нукера тут же обессилели и повалились к ее ногам. Третий все-таки сумел схватить тесак и, сжимая его в трясущейся руке, со страхом оглядывался на Слепительного.

– Хватит, – хрипло дыша, повторил Батый, еще слыша звон в ушах. – Отойдите от нее все! Мне не надо, чтобы она отравила меня в ненависти. Я хочу, чтобы она пошла со мной добровольно и стерегла меня, как зеницу своего ока, поскольку вы, дурачье, не можете уберечь своего хана. Да найдите же, наконец, толмача, жирные ленивые шакалы, соревнующиеся друг с другом за милости и еду с моего стола! Вы горазды только жрать и обвешивать себя золотыми побрякушками, свиные потроха! – дойдя до предела гнева, он яростно ударил ногой по объемной деревянной кадке с водой, стоявшей рядом. Большая лохань, в которой можно было искупать пятилетнего ребенка, перевернулась, и вся вода растеклась по полу. Обрадованный тем, что батырская сила к нему вернулась, Батый глубоко вздохнул, смиряя себя. Учайка, стоявшая ровно и прямо, после того как испуганные нукеры отступили (отползли), и, чуть склонив набок голову и облизывая поврежденную губу, со спокойным любопытством слушавшая крики хана, присела и пальцами правой руки коснулась добравшейся до ее босых ног воды. По луже в разные стороны побежали трещины, и через полминуты она застыла прозрачным ровным слоем молодого тонкого льда.

Батый медленно повернулся к Ульдемиряну, ледок под подошвой его новых красных шагреновых сапог жалобно хрустнул. Тот стоял, словно истукан, растопырив толстые скрюченные пальца, выпучив глаза и разинув рот, совсем позабыв, что при малейшем опасном случае должен немедленно отдать за повелителя свою жизнь.

– Если ты, – тихо сказал Батый, отдельно и четко выговаривая каждое слово, – не найдешь мне толмача до того, как уйдет этот день, то с первой звездой твоя голова будет кинута мной на корм собакам. Ты меня понял.

Он повернулся и вышел, не глядя более на Учайку.

Толмача привели в девятом ши, когда короткий зимний день, мелькнув быстрым косым взглядом красного солнца, начал уходить в плотные серо-голубые сумерки. Батый, намахавшийся за день деревянным кривым клинком в учебном сражении, устроенном дабы восстановить боевую ловкость, устало сидел у жаровни, перебирая скопившуюся за время болезни почту и размышляя о том, как же поступить, если толмач не найдется. Надо было сниматься с места и идти на Юрюзань, – ордынцы увидели своего вождя и жажда войны с новой силой разлилась по их жилам. Уходить без Учайки не хотелось. Получался замкнутый круг с неизвестным выходом.

На этих мыслях в юрту без доклада вбежал запыхавшийся Ульдемирян и закивал головой, тряся жирными щеками и длинными вислыми усами: «Нашел... я нашел его, Слепительный... твой Ульдемирян так предан тебе, что разыщет даже черную жемчужину на дне морском или иголку в стоге сена...»

Отшвырнув свернутые в трубки послания так, что они разлетелись, раскатились и запрыгали по юрте, Батый вскочил и кинулся сам одевать халат, торопясь успеть в деревню, пока окончательно не стемнело.

Толмач оказался стариком из того же самой селенья, где жила Учайка, но отыскался, как это не было удивительно, в лагере Батыя. Звали его Атюрька, был он колченог, сильно прихрамывая на правую ногу, и однорук, – левая рука его кончалась на локте, болтаясь внизу пустым рукавом. В молодости по непоседливому характеру его занесло сначала в Булгарию, а оттуда по Итилю он добрался до самой Тмутаракани, где занимался всем, чем ни попадая, от торговли до воровства. Скорее всего, руку ему отрубили именно за эти нечистые проделки, но Атюрька всех уверял, что на обратной

дороге в зарайские края на ночевке в лесу руку ему отгрызла лесная богиня Вирява, положившая на Атюрьку глаз и решившая заполучить его себе в мужья. Атюрька же, будучи честным мужем своей жены, которую не видел двадцать пять лет, шляясь между дикопольских<sup>38</sup> куманов<sup>39</sup>, болгарских татар и тмутараканских саксинов и буртасов<sup>40</sup>, Виряве отказал, после чего та разъярилась так, что вцепилась своими длинными желтыми острыми зубами, способными перегрызть стволы деревьев в три охвата, в Атюрькину руку и отчекрыжила ее в один присест. Истекающему кровью Атюрьке пришлось спасаться бегством, и он смог удрать от разгневанной Вирявы только потому, что дело произошло на краю леса, и он успел добежать до поля, где хозяйничала уже другая зарайская богиня – Паксява, замужняя и потому более довольная жизнью. Все эту историю Атюрька рассказал хану по пути в деревню, сидя рядом с ним на легких санках, в которые хан велел запрячь Рогнеду, боясь, что старик свалится с лошади и убьется, не доехав до Учайки. По-татарски Атюрька болтал весьма бойко, хотя криво и косо, впрочем, Батый и сам частенько ошибался, говоря на татарском языке, хоть и знал его с детства. В лагерь Атюрька притащился сам, принес с собой бочонок зарайского хмельного питья пуре, и гулял там всю неделю Батыевой болезни. Одним из умений, которыми он овладел в Тмутаракани, оказалась игра в кости, к коей Атюрька оказался весьма способен и даже талантлив. Посему когда его привели пред светлые ханские очи, на лохматой голове старика была надета татарская меховая воинская шапка, а на костлявых плечах гордо сидел парадный аксамитовый<sup>41</sup> халат, обошедшийся какому-то проигравшемуся нукеру в шесть или семь взрослых рабынь. Атюрькино пуре давно закончилось, но в лагере не переводилась хорза<sup>42</sup>, так что старик был во хмелю и смотрел на хана весело и гордо, задирая свою клочковатую седую бороденку. Впрочем, тмутараканские обычаи он знал хорошо, поэтому сразу спокойно и привычно поцеловал сапог хана, оставив на нем смачный слюнявый след.

34

Когда Рогнеда вновь встала у знакомой коновязи, на улицу уже спустился вечер и в окнах зарайских домишек пробились слабые огоньки. Из труб в темные небеса поднимался сизый дым, – зарайцы, как видно, топили избы по вечерам, чтобы не привлекать к деревеньке лишнего внимания проезжего люда.

Зайдя внутрь, Батый опять сразу же наткнулся взглядом на Учайку, – она сидела за накрытым столом, который был переставлен на середину горницы. Губа у шаманки оказалась уже целой, словно утром ничего не случилось. На девушке было надето праздничное белое платье, расшитое по груди и рукавам красно-желтой вышивкой; ожерелье из медвежьих зубов пряталось под густой россыпью разноцветных бус, сделанных то ли из камня, то из выкрашенного дерева. На голове возвышался высокий красный войлочный тюрбан, очелье которого было выложено серебряными монетками, а с висков на нитках спускались скрученные из шерсти бубенцы. На столе на праздничной ширинке в разного размера плосках были расставлены угощения, по виду напоминавшие каши, и стояла баклажка какого-то напитка, кисло-сладковатый запах которого уже плавал по горнице. Она встала, вышла из-за стола, поклонилась гостям в пояс и заговорила, указывая рукой на угощение. Батый вопросительно посмотрел на Атюрьку.

– Она говорит, – быстро залопотал тот, коверкая слова, – что ждать на тебе и радостная, что ты приходишь. Говорит, что тебе должен ее повыслушаети и нарешаети, как когда тогда ты поступаети. Но сперва за столу приглашаети.

<sup>38</sup> Дикое поле – вольные степи к югу от Юрюзанского княжества, где кочевали с тысячными стадами и табунами половецкие ханы.

<sup>39</sup> Куманы – половцы.

<sup>40</sup> Исчезнувшие племена, жившие в низовьях Волги.

<sup>41</sup> Аксамит – бархат.

<sup>42</sup> Хмельной монгольский напиток на основе молока.

Гости уселись. Откуда-то из-за печки выползли Учайкины домочадцы, – курносая девка и повязанная платком, будто безлика, баба, – и робко подсели к мужчинам. Ульдемирян брезгливо отодвинулся, тут же натолкнувшись на Атюрьку. Оставалось лишь терпеть соседство харакунов<sup>43</sup>. Учайка налила каждому по деревянному стакану питья из баклажки и, подняв свой, знаком пригласила всех выпить. Покрутив носом, Батый решительно проглотил все до капли. Вкус был неплохой, – с легкой кислинкой, разбавляющей сладость. В голове приятно закружилось, но разум остался твердым. Ласково взглянув на хана, Учайка положила ладонь ему на руку и заговорила на своем твердом округлом зарайском языке. Время от времени она останавливалась, давая Атюрьке перевести, так что казалось, будто они рассказывают сказку на два голоса.

– Дак этта... Как моя тебе и сказывати, хан, девка этта – особенна. Не родная она на матери свой, нашли она в лес, под внизу вещей дуб, опосля на три год страшный засуха, когда тогда все пожгло, и еда крошка не было; оставшееся от гусеница саранча ел, оставшееся от саранча червяк ел, а оставшееся от червяк жуки доел. Видать, родная мать прокормити девчонка не могла, вот в лесу и свела ей. Ну а этот баба вот подбрати, жалко, вишь, стало. Сызмальства уж у она дар-от виден стал, – коровенки поперва полечила, потом лошадь, а потом и люди стала пользоваться. Но, говорит, дар к ней только для добрый дела, худые творити не может.

– Говорит, мол, понимала она, что ты хочешь она с собой увезти. Говорит, что за месяц перед за то дело, как девушкой стала, сон увидал, как приехати за она чужестранец с черные глаза и гладкий лица и посаживати на свой добрай конь. Когда тогда, мол, и понимал, что не судьба ей выйти взамуж за свой местнай парень, а посему, как, значит, когда тогда в девичество пошла, то всех от ворота поворота давал, а честь же своя ея берегла и до сей пора под мужчина не возлежати.

– Не возлежала?... – не утерпев, вскинул брови Батый. – Я бы на ее месте поостерегся говорить такое, после того, как мои воины протоптались здесь почти месяц.

– Зря-от ты так, хан, – укоризненно покачал седыми патлами Атюрька, надув морщинистые щеки, – моя это толмачит не будути. Мнилось я, видел-от ты, что она делает умети? Коли сказал, – стал быть, соблюл себя девка.

– Говорит, мол, что видит, что ты в сумлениях, но, мол, это дело-от поправимай. А когда тогда сей час, говорит, должен ты слышати она со всей вниманием. Не может она поступаети против воля небеснай и желание свой, – исчезнет когда тогда дар ейнай. Но видит она, что ты геройскай многославнай батыр и лица красивай, – люб-от ты для она, значит. Готов она уходити с тебя и любити тебя, но только и ты, в свой очередь, должен полюбляети она и держати при на тебе и пояти не как ясырка иль наложница, а возмिति на честнай жена. А уж когда тогда она змеей извернется, лисицей обернется, но сбережет тебя от все лихой умыслы.

– Х-хох!... – не выдержав, воскликнул Ульдемирян, оторопевший от прыти, с которой шаманка из неведомой полудикой зарайской деревни сваталась в жены великого джихангира, завоевавшего полмира. Хан, все это время сидевший с непроницаемо-неподвижным лицом и полуприкрытыми веками, сурово скосил глаз в его сторону, и советник виновато прикрыл рот пальцами, щедро униженными золотыми перстнями с большими разноцветными яхонтами.

– А потому, как и положен жених, должен ты-от одарить щедрай дары мать она приемнай и сестрица она молочнай, а также не обделити твоя милость родной она сельцо, который девка навек и всегда покидаети, поезжая с тебя на краю чужой и далекай. И коли будешь ты согласитеси на эти она слова, то когда тогда завтра иль после завтра, иль когда решаешь, должен-от тебе повенчати с она по наша зарайская

---

<sup>43</sup> Харакун – букв. черный человек; человек из простого народа.

обычая и обходити три раза вокруг заветной дерева. Тогда быти вы законной муж и жена и можечи честно возлежати и спати вместе каждой ночь.

– Говорит, все сказал.

Атюрька покивал головой и, как теленок, почмокал губами, подтверждая сказанное. Наступило молчание, показавшееся особенно глубоким после длинных, плавно сменяющих друг друга речей. Затем Учайка встала и пододвинула каждому по плошке с кашами, – Батыю досталась светло-желтая, крупитчатая, по середине которой проходил потек растаявшего масла. «Каша ести – дума думати!» – отправляя в рот деревянный черпачок, подмигнул хану Атюрька. Батый взглянул на девушку, серьезно жевавшую свою порцию, положил в рот теплую вязкую массу – раз, другой, третий, – проглотил все и, поднявшись, пошел к выходу. На пороге он обернулся и отрывисто бросил:

– Хорошо. Завтра я приеду в пять ши. Пусть она будет готова. Деревня освобождается от дани до конца моей жизни. На своих тещ я никогда не скупился.

Выйдя в морозную темноту, он направился к Хорану, вороному жеребцу Ульдемирая. Тот, выбежав вослед джихангиру, тяжело сопел у него за спиной.

– Говори, – разрешил Батый, отстранив нукера и начиная самолично развязывать закрученный в несколько узлов чембур<sup>44</sup>.

– Не гневайся, Ослепительный, – смиренно склонившись, начал советник с тем приторно-покорным выражением лица, с каким всегда начинал свои окольные монологи на курултаях. – Или вели казнить меня, если я прогневаю тебя своими словами, – я с радостью приму любую мучительную смерть по твоему приказу. Ты же знаешь, как я тебе предан, – служение тебе есть единственный смысл моей жалкой жизни. Уверен я, что нынешнее решение твое также многомудро, как и все прошлые, но пристало ли тебе, Чингизиду, жениться на девке никому не ведомого подлого крестьянского племени? Что будут говорить между собой воины? Не захворает ли от расстройства Асият-Ханум, любимая из твоих жен, нежная, как цветок лотоса, что по твоему приказу привозили для нее из далекого Китая?

Батый выслушал его речь до конца с твердым, словно закаменевшим лицом, сузив глаза до темных полосок, – двигались только руки, медленно распутывавшие чембур. При упоминании имени своей шестой, до этих пор любимой жены, он внезапно бросил поводья, повернулся к советнику, стоявшему у него за спиной, и улыбнувшись, погладил редкую, почти незаметную бородку, которую тщательно отращивал.

– Кое в чем ты прав, мой верный Ульдемирян. Войска, действительно, незачем посвящать в тонкости этого брачного союза. Объяви завтра, что великий джихангир выбрал себе седьмой женой дочь зарайского инязора и тюштяна... как там звали этого петуха, который пытался подсунуть мне рябую курицу из выводка своих цыплят? Пургас, я вспомнил сам, не утруждайся, – у Ослепительного прекрасная память. Значит, – дочь зарайского инязора и тюштяна Пургаса, который отныне считается нашим баскаком и союзником и обязуется во всем помогать монгольской орде, равно, как и мы ему. Напиши бумагу, принеси мне на подпись и отправь этому правителю, чтобы учился разбираться в нашей грамоте. А гонец на словах пусть прибавит, чтобы эта курочка Ряба сидела тихо и ровно на своей необъемной задней части и терпеливо дожидалась бы мужа, сколько бы времени он ни проводил в походах. А уж мы здесь за нее повеселимся.

Ульдемирян опустил к ногам Батыя и поцеловал голенище его красного сапога:

– Мудрость твоя, Ослепительный, не знает ни границ, ни пределов... Прости меня, своего верного раба, за то, что я осмелился давать тебе советы.

– Ты, кажется, переживал о печальной доле Асият-Ханум? – брезгливо поджимая губы, продолжил Батый, снова вернувшись к коню и поправляя сбившееся стремя. –

<sup>44</sup> Идущий от уздечки длинный ремень, используемый, чтобы привязать коня.

Действительно, будет жаль, если ее молодая красота источится в слезах. Но ты можешь ее утешить, – я дарю ее тебе. А если ее отец будет задавать ненужные вопросы, скажи, что его дочь в течение целого года так и не смогла понести от меня наследника. Не нужно ехать за мной, оставайся сейчас здесь и следи, чтобы с моей невестой ничего не случилось. Асият-Ханум вряд ли тебя дождет, если хоть один волос упадет с этой русской головы. Завтра мы оба сможем насладиться своими женами. Й-йа-ха!..

Он вскочил в седло, резко стегнул лошадь плетью по крупу и поскакал обратно. Ульдемирян поднялся с колен и остался стоять у коновязи, кусая губы; тонкий молодой месяц, робко выглянув из-за тучки, осветил темный румянец, медленно расплывшийся по изжелта-смуглым раздутым щекам советника... Стоявший в сторонке и дожидавшийся конца их беседы Турукан, которому в этот раз хан милостиво разрешил сопровождать себя, спешно забрался на свою вислозадую пожилую лошадку, вытянулся и перед тем как кинуться вдогонку неожиданно завопил на всю округу: «Яшасын Бату-хан!»<sup>45</sup>.

Весь следующий вечер Батый слушал этот возглас от темников и джагунов, заходивших в юрту с поздравлениями, складывая перед низким столиком, за которым сидели молодожены, свои дары для новой, седьмой жены великого джихангира. Учайка была одета в китайский халат, по желто-зеленым весенним пространствам которого между белоснежных цветов кустарника мей<sup>46</sup>, распахнув крылья, летели серо-фиолетовые журавли. Волосы ее были спрятаны под богатым и пышным убором из жемчуга и алых кораллов, достававших подвесками до плечей; на густо набеленом лице резко выделялись сиреневые веки и кроваво-красные губы, от переносицы к вискам пролегали широкие темно-синие брови, к которым тянулись стрелки подведенных черной тушью глаз. Одевавшая и красившая шаманку к праздничному пиру китайская невольница Ян-Мей, размазывая маленьким кулачком слезы по круглому лицу, неслышно и горько плакала от жалости к своей госпоже Асият-Ханум, которую джихангир так безжалостно предал и продал.

Батый смотрел на чужое, измененное гримом до неузнаваемости лицо объявленной его женой шаманки, ее ровную выпрямленную спину и вытянутую шею, переходящую в твердый подбородок, и, милостиво кивая входящим, вспоминал утренние события, до того странные и невероятные, что их невозможно было даже рассказать факиху<sup>47</sup>, сопровождавшему войско и записывавшему в книгу все происходящее с джихангиром. Об этих событиях лучше было вообще забыть, так, словно их и не было. Да и точно ли они были? Может, Учайка опять напустила на него сон и ему все это лишь привиделось?

Он приехал за ней, как и обещал, в пять ши, когда день уже окончательно проснулся и на зимнее низкое небо внезапно выкатилось блестящее, как золотая монета, солнце, обещающая нагнать к обеду мороза, от которого снег под войлочными сапогами нукеров будет жалобно повизгивать, словно щенок, которого пнули под брюхо. Учайка, вероятно, выглядывала его в окошко, или же жениха караулили ее мать с придурковатой сестрицей, потому что не успел он подняться из саней, как она вышла наружу. Она была одета в ту самую пеструю енотовую шубу, которую штопала вчера, а на красный тюрбан повязала шелковый голубой платок с золотыми кистями, спускавшийся на спину длинным хвостом, трепетавшим от каждого движения. Девушка поклонилась маячившим на пороге мамане и сестрице, которая от переживательности момента замычала и заблеяла, подтверждая свою убогость, потом отвесила поклон Батыю и, не мешкая, ловко забралась в его санки. Усевшись рядом с женихом, она отобрала у него поводья и, не успел он сказать ни слова, легонько подстегнув Рогнеду,

<sup>45</sup> Да живет хан Батый (тат.).

<sup>46</sup> Слива (кит.).

<sup>47</sup> Ученый, летописец (тат.).

повернула ее направо, к уводящей в лес тропке. Турукан двинулся было за ними, но она отрицательно помахала ему выпрямленным указательным пальцем, и тот послушно остановился, благоговейно поклонившись шаманке. Батый в очередной раз удивился, как быстро эта зарайка научилась всеми командовать и с какой покорностью все выполняют ее волю.

Они въехали в лес и двинулись по довольно широкой санной дороге, тихо поскрипывавшей под полозьями плотно придавленным снегом. Судя по теням от деревьев, они ехали на восток, но Батый совершенно не помнил этого пути. Затем солнце вдруг исчезло, и затянувшееся серым облачным покровом небо прибавило сомкнувшимся в ряды стволам суровой черноты. «Куда она меня везет?» – подумал Батый, с неудовольствием ощущая медленно растекающееся чувство затаенного страха, липкое и густое, словно оставленный на камне след слизня. «Как можно было довериться ей?.. Она вполне могла успеть сговориться со своими соплеменниками или с урусутами, которые уже ждут в засаде...» Словно подтверждая его темные подозрительные мысли, с верхушки надвигавшегося слева на санки огромного, в два обхвата дуба, с давно обломанными мертвыми суками и заросшей старыми болячками корой, внезапно со злобным граем, оглушительно захлопав крыльями, слетела стая черных ворон и кинулась прямо на коня. Рогнеда испуганно, тонко и жалобно заржала, остановившись, как вкопанная, и задергав головой. Батый не удержался и глухо вскрикнул, инстинктивно загородив глаза локтем. В тот же самый миг Учайка поднялась и, прочертив в воздухе правой рукой дугу, три раза презрительно и резко прокричала что-то, будто бы закаркала сама. Птицы отчаянно забили крыльями перед самой гривой кобылицы, а затем, натываясь друг на друга, разлетелись в разные стороны, будто их раскидал удар невидимого копья. Дуб рассерженно заскрипел своим огромным туловищем, угрожающе закачав несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами. Хану показалось, что из-за толстого черного ствола с белыми снежными разводами на коре на мгновение выглянула пара узких глаз, светящихся слабым желтым фосфорным светом. Рогнеда опомнилась и рванула вперед крупным нервным галопом; сани заболтало по наезженной дороге и Батый словно даже почувствовал, как дрожат ноги кобылицы. Впрочем, проскакала она недолго: Учайка, успевшая опуститься на сиденье в тот же самый миг, как лошадь понесла, дала ей выплеснуть испуг, а затем несколько раз коротко, но сильно натянула поводья. Рогнеда фыркнула, но послушно сбавила скорость, переходя на рысь. Вскоре показалась развилка с лежащим посередине большим валуном в половину человеческого роста: дорога расходилась на три ветки. Лошадь дошла до камня, почти по-человечески устало вздохнула и остановилась, потряхнув гривой. Учайка вылезла из санок, погладила Рогнеду по разгоряченной морде, дунула ей в ухо, а потом махнула Батыю ладонью, зовя его за собой. «Надо развернуться и уехать, бросив эту нелепую свадьбу», – подумал он, встал и двинулся за шаманкой.

Они свернули на левый, самый узкий из всех трех отворот, спускающийся вниз, и за петляли по его изгибам, что совсем скоро превратились в узкую тропинку с кочками и ямами, продиравшуюся сквозь тесно прижатые друг к другу тела деревьев, топорщившихся корявыми голыми сучьями, меж которых порой просовывалась игольчатая еловая лапа. Спотыкаясь о корни деревьев и проваливаясь в присыпанные снегом ямки, Батый шел за своей невестой, все сильнее и сильнее злясь на нее, себя, чащобу и чувствительно пощипывавший уши и щеки мороз, которого не бывало в тмута-раканских степях даже с их продувным ветром. Они должны были взять Юрюзань уже два месяца назад и двинуться на богатую, заплывшую жиром Машфу или спесивый купеческий Ноугород, ухватив за золотое вымя западную Ганзу, а вместо этого застряли в этих дремучих зарайских лесах, по которым он, великий джихангир, сейчас бродит вместе с этой невестой откуда свалившейся на его голову невестой! О, как ее он

станет ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар!.. Батый с ненавистью посмотрел на плывущий впереди голубой шелковый хвост, спускавшийся с тюрбана Учайки, и представил, как она будет корчиться, если он сейчас накинет ей сзади на шею плеть, сразу сильно и быстро закрутив ее в несколько раз на затылке. Сухо щелкнут шейные позвонки, вывалившийся изо рта язык почернеет, глаза закатятся к побагровевшему от напряжения лбу с выступившими на нем сине-зелеными жилами. Мгновение, и в его руках будет лежать мертвое безвольное тело, которое можно запихнуть между стволов или просто оставить на тропинке. Так и надо сделать! Царевич я, – довольно, стыдно мне за дикою зарайкою таскаться. Он слегка нагнулся и тихо потянул лежащий за голенищем правого сапога кнут. Учайка обернулась и, посмотрев на него своим ясным до весенне-небесной синевы взглядом, произнесла: «Сынек»<sup>48</sup>.

Оторвав глаза от сапога, хан увидел, что тропинка кончилась и они стоят на краю очерченного лесом большого пустого круга, в центре которого росло одинокое дерево. По виду оно напоминало каражимеш, но было куда выше, с более объемной и раскидистой кроной, напоминая ему виденные в Китае деревья мей<sup>49</sup>. К дереву вела присыпанная снегом стежка, огибавшая ствол широкой круглой петлей. Ветви его были так густо и плотно занесены снегом, что казалось, будто растение забыло о времени года и решило зацвести зимой, не дожидаясь прихода весны. Батый вдруг вспомнил стишок, который читал ему занимавшийся в орде постройкой стенобитных орудий китайский изобретатель и зодчий Лей Чи, задумчивый чудак с клочковатой бородой, растущей неровными прядками, одинаково спокойно улыбавшийся и на похвалу, и на недовольство джихангира:

Все, все бело! Глаза не различат,  
Как тут смешался с снегом сливы цвет...  
Где снег? Где цвет?  
И только аромат  
Укажет людям: слива или нет.

«Дерево мей, о Ослепительный, – вертя в пальцах сорванный цветок, объяснял Лей Чи Батыю тмутараканской жаркой весной года три назад, – это особенное дерево, гармоничность сочленений которого ты не отыщешь ни в каком другом растении. Цветы его выражают небесную силу Ян, а ствол и ветви – земную силу Инь. Если ты внимательно посмотришь на дерево мей, то увидишь, что ветви его располагаются по четырем направлениям четырех времен года. Цветоножка же есть не что иное, как великий предел Тай Цзи, к которому возвращается цветок после опадания лепестков. Тычинки раскрытого цветка, о Ослепительный, соединяют в себе дневное светило Тай Янг, ночное светило Ю Лянг, а также звезды дерева, земли, неба Муксинг, Туксинг и Тянь Ван Синг, золотого металла Йинсинг и звезду короля ада Минг Ван Синг...»

Китайский слова скрипели тогда в ушах Батыя так же, как сейчас зарайский снег под подошвами сапог. Учайка протянула ему горячую, на удивление не замерзшую на морозе руку, и он пошел за ней к дереву, забыв о своей неистовой злобе и черных помыслах. Дерево было уже взрослое, плодоносившее не меньше двадцати лет, с кроной, под которой с обеих сторон могло уместиться, выстроившись в ряд, по семь человек, но ствол оставался тонким и изящным, не обезображенным ни стужами, ни болезнями, ни заячьими зубами. Когда они приблизились к крайней ветке, шаманка достала из кармана клубочек красной шерсти и обмотала кончик вокруг безымянного пальца правой руки сначала себе, а потом Батыю, так что они оказались привязаны друг к другу. Затем она начала разматывать клубок, зацепляя нить за нижние сучки, причем нить проходила внутрь столь легко и незаметно, словно была вдета в иглу, – с дерева не упало

<sup>48</sup> Пришли (зарайск.).

<sup>49</sup> Слива, терновник (кит.).

ни единой снежинки. Лишь только они двинулись по петле, обходя дерево вокруг по движению солнца, шаманка неожиданно запела сильным, словно чеканным, звенящим на сменах тонов высоким голосом: в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Незнакомые слова вылетали вместе с паром из ее уст, будто диковинные, блестящие яркими шелковистыми перьями заморские птицы, садившиеся на снежные ветки и застывавшие резными ледяными фигурками в морозном воздухе. Облака на небе разошлись, и из них выглянуло любопытное оранжевое солнце, под оком которого снег тут же засверкал мелкими огненными ало-серебряными искрами. Батый обвел взглядом эту сказочно-загадочную, пронзительную зимнюю красоту и вновь заметил между окружавших их деревьев несколько пар перемещавшихся недобрых желтых глаз, – три... пять... семь... Учайка все пела, на восклицаниях, напоминавших хану искаженную до неузнаваемости половецкую речь, окольцовывая своей красной нитью дерево мей. От каждого звука ее голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед Батыем, уходя в бесконечную даль:

«Сисем менель ало – гилло магал! – эрясь Чинь од тейтерь. А золотань кудо – шингафа! – вешнесь тейтересь; а богатырь-цёра Ноугородонь сакшнось; ливтнесь тейтерентень толонь гуй. Вай, вай, Анге Патяй!.. А панарось гуеньть золотой ды медной, викшнезь питней жемчуг кевсэ; прянь орштамось мазы вадря; а пшти стрелась дедань эрямо парьстэ саезь. – Видихама гилло могал диллоф! – Хвалынь морясто ливтнесь толонь гуесь, сэнь морява ливтнесь васоло велев, тейтеренть кудозонзо сакшнось. – Шиялла шибулда кочилла барайчихо дойцофо кирайха дина! – Вай кода артсь татар тол гуесь, вай сон саизе Чи од тейтеренть эстензэ козейкакс, вай ускизе сонзэ бусурманонь Золотой Ордас, васоло апаро масторс. – Уахама широфо, вай, вай, Анге Патяй!..»<sup>50</sup>

Нити хватило ровно на три полных петли; к концу пение шаманки стало более мягким и заунывным, а в последних словах будто бы даже проскользнуло сдерживаемое рыдание, слабым эхом разошедшееся по опушке, мягко ударяясь о стоявшие круглой стеной ели и березы и отзываясь томительной дрожащей тревогой в груди хана. Остановившись, Учайка повернулась к Батыю вплотную, лицом к лицу и положила свою правую руку на его левое плечо; непроизвольно оберегая связывавшую их нить, он повторил ее движение. «Вай... ваай...» – беззвучно прошептала она и, приблизив к нему холодное румяное лицо, поцеловала мягкими бархатистыми губами, оставляя во рту привкус сладкой сливовой наливки. Хан закрыл глаза и услышал приглушенное сдавленное рычание, доносившееся сзади. «Так я и знал, – с мучительным удовольствием подумал он. – Это волки, так я и думал. Вот погибель пришла, и бежать не успеть...»

– Курок!<sup>51</sup> – со всего размаху толкнув его в грудь, закричала Учайка. – Читянок! Куроксто!<sup>52</sup>

Не дожидаясь его, она кинулась бежать по тропинке обратно к лесу; нить связывающая их, порвалась, и всю руку Батыя, от кисти до плеча, заломило такой резкой острой болью, будто по ней наотмаш ударили мечом с гнутой сталью, рвущим плоть и вгрызающимся в кость, словно пила. От боли потемнело в глазах; охнув, он обер-

<sup>50</sup> «Во всем доме – гилло магал! – сидела Солнцева дева. Не терем златой – шингафа! – искала дева; не богатырь могуч из Ноугорода подлетал; подлетал к деве огненный змей. Вай, вай, Анге Патяй!.. А броня на змее медяна да злата; а ширинки-от на нем жемчужены; а шлем-от на нем из красного уклада; а калена стрела из дедовского ларца. – Видихама гилло могал диллоф! – Из-за Хвалынского моря летел огненный змей, по синему морю во дальнюю деревушку, во терем к деве прилетал. – Шиялла шибулда кочилла барайчихо дойцофо кирайха дина! – Уж как наехал татарин огненный змей, уж он взял в Солнцеву деву себе в жены, уж увез он ее во Золотую Орду бусурманскую, в далекие края бархадейные. – Уахама широфо, вай вай, Анге Патяй!..» (зарайск.). Анге Патяй – зарайская верховная богиня.

<sup>51</sup> Быстро (зарайск.).

<sup>52</sup> Бежим! Скорее (зарайск.).



нулся и, как сквозь темную завесу, увидел ровный ряд волков, стоящих на противоположных конце поляны. Середину держал вожак, очень крупный и массивный самец с круглой лобастой головой и широкой грудной клеткой. Он щерил пасть и тихо рычал, задирая губу к носу. Остальные молча ждали команды. Их было восемь. Наконец вожак оттолкнулся и поскакал к человеческой добыче, распарывая нетронутое снежное полотно. Семерка двинулась за ним, на ходу выстраиваясь в косяк. Дерево мей вдруг задрожало и вспыхнуло насыщенно-ярким розовым огнем, переливаясь фиолетовыми всполохами. Батый опомнился и что есть мочи припустил следом за Учайкой.

Непривычный к передвижению пешком, он сразу же вспотел и задохнулся; сердце оглушительно стучало в висках, грудь с каждым вдохом разрезало жестким морозным воздухом, а глаза заливало едкой солью пота. Деревья бросались в лицо, ноги оступались, скользили и проваливались в ямки и колдобины. Жадное волчье дыхание слышалось где-то совсем рядом, слева, справа, пока еще не впереди, – впереди из-под пестрого подола шубы мелькали круглые аккуратные задники белых валенок, в которых неумоимо и привычно бежала Учайка, не оскальзываясь, не проваливаясь и не заваливаясь набок на изгибах тропинки... «Хотя бы двух я должен зарезать до того, как они перегрызут мне горло», – подумал Батый, на бегу вытаскивая из-за пояса кинжал непослушной окаменевшей рукой. Лес внезапно расступился, и он увидел Рогнеду, бешено вращающую черными глазами и в страхе грызущую удила, чуя волчий запах. Она уже самостоятельно обошла камень и дожидалась их, чтобы тотчас тронуться в обратный путь. «Я всегда знал, что она умница», – обращаясь к Учайке, просипел Батый, из последних сил взбегая на склон. Она толкнула его в санки, а сама сняла шубу и трижды на нее плюнула, кинув под откос. Рогнеда дико заржала, крутя задранным хвостом и прижимая уши. Волки, хрипло рыча, уже выбирались на дорогу, тяжело выныривая из мягкого снега и взбивая белую пыль, оседавшую на их спинах и мордах. «Да скорей же ты, кор-рова зарайская, чего телишься!» – со всей силы полоснув кобылу кнутом по крупу, гаркнул Батый на свою жену. Она уцепилась за сиденье, и уже на ходу он втянул ее внутрь. Рогнеда кинулась вскачь, унося жизнь от смерти, Батыя отбросило в левый угол повозки, и краем глаза он увидел, как лежавшая на снегу Учайкина енотовая шуба распалась на шесть или семь кусков, что подпрыгнули и, ожив, превратились в маленьких округлых зверей, которые, встав на задние лапы, приготовились то ли нападать, то ли защищаться. Через мгновение на раздорожье, визжа и рыча, уже бурлила яростная драка, мелькавшая ощеренными пастями и безумными желтыми глазами. Предводитель стаи все-таки вырвался из общей кучи и, кинувшись вдогонку, добрался до задних ног кобылы, норовя прыгнуть ей под брюхо и вцепиться в нежную плоть живота. Какое-то время они скакали рядом, а потом Батый прицелился и, преодолевая боль в руке, от которой кружилась голова, с оттягом ударил хлыстом по волчьей голове. Плеть несколько раз обвилась вокруг шеи зверя; он кубарем отлетел на обочину, тяжестью своего тела вырвав кнут из рук хана. Учайка торжествующе засмеялась и, обвив руками шею Батыя, прижалась горячими, обжигающими губами куда-то к его уху. Ошалевшая от ужаса Рогнеда каким-то чудом наддала еще и словно полетела над белой дорогой.

Успокоилась она, только доведя их до деревни: гнедая шкура кобылицы от пота потемнела до вороного цвета, по бедрам ее стекало мыло, а с удил, поранивших губы, на снег капала розовая пенная слюна. К ним кинулся истомившийся за это время Ульдемирян, суетливо помогая Батыю выбраться из саней:

– Слава небесам, ты жив, о Слепительный!.. – недобро косясь на Учайку, приговаривал он, качаясь в бесчисленных мелких поклонах, будто китайский болванчик. – Как можно было подвергать жизнь джихангира опасностям из-за легкомысленных капризов какой-то дикарки? Ты забываешь, что без тебя орда станет слепым всадником, не видящим дороги. Хвала небесам, ты вернулся невредимым. Позволь твоему верному

рабу поцеловать твою руку от избытка счастья... Какой перстень, о Слепительный!.. Твои богатства неизмеримы, но такого я среди них еще не видел...

Выдернув свою правую руку из цепких лап Ульдемиряна, Батый увидел, что на его безымянном пальце вместо красной нитки был надет широкий золотой перстень, переливающийся блеском зимнего полуденного солнца. В середину его был уложен крупный молочно-голубой сапфир, ограненный в форме месяца. Перстень сидел ровно, твердо и плотно, точно по размеру пальца. Никаких болей в руке не было. «Значит, у нее солнце», – подумал Батый.

Учайкино кольцо, действительно, оказалось с желтым круглым выпуклым топазом, крепившимся к серебряной основе с помощью лучей, на которые, по краю камня были насажены мелкие капли алмазов. Батый рассмотрел его уже после свадьбы, в постели, куда она безмятежно пришла, освободив голову от тяжелого кораллового шлема, а лицо – от росписи разноцветных красок. Взглянув на него матово-голубым взглядом, она без стеснения и стыда скинула шелковый халат, буднично легла рядом с ним и, запустив ладонь в его волосы, принялась перебирать пряди между пальцев. Батый перехватил ее руку и долго смотрел на маленькое солнце, в середине которого сменяли друг друга отблески желтого, золотистого, оранжевого и светло-коричневого огоньков. Затем он сел на ложе и рывком раздвинул ей полусогнутые в коленях ноги, но она и тут не испугалась, спокойно позволив джихангиру любоваться на свою детски-розовую, вытянутую красоту с ровными, аккуратно сложенными, нежными лепестками, сверху поросшими мягким светлым курчавым пушком, прикрывавшими узкий вход в великий предел Тай Цзи, над которым в гармонии сочленений и тычинок располагалось маленькое рыльце пестика. И хотя цветы его шести жен и бесчисленных наложниц были, возможно, ничуть не хуже Учайкиного, но от вида ее цветка хану вдруг стало сладко и жутко, и он задрожал от внутреннего напора страсти, вонзившейся в душу, словно стрела. Чувствуя, как беспрестанно крепчает, твердеет и расширяется, Батый склонился над небосводом цветка мей и прикоснулся губами к пестику, втягивая в себя дневное светило Тай Янг и ночное светило Ю Лянг, а также вода языком по звездам дерева, земли, неба и золотого металла Муксинг, Туксинг, Тянь Ван Синг и Йинсинг. Но звезда короля ада Минг Ван Синг ждала его внутри, и он пошел к ее огню только после того, как довел свою жену до пульсирующего в бедренных артериях затмения сладострастия и в порыве нетерпения она положила свои пальцы ему на уста, призывая убрать караулы и посты, соединив короля с его адской звездой. Эту звезду до него, действительно, никто не видел, она была нетронута и запечатана крепкой печатью, после снятия которой шкура барса, где они возлежали, оказалась безнадежно испорчена, ибо на нее вылилось столько крови, словно барс погиб, истекая кровью от ран, нанесенных ему в схватке с тремя тиграми. Утром Батый выкинул убитого в аду барса за порог юрты, и весь следующий короткий зимний день нукеры с присвистами и гиканьем таскали эту окровавленную шкуру на пике, показывая ее всем отрядам и выкрикивая славу великому воину и доблестному мужу, так славно распечатавшему сундучок женой чести, что для супруга дороже золота.

С тех пор по всему пути на Юрюзань он не отпускал ее от себя: ему почти физически было необходимо, чтобы Учайка находилось рядом, – пятнадцати минут ее отсутствия хватало, чтобы хан становился рассеян, задумчив и не слышал слов собеседника. Днем он следил, как она учится ездить верхом на Рогнеде, добросовестно разворачивая плечи и держа спину прямо, как ест вареную баранину, смешно вытягивая губы и дуя на горячие куски мяса, как медленно повторяет за Туруканом татарские слова и залиvisto смеется сама над собой, как расчесывает волосы, наклоняя голову так, что они льются вбок светлой волной, закрывая правую грудь и доходя до бедра, а ночью по два-три раза наблюдая, как меняется цвет ее глаз перед тем, как он начнет загонять короля в ад, и после того – от бирюзового с редкими изумрудными

вкрапинами до темно-серого, стального цвета с синим ободком радужного круга. Иногда он даже будил ее ночью, чтобы проверить, насколько и в какую сторону изменился цвет.

Но сейчас она проснулась сама, почуяв напряжение мужа, и, спросонья щурясь и шмыгая носом, стала вглядываться в него припухшими от недолгого, но крепкого сна глазами цвета чистого лазоревого яхонта, камня, тревоги с чела изгоняющего, страхи отгоняющего, спокойствие, честность, милосердие и душевность прибавляющего. Батый погладил ее по спутавшимся волосам.

– Мин теш кюрдем, – негромко сказал он, прижимая ее голову к своей груди и вдыхая уже ставший привычным цветочный запах. – Мин сина аны сейлярмен, кайчан син эйрянерсен мине аннарга.<sup>53</sup>

– Мон содаса. Тон сонтць весе валске несак,<sup>54</sup> – так же тихо отозвалась она, снова быстро засыпая, но потом вдруг встрепенулась и, выбравшись из-под руки хана, со спрятанной улыбкой прошептала выученные за пару недель замужней жизни слова, подставляя ему свои спелые вишневые губы, – эйде убешиек...<sup>55</sup>

\* \* \*

Они, конечно же, поцеловались, сначала отстраненно и сдержанно, чуть застенчиво, отходя от случившейся ссоры и вспоминая друг друга на ощупь, запах и вкус, робко прикасаясь губами к губам. Но услужливая память, как и раньше, выдернула из глубин все, что требовалось, разомкнув оковы стеснения, так что через полторы минуты они уж стояли, слившись в тесном объятии и, не обращая внимания на окружающих, самозабвенно совершенствовались в искусстве поцелуя, с той ласковой страстью, в которой смешивается слюна, язык ощупывает зубы, и удары чужого сердца доходят до твоих ребер, – все по-взрослому, без обмана у волшебника Сулеймана. Кавказский кружок не замедлил откликнуться на такое неприличное нарушение правил поведения в общественных местах, – кто-то присвистнул, кто-то прицокнул, кто-то ревниво промычал «У-у-у!..», затем воцарилась хрупкая тишина, а после самый горячий из джигитов не выдержал и с громкой воинственностью спросил якобы в странство, не касающееся Валентины и Спутника: «Ты кто такой? Давай, до свидания!..» Модная песенка как нельзя удачнее выразила суть противостояния, так что остальные горцы дружно подхватили нехитрый речетатив, для усиления музыкальности отбивая ритм по столу ладонями: «А ты кто такой? – Давай, до свидания!..»

Спутник отреагировал на такие наезды, как и положено активному альфа-самцу, закаленному в боях хулиганской юности, и, наглядно демонстрируя, что русские не сдаются, после первой не закусывают и умеют махать шашкой не хуже злых чеченов, зажал Валентину так, что у нее хрустнули шейные позвонки и она, невольно испугавшись за целостность своих костей, принялась вырываться из его объятий. Наконец они расцепились и под барабанный бой, запыхавшиеся и красные, гордо проследовали к дверям заведения. «Давай, до свидания!..» – насмешливо и победоносно бросил им вдогонку зачинщик музыкальной паузы. Распаленный коньяком и поцелуями Спутник уже было развернулся, чтобы идти выяснять отношения, но Валентина, совершенно не желавшая ни скандалов, но мордобоя, до боли в ногтях вцепилась в рукав его костюма и, шипя «Идем, идем!», увлекла за собой на улицу. Он взглянул на нее темными, сузившимися от бешенства глазами, ясно выдававшими примеси татарских кровей, и она уже не первый раз удивилась, как быстро слетает с него литературная интеллигентность, обнажая древнюю мужскую агрессию и готовность защищать свое право и лево кулаками. «Ладно... давай... или давай, или до

<sup>53</sup> Мне приснился сон. Я расскажу тебе его, когда ты научишься меня понимать (тат.).

<sup>54</sup> Я знаю. Ты увидишь все сам завтра (зарайск.).

<sup>55</sup> Давай поцелуемся (тат.).

свидания..» – хрипло пробормотал он, процеживая накипь невыплеснутого гнева, снова притянул ее к себе и принялся доцеловывать, растирая ей щеки трехдневной щетиной.

От воспоминаний о вчерашнем дне Валентина улыбнулась и невольно провела тыльной стороной ладони по щекам и губам, стараясь не только мыслями, но и кожей поймать и вернуть это ощущение мужской небритости, заставляющей нежную плоть наливаясь свежей горячей кровью. Щеки, конечно, уже остыли, но губы были еще распухшими от неумеренных поцелуев, затвердевшими под тонкой пленкой страсти. Она сильно и плотно сжала пальцами левой руки белый фарфор кофейной чашки и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею.

– Давай, до свидания!.. – рывкнул вдруг за спиной разъяренный мужской голос. От неожиданности Валентина подскочила на месте, рука, державшая чашку, нервно дрогнула, посуда вырвалась и, обиженно звякнув, боком завалилась на блюдце. Густая коричневая жидкость освобожденно полилась на стол, образовав лужу, устремившуюся к краю стола. Валентина поспешно вскочила, с грохотом отодвинув стул, и принялась размазывать кофейное озеро салфетками.

– Вали отсюда, чурка узкоглазая! Давай, я сказал, – до свидания! Здесь, что – вообще русской obsługi нет?!.. – злоба в голосе накалилась настолько, что у Валентины даже поджались пальцы на ногах. «Не оборачивайся», – сказала она себе и, разумеется, обернулась посмотреть на скандалиста.

Скандалил мужчина лет пятидесяти с небольшим, сидевший сзади, через два свободных столика. Перед ним с опущенными глазами виновато стояла официантка казахско-туркменской внешности, какими были заполнены московские кофейни. Некоторые говорили по-русски настолько своеобразно, что Валентина не сразу понимала эту интонационно-смазанную речь. Неизвестно, в чем провинилась перед ним данная Джамия, но посетитель неистовствовал так, словно она вылила ему на брюки чайник свежей заварки. Его холеное лицо с крупным, несколько тяжеловатым носом и сытыми, выпяченными вперед губами, побагровело, щеки тряслись, а близко посаженные глаза под взлохмаченными, уже поседевшими бровями впивались в несчастную, как сверла высокооборотистой дрели в хлипкую гипсокартоновую стену. Сидевшая спиной к Валентине женщина, в которой по съездившемуся затылку сразу угадывалась жена деспота, попыталась было успокоить тирана, робко дотянувшись до сжатой в кулак руки темно-малиновыми кончиками отлакированных ногтей и прошелестев «Володечка...», но этот слабый жест лишь еще больше распалил агрессора. Он отшвырнул женину ручку и с наслаждением кинулся в атаку, словно синьор Помидор на безответного дядюшку Тыкву:

– Черно\*опые за\*бали, – не стесняясь в выражениях, орал Помидор, – везде эти с\*аные азиаты, куда ни придешь, тупые, наглые, вонючие, пи\*дите тут на своем языке во всю глотку, русской речи не слышно уже, живем, как в кишлаке! Ээээ, меее, ара... Убить, \*лять!..

Валентина почувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки, что глаза раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. Вероятно, так же чувствовала себя и Джамия, которая покорно стояла перед всегда правым клиентом, все также глядя в пол и смиренно выслушивая отборную брань. Круглое восточное лицо ее словно закаменело в буддийской отрешенной неподвижности, приобретя болезненный, бледно-восковой оттенок. Скорее всего, только так и возможно было не захлебнуться в этом потоке словесных помоев и нечистот, – выйти в астрал и плавать там веселой рыбкой, уворачиваясь от токсичных тяжелых металлов, пестицидов, нитратов, фосфатов, радиоактивных отходов и навозной жижи, пока голос сильных мира сего кричит что-то непонятное над ухом твоего тела. Валентине и самой

случалось выходить на эту орбиту, – последний раз она прогуливалась в тех широтах, когда Елисей пошел учиться в первый класс. Они куда-то ехали с ним в метро, и на одной из остановок напротив них сел растрепанный седой винский старик, едко пахнувший смесью давно невымытого тела, ввевшегося в одежду табака и устоявшегося перегара. Услышав русскую речь, он встрепенулся, как старый бойцовый петух, глаза его загорелись сумасшедше-радостным черным огоньком, он жадно открыл рот с прореженными пеньками желто-черных зубов и, вонзив взгляд прямо в Елисея, сипло гавкнул: «*Ryssä paska!*...»<sup>56</sup> Звук отчетливо раскатился по всему вагону, в котором по своим делам молчаливо и культурно ехали воспитанные винны и послушные законам страны эмигранты. Елисей, тонкозвонким детским голоском просвещавший ее о том, что Плутон убрали из планет, уже давно убрали, а ты знала этого, ты этого, что, не знала, ма-ам! – осекся и начал стыдливо рассматривать развязавшиеся шнурки на кроссовках. Валентина не сомневалась, что его уже в детском саду просветили, кто такие *ryssä*<sup>57</sup>. Поезд методично пересчитывал шпалы. «Ах ты, старый хрыч... – с тоской подумала она, – заткнул бы ты свой вонючий фонтан...» Но дед, разумеется, молчать не собирался, решив, как видно, вывалить все, что накопилось с годами.

– *Ryssä paska, mä sanoin*,<sup>58</sup> – закаркал он, мелко притоптывая правой ногой в стоптанном, вытертом до серого цвета древнем ботинке. – *Mä vihaan vitun ryssiä ja teiän vitun Venäjää! Mun iskä ampui sodassa viiskyt ryssän kommunistia. Juuri viiskyt perkele saatana, kaikki lehdet julkaistivat siitä uroteosta!*<sup>59</sup>

Из полубеззубого старческого рта летели брызги слюны, пальцы на синюшных руках ходили ходуном то ли от старческого тремора, то ли от воодушевления, то ли от алкоголизма, из всклокоченных седых волос на воротник синей куртки сыпалась перхоть. Тем не менее, Валентина еще пыталась смотреть ему в лицо, в надежде, что непотивление злу насилием восторжествует. Потом, осознав тщетность своих надежд, перевела взгляд на сына и решила абстрагироваться, рассматривая завитки его волнистых льняных волос. И только после того, как Елисей, услышав о пятидесяти убитых, взглянул на безумца с доверчивым ужасом, как Танечка и Ванечка на Бармалея, бросающего доктора Айболита в костер, она поняла, что надо спасаться. Поезд как раз поехал к станции. «*Kulosaari*», – возгласила эмпатическая виртуальная борт-проводница. Она схватила ребенка за руку и поволокла к дверям: «Выходим, выходим, не слушай его, он пьяный, он больной...» Старик не обратил внимания на их бегство, продолжая вещать о боевом героизме своего отца Гарри Поттеру, который смотрел на него сквозь круглые очки с рекламного листа внимательно и бескомпромиссно, словно сотрудник органов спецслужб по борьбе со сказочными злодеями. Винские крики о доблестях, о подвигах, о славе были слышны на платформе даже после того, как поезд закрыл двери и тронулся дальше.

На гневные вопли Помидора, перепуганно стуча шпильками, прибежала администраторша, высокая точеная блондинка в черной юбке-карандашике, и, заслонив косорукую растяпу модельной фигурой, принялась извиняюще улыбаться перед гневным синьором, который, похоже, не первый раз показывал здесь такую тарантеллу. Судя по децибеллам истерики, ребят ждали неплохие чаевые. Валентина вытащила из кошелька деньги, положила их на кофейно-салфеточное болото и, подхватив сумку, двинулась к выходу, не дожидаясь счетов и расчетов. В этот же миг Джамия вышла из астрала и направилась в противоположную сторону, к кухне. Они поравнялись и прощально посмотрели друг на друга. В черных глазах официантки перекатывалась

<sup>56</sup> С\*анные русские (винск.).

<sup>57</sup> Русские – оскорбительное (винск.).

<sup>58</sup> С\*анные русские, я сказал (винск.).

<sup>59</sup> Ненавижу е\*банных русских и вашу е\*банную Россию! Мой отец застрелил на войне пятьдесят русских коммунистов. Именно пятьдесят, черт побери, все газеты писали об этом подвиге (винск.).

крупная и чистая бриллиантовая слеза, и Валентине мучительно захотелось сделать шаг и погладить ее по голове, прижавшись своей европейской щекой к ее азиатской щеке.

«Иди ко мне, моя горемычная туркменочка, – мысленно позвала она Джамилю, – иди ко мне, моя лунолика сестра по эмигрантской юдоли, приди, я обниму тебя и утешу, ибо никто не поймет страданий чужестранца лучше, чем другой такой же чужестранец. Ели прадеды и деды наши кислый виноград, а оскомины сейчас на губах наших. Занесло нас с тобой в дальнюю сторонушку, во чужой дом, и жуем мы там свой кусок, озираючись, словно нахлебники, хоть и трудимся в поте лица своего. Нет нам приюта среди тех, с кем живем мы рядом, и никогда не стать нам такими же, как они, не разорвать цепи национальной идентичности и языковой отсталости, замыкающей уста наши в стрессовой ситуации на тяжелый амбарный замок, ибо пока мы с тобой сформируем свои оправдательные слова, вытаскивая их из глубоких карманов, нам уж десять раз ответят обвинением. Не судьба нам оправдаться, ведь у обидчиков наших есть рука правая, а у нас-то обе руки – левые, им-то язык мамки да няньки с детства подвесили, а мы то своим шевелить начали, уж когда детей нарожали. И лежит язык во рту нашем инфонном, толст да неуклюж, а как ворочаться начинает, то делает ошибки позорные, от которых потом стыд в краску вгоняет! И как ни идем мы вперед, как ни развиваемся, а все страдаем от нехватки языковых средств и недостатка времени для восприятия речи и говорения, мучимся от ощущения неправильности собственных высказываний и подозреваем, что собеседник наш, *native speaker*<sup>60</sup>, не понимает нас. Смотрим мы на собеседника нашего и думаем: блажен он, ибо хватает ему в жизни его лексических средств, – и существительных, и прилагательных, и глаголов во всех морфологических формах их! У нас же с тобой с существительными худо, с прилагательными бедно, а с глаголами и вообще так, что без слез не взглянешь, – только обнять да заплакать...

46

А все потому, Джамиля, все потому, что глаголы запоминаются хуже существительных, я даже читала одну очень толковую научную статью, объясняющую данный феномен: глаголы трудны, поскольку сочетают в себе информацию о пути, цели и манере действия или движения, – видишь, как сложно! И ведь эта теория права, – мы с тобой не знаем огромного числа глаголов, хоть и стараемся угадывать их по ситуации. Не знаем, как будет, например, потрошить, расшатывать, задавить, пробивать, скатываться, подползать или переваливаться, – ты не знаешь по-русски, а я по-вински. Мы не знаем также глагола раскраснеться, мы будем долго и нескладно говорить, что вот, он стал совсем красный, будем мямлить и путаться в объяснениях, а стоящие рядом носители языка спокойно, быстро и уверенно вынут этот глагол из своей памяти и со снисходительной усмешкой подскажут нам его. А может, и не подскажут, может, скривятся и презрительно бросят: Понаехали тут! Со свиным рылом в наш калашный ряд пролезть пытаешься?.. Не сидится вам спокойно в своей Тмунтаракани!.. А мы на эти колкие фразы смущенно отойдем в сторону, чтобы не занимать их жизненное пространство, данное им по праву рождения, как монарху с его первого визгливого послеродового крика дается единоличная власть над тысячами и миллионами тысяч.

Оставим же их, сестрица, оставим этих людей, жестокосердых и жестоковыйных, наблюдающих за каждым нашим грамматическим промахом! Уйдем от них, моя туркменская сестра! Но куда ж пойти нам, где сможем мы спокойно присесть и перевести наш загнанный дух? Я знаю, куда мы пойдем, сестра моя Джамиля, знаю, где найдем мы с тобой пристанище, – мы отправимся в библиотеку, мы устремимся к этому хранилищу знаний, где работают приветливые образованные тетушки, не все, конечно, но остались там и такие. Мы пойдем на эти привольные луга, где пахнет пылью и древесным жучком, мы отыщем с тобой толковые словари в их многих томах, мы откроем

<sup>60</sup> Носитель языка (англ.).

их потемневшие страницы и погрузимся в пучины лексикона: ты – русского, а я – винского, – мы сядем в тенек под дубок и начнем ловить и вылавливать неизвестные нам глаголы! Будем следить за ними и ловить их, а следить надо внимательно, ибо шустры глаголы, ловки и юрки, и проворны, словно мелкие хитрые ящерицы, так что дело это совсем непростое. Поймав же глагол, схватим мы его не за хвост, а за шею, возьмем мы его и будем тем глаголом жечь и прижигать жестокие, зачерстневшие от тяжестей бытия сердца носителей языка, тех, кто корит нас и язвит нас, и смеется над нами за то, что мы путаем употребление простого и сложного прошедшего времени или видовые категории.

Долго будем мы сидеть в тени дубовой, замерзнув от прохлады, ибо библиотеки, как всегда, отапливаются весьма скверно, по остаточному принципу, и когда терпение наше уже почти истощится и готовы мы будем махнуть озябшей рукой и идти по своим делам, робко прокрадется в густой траве глагол милосердствовать, относящийся к чрезвычайно редкому, почти вымерший виду, занесенному в Красную книгу. В девятнадцатом веке они еще были распространены, но за двадцатый их истребили почти полностью. А поскольку глаголы эти в неволе не размножаются, то встретить отдельного представителя в естественной среде обитания считается наивысшей удачей! От такого невероятного везения мы затаим дыхание и замрем, чтобы не спугнуть боязливый трепещущий глагол, который, поводя пушистыми дымчатыми ушками и меняя цвет то на голубой в белых кругах, то на сиреневый в розовых неровных полосках, то на салатный в едва заметную серую клеточку, начнет осторожно шуршать по траве, пробираясь мимо нас. Секунда... вторая... третья... еще чуть-чуть... Хватай его, сестрица!

И вот уж он бьется у нас в руках, жалобно пищит, отчаянно дрожит, боясь, что мы сдерем с него живьем ценную шкурку, выбросив шуплое ободранное тельце на помойку. Но мы не сделаем ему зла, правда, Джамиля? Мы возьмем глагол милосердствовать, подойдем к клиенту, облившему тебя сегодня помоями с головы до пят, и прижжем этим глаголом его холодное каменное сердце, чтобы оно прогрелось, чтобы вышли из него ледяные осколки и иглы, чтобы застучало оно сильнее, став чутким и трепетным, как в те далекие года, когда Володечке было всего восемь лет и он давал прокатиться на своем велосипеде всем ребятам со двора. «Посмотри, Володечка, – скажем мы ему, – ведь этот милый добрый мальчик, жалеющий всех калек и бездомных попрошайцев, – ведь это же ты! Что же стало с тобой? Как превратился ты в монстра, изрыгающего скверну изо рта своего, который скоро станет пастью? Опомнись, человек! Почто обижаешь ты и без того униженных и оскорбленных? Что привело тебя в гнев столь яростный? Говоришь, что в половине девятого утра узнал, будто генеральный директор купил сыну новый «Ламборджини»? Что любовница, покладисто соглашавшаяся со всеми твоими прихотями целых пять лет, вдруг взбрыкнула и послала тебя на те самые три буквы, обозвав напоследок неудачником и лохом, из-за того, что ты попросил ее подождать с квартирой месяца три-четыре? Что тендер на госзаказ из-под самого носа ушел к другой фирме, посулившей главе департамента более жирный откат? Думаешь, что потеря тендера горше, чем туркменская слеза? Говоришь, что тендер был на миллионы долларов, а у слезы и цены-то нет? Обещаешь в следующий раз дать этой туркменке двойные чаевые, чтоб морду косоглазую не кривила? Да, с тобой, Володечка, больше возни, чем представлялось. Придется прижечь твое сердце глаголом еще раз. Дай-ка мне, Джамиля, ты пока еще не научилась. Надо стараться попасть прямо в сердечную мышцу, точно в миокард.

Ну вот, получилось, подействовало наконец-то! Смотри, сестрица, какой наш Володечка стал молодец: побледнел, за грудь схватился, рот разевает, как рыба на берегу, от нехватки воздуха, и пот по бледному челу струится хладными ручьями, – замечательно как вспотел-то! Сейчас должна начаться тошнота, – ну, точно, – блюет, вот он – омлет по-французски с луком-пореем. Потерпи, родной, сейчас боли в области сердца и за

грудиной станут еще более интенсивными, будет резать, как кинжалом, начнет жечь в спине, в левой лопатке, словно ее схватили раскаленными щипцами, шее, даже в челюсти, – да, да, даже зубы должны зануть, правильно. А теперь покажется, что задыхаешься, будто придавили двухтонной плитой, все завертится перед глазами от сильного головокружения, станет холодно, потому что температура резко подскочит до тридцати восьми с половиной. Все, – можешь терять сознание. Готово, Джамиля».

Помидор вцепился растопыренными белыми пальцами в край стола, скребя по гладкой поверхности посиневшими ногтями, и, выпучив глаза, словно рыба-телескоп, прохрипел, медленно заваливаясь набок: «Тамара... скорую... быстрее, дура... умираю...» Тамара, даже не вскрикнув, тупо смотрела на него, за долгие годы совместной жизни разучившись воспринимать команды на сниженных тонах. Потом туловище ее грозного мужа обмякло и плюхнулось на чисто протертый пол из черного ламината, блестящего глубинами бездны. Голова попала прямо на туфли администраторши, и от удара челюсти клацнули так, словно Володечка решил сожрать очаровательную халдейшу, начав с ее ножек. Она дернулась и застыла, не успев свести дежурную улыбку с лица, с ужасом рассматривая распластанное тело. «Скорую вызывайте, – подойдя к ней, сказала Валентина. – Похоже, инфаркт. А если обширный, то помереть может запросто. Если есть нитроглицерин, суньте ему под язык таблетку». Блондинка вытянула тонкий носик, вслушиваясь в ее слова, а потом быстро-быстро закивала головой, захлопав себя ладошками по бокам в поиске телефона. Видимо, работала она в сетях общественного питания еще недолго, и это было ее первое столкновение с тем, что клиент может взять и окочуриться, не успев расплатиться и выйти за порог заведения. К бесчувственному Володечке орлицей кинулась Джамиля: встав на колени, она принялась разворачивать грузное тело, расстегивать пуговицы на рубашке и распоясывать туго затянутый ремень. Валентина переступила через вытянутые ноги в задравшихся штанинах мышинового цвета и решительно направилась к двери: давно пора было уходить. Все происходящее за ее спиной отражалось в большом квадратном зеркале, висевшем на стене рядом со стеклянной входной дверью, словно ролик социальной рекламы, демонстрирующий перед показом боевика: «При отсутствии сознания, дыхания и пульса больного следует положить на пол и незамедлительно приступить к реанимационным мероприятиям. Речь идет о непрямом массаже сердца, который возможно проводить только на твердой ровной поверхности, и искусственном дыхании. Посмотрите, как это делает Джамиля Алтынбаева: пятнадцать надавливаний на грудину перекрестно сложенными ладонями, затем два вдоха и выдоха. Если пульс не появился, необходимо повторить спасательные действия». Дверь закрылась и вытолкнула Валентину на Цветной бульвар, загоразивая маленькую трагедию тонированными стеклами дверей. Оставался какой-то неприятный осадок от того, что она покинула полумертвого (или полуживого?) человека, но, с другой стороны, помочь ему было уже не в ее силах. «Кцара яди м-леошиа,<sup>61</sup> – как с важным видом говаривал Шурик. – Коротка длань, чтобы принести избавление». В сложных ситуациях он любил ввернуть какую-нибудь фразочку на иврите, – это, как подозревала Валентина, придавало ему большей уверенности и авторитета в своих собственных глазах.

Воспоминание о муже, оставленном в Винляндии, было неожиданным и удручающим. И нужно же было ее мозгу попугайски запомнить этот набор звуков, чтобы испортить такой нежный полдень с солнцем, плывущим прямо над головой по синему-синему небу?! Вернее, Валентина, конечно, не забывала про свои семейные неурядицы, но за дни путешествий тень Шурика размылась и потеряла четкие очертания; сейчас же всплывшая в голове ивритская пословица как нельзя некстати напомнила о том, что возвращение не за горами и несет с собой необходимость коренных переломов и горь-

<sup>61</sup> קצרה ידי מלהושיע (ивр.).



ких решений, всегда страшящих простирающейся за ними неизвестностью и одиночеством. Она пошла вперед, ориентируясь на торчащую в начале бульвара колонну и неподкупным взглядом рассматривая незнакомых прохожих, шагающих мимо нее и ей навстречу. Все они как-то враз стали ей противны; даже разнообразие походок, легких и стремительно-молодых или степенных, но, тем не менее, подшаркивающих с какою-то веселостью, рождало в душе неопределенно-гадливое чувство. «Вот улицы, вот машины, вот дома, а на улицах, в машинах и домах все люди, люди, люди... И они счастливы, смеются, только я одна, как проклятая, никак не могу быть счастливой. Почему другие женщины умеют жить со своими мужьями, почему у меня ничего не получается? Разводиться второй раз и оставаться одной в моем преддубежном возрасте – это хуже, чем броситься под поезд! – думала она, вспоминая острую, яйцеобразную голову Шурика с пухом пролысины на вытянутой вверх макушке. – Там-то раз – и отмучилась. А тут еще читать и читать эту книгу, исполненную тревог, обманов, горя и зла... И ведь следующей женщине он будет рассказывать обо мне, как о гадкой эгоистке, никогда никого не любившей, обманувшей все его благие чаяния и наставившей ему рога. И если меня спросят, я не смогу сказать, что это неправда. С формальной стороны это и, вправду, моя вина, а моя вина – она всем видна...»

Представив себе предстоящую после выезда за пределы Российской Федерации процедуру развода и то, сколько моральных усилий придется затратить, чтобы выселить Шурика из квартиры, в которую он пришел три года назад, она даже коротко застонала, сморщив нос, как от боли. С другой стороны, она уже физически не могла слышать те нотации, которые муж начинал читать ей, сложив руки на груди, когда притворно-спокойный голос через пять минут срывался на бешеные крики с такими проклятиями и ругательствами, каких она не слышала даже от пьяных зарайских работяг. Она живо вспомнила те интонации, с которыми Шурик принимался плести свою бесконечную демагогическую паутину: «Послу-ушай...», – и даже вздрогнула от брезгливой гадливости. «Но возможно ли между нами какое-нибудь не счастье уже, а только не мученье? Нет и нет! – ответила она себе без малейшего колебания. – Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я делаю его несчастье, он мое, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился. Надо платить за свои ошибки, не торгуясь. Я уж давно не люблю его. Впрочем, если расставлять все по местам, то моей любви, вероятно, и не было. А его закончилась. А где кончается любовь, там начинается ненависть».

Она остановилась посередине аллеи напротив цирка и стала разглядывать расставленные вокруг фонтана статуи лежащих, сидящих, стоящих и крутящихся на колесе клоунов, с которыми в обнимку фотографировались гуляющие. На огромном клоунском башмаке, как на бегемоте, сидели мама с дочкой, ненатурально улыбаясь в камеру папе, который активно их фотографировал. «Покажи модель, Дашенька!» – закричал он дочери. Девочка послушно встала и положила одну руку на изогнутое цыплячье бедрышко, а другую запустила в жиденькие русые волосики, откиннутые назад. «Семь лет ребенку, а уже научили кривляться!» – ужаснулась Валентина. Клоуны, так же ненатурально разинув рты и выставив вперед круглые носы, до блеска отполированные прикосновением множества пальцев, с удовольствием смотрели на это непотребство. Довольный отец червяком изгибался то вправо, то влево, выискивая удачный ракурс. Валентина с отвращением двинулась дальше, отыскивая оборвавшуюся мысль.

«О чем я думала?.. О ненависти: словно огненный шар, ненависть вокруг меня... А ведь всего три года назад он кричал, звоня посреди ночи своей маме в Сибироновск: «Мама! Я не видел таких, я таких еще не встречал! Она королева! Я чувствую себя рядом с ней королем! Я ее так люблю, мама, я так счастлив!» И мама с умильной слезой повторяла мне в трубку: «Шурочка так счастлив! Я так рада за вас, деточки мои!..» И что? Куда подевалась та прельстившая меня великая любовь, которая заставляла его смотреть на меня преданным взглядом, каким только псы смотрит на

своих хозяев, готовые лизнуть руку, даже если рука забудет приласкать, даже если ударит. Он бегал за мной хвостом, был маленьким хорошеньким песиком, подкупавшим своей верностью, игривостью и ласковостью. Он звонил мне по десять раз на дню и от избытка чувств разговаривал сплошными уменьшительными формами: «Я купил для тебя кремик, дай пощупаю лобик, сделать тебе бутербродик, я помою посудку, осторожно, кисуля, там машинка едет». От их обилия мне казалось, будто я до тошноты объелась шоколада: ее хрупкие чувства погибли под нашествием деминутивов, – ха-ха!.. Потом щенок подрос, и выяснилось, что это не пес, а волчонок, а потом волчонок заматерел и превратился в волка, да не в обычного, а в оборотня, готового загрызть свою возлюбленную даже не за дело, а за помысел, и даже не за помысел, а лишь за возможность помысла, лишь за то, что возлюбленная его разговаривала с по телефону с другим мужчиной и смеялась, говоря с ним. А смеяться, по правилам, можно только речам оборотня. И смотреть только на него. И жить нормальной жизнью, жить, как все, бросив, наконец, все свои глупости, всю эту литературу, танцы, бассейн, философские беседы, воспитывая своего невоспитанного сына, не уважающего старших, которые, между прочим, вынуждены за ним присматривать в твоё отсутствие, поменяв мебель и посуду, нося бельевые гарнитуры и сделав искусственное оплодотворение, если не получается забеременеть обычным путем. А ты не стала ничего этого делать. Что ж тогда удивляешься ты окровавленным клыкам, раздирающим плоть твою? Ты сама довела его до ликантропии, и изменить этого было нельзя. Я не раз говорила ему, что он бессмысленно ревнив, и он сам иногда сознавался, что бессмысленно ревнив; но это было неправда. Он был не ревнив, а он был недоволен. Его любовь все делалась страстнее и себялюбивее, а моя все гасла и гасла, мне становилось с ним все скучнее и скучнее, и помочь этому было нельзя. У него все было во мне одной, и он требовал, чтоб я вся больше и больше отдавалась ему. А я все больше и больше хотела хоть немного отойти от него в сторону, сначала на шаг, потом на два, потом на десять... До свадьбы мы еще как-то шли навстречу, а после стали неудержимо расходиться в разные стороны! Нельзя было выходить за него замуж, нельзя было лукавить перед самой собой, думая, что эмигрантский муж окажется надежнее винского, нельзя было жалеть его и играть в любовь, потакая удовлетворению его тщеславия, с которым он выставлял в социальных сетях свадебные фотографии: если у тебя в сорок пять лет нет ни высокой должности, ни недвижимости, ни крутой тачки, тебе остается похвастаться перед обществом только красавицей женой, которую за ее неуловимый филологический ум даже ненадолго позвали в столичный университет писать диссертацию...»

Она наконец дошла до гранитного столпа, на вершукке которого возвышался воин, непримиримо потрясающий копьём над змеем, – по логике, это должен был быть Архангел Гавриил, на которого искони были возложены обязанности охранять город от всякой подозрительной твари, грозящей нанести убыток, глад, стужу и моровую язву. «И что это?.. – скептически спросила Москву Валентина. – Наш ответ северной столице, чьи Гуччи круче? Ни к чему хорошему такие подражания не ведут. Я тоже пыталась подражать той, кем я не была, и потерпела полное фиаско. Пыталась притворяться, что мне интересны бесконечные сериалы, которые Шурик смотрел каждый, каждый, каждый вечер, и через год поняла, что просто ненавижу этих Джонов и Шонов, американских симпатяг из Чикаго и Филадельфии, расследующих заковыристые серийные убийства или организующих очередной сногшибательный по изобретательности побег из тюрьмы. Выяснилось, что кроме сериалов и рассказов об обетованной жизни евреев в Израиле, которые я выслушала уже по пятому или шестому кругу, мне, в общем-то, не о чем разговаривать со своим мужем. Если б он мог быть для меня чем-нибудь большим, кроме партнера по постели, страстно, до животных стонов любящего мои ласки, мое тело; но он не мог и не хотел быть ничем

другим. От этого я начала чувствовать к нему глухое, замаскированное отвращение, а он ко мне – злобу, и это не могло быть иначе. А если я, не любя его, из долга буду добра, нежна к нему, а того не будет, чего он хочет, – да это хуже в тысячу раз даже, чем злоба! Это ад. А это-то и есть... И мне гореть в моем аду, гореть в снегу, гореть на льду, гореть, наверное, до гроба; и, словно Лота из огня, Господь не выведет меня, и мы об это знаем оба...»

Она остановилась, обнаружив, что незаметно для самой себя перешла дорогу и, свернув налево, поднялась на горку, дойдя до крепостной стены, окружавшей церковные строения. «Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Памятник архитектуры XVI-XVII веков», – сообщала прикрепленная на углу чугунная табличка. «На сей раз женский, – вспомнив Адраазара, усмехнулась Валентина. – Чтобы ни соблазнов, ни дурных мыслей, чтобы сразу стало понятно, что надо делать». Она медленно прошла вглубь тихой улицы, слыша, как с каждым шагом шум Трубной площади за спиной стирается, будто написанное на доске неверно решенное уравнение: постепенно исчезали А, В и С, плюсы и минусы, умножение и деление. Остался лишь знак равно, за которым стоял вечный Икс, и по условиям задачи к нему следовало подобрать правильные составляющие:

... .. = X

Валентина задумчиво провела пальцами по прохладной узорной чугунной решетке главного входа, чувствуя какую-то смутную робость, будто бы за воротами притаился неведомый мир, полный загадочных обитателей и странных событий, но затем широко и размашисто перекрестилась, решительно, словно ныряя с головой в еще не прогретую озерную воду, перешагнула порожек, быстро перебежала через пустую площадку перед храмом и, легко поднявшись по довольно крутым ступенькам белого крыльца, вошла внутрь. Где-то далеко глухо и тяжело простучал по рельсам набирающий скорость поезд, и она успела удивиться невесть откуда взявшемуся звуку, потому что ни одного знакомого вокзала в этом районе не должно было быть. А может, все же был какой-то, о котором она не знала?..

\* \* \*

После яркого уличного света там оказалось сумрачно, свежо, как-то пасмурно и абсолютно безмолвно. Ни смуты, ни вихрей, которых страшилась Валентина, – лишь белая тишина пустых голых стен, среди которых она стояла совершенно одна. В отличие от ущуповских монахов, московские матушки и сестры за новшествами и модерном не только не гнались, но как бы и вообще старались отодвинуть веру от искусства, – внутри не было ни росписи, ни орнаментов, ни позолоты, ни украшений, ни роскоши, ни изящества. Впрочем, может быть, храм готовили к ремонту, потому что левый придел, в котором, вероятно, совершались службы, был закрыт высокой, доходящей до потолка двустворчатой резной деревянной дверью; в пользовании прихожан оставалась небольшая квадратная площадка метров в двенадцать, плавно перетекающая в правый придел. Вообще же, было что-то нарушено и во внутренней архитектуре этой церкви, и в ее интерьере: прямо напротив входа, посередине висела большая икона распятого Христа, хотя по правилам она должна была располагаться сбоку; получалось так, что прихожанин первым же своим взглядом соединялся не с воскресшим Иисусом, готовым перекрестить и праведника, и грешника, а с умирающим или даже уже отошедшим к Отцу Божьим сыном. Как ни крути, получалось, что с вечной жизни акцент смещался на смерть.

Валентина внезапно поняла, что при каждом нечастом посещении церкви, к распятию она подходила в последнюю очередь. Опустив перед распятым глаза, с ощущением внутренней неловкости, подобной той, с которой проходишь мимо нищего, не

оставляя ему подаяния, она перешла в правый придел, надеясь, что он окажется просторнее; но он был такой же небольшой, также с одной-единственной иконой, висевшей на стене напротив окна. Здесь располагалась комната Богородицы.

Святая Дева была нарисована в полный рост, младенец Иисус, которого она держала на руках, не прижимался к матери, а серьезно смотрел на Валентину, сжимая в левой руке рукописный свиток, а правую поднимая для крестного знамения. Пальцы были сложены не щепотью, а двуперстно, так что икона была еще дораскольничья, что подтверждали совершенно вытертые краски, – из всей палитры цветов на доске остались только коричневый, серый и черный, так что икона напоминала фотографию. Богородица на Валентину смотреть не желала, – настроение у нее было примерно такое же, как у самой Валентины десять минут назад; казалось, что люди со своими грехами уже так намозолили ей глаза, что не вызывали никакого сочувствия. Даже губы были сжаты упрямо и неумолимо: «Лучше б таким грешникам и вовсе не рождаться!» – будто хотела воскликнуть она... Несмотря на эту непримиримость, в лице ее не было старческой скорби, типичной для православной иконописи вплоть до XIX века; Эта Мария была энергичной молодой женщиной лет тридцати с крупным волевым подбородком, готовой смело защищать свое дитя от всех вольных и невольных обидчиков, иродов и иуд. Сконфуженная ее неприветливостью, Валентина перевела взгляд на Младенца: Младенец же, напротив, был старообразно серьезен, его высокий ленинский лоб еще более удлинился ранними залысинами, а поперек горизонтально пролегли две недетские морщины, свидетельствовавшие о долгих размышлениях над путаными судьбами человечества. «Одигитрия», – внезапно вспомнила Валентина название этого типа икон.

Тем не менее, внутреннего контакта с Богородицей не получалось. Досадую на отсутствие чувства искреннего раскаяния, Валентина подумала, что свечи поставить все равно надо, пусть даже они будут воткнуты в подсвечник без ощущения духовной сопричастности к лону вселенной. Обернувшись ко входу, она обнаружила, что храм все же не был покинут без призора на волю Божию и не все сестры отправились в трапезную обедать. Между центральной площадкой и правым приделом, как и положено, была оборудована церковная лавочка, на которую она поначалу не обратила внимания. За прилавком, уставленным толстыми и тонкими книгами душеспасительного содержания в лубочно-ярких обложках, тихо сидела, перебирая в руках четки, нахмуренная, бледная и блеклая монахиня лет пятидесяти, с усталым и даже несколько мизантропичным выражением лица и таким же усталым, изможденно-кислым взглядом, которым она, прищурясь, смотрела в лежавшую перед ней книгу большого формата. Погрузившись в чтение, она не обратила внимания на Валентину, приближившуюся к прилавку. Увидев поставленные сбоку коробки со свечами разных размеров и цен, Валентина уже открыла рот с намерением попросить себе две свечи, но не успела, неожиданно наткнувшись взглядом на интригующее название «Йога: путь к самому себе». Путь к самому себе, который был наглядно продемонстрирован с помощью фотографии сидевшей в позе лотоса оптимистичной молодой барышни в лиловом гимнастическом купальнике, стоил триста рублей и соседствовал с «Беседами о кончине мира» справа и «Трезвомыслием» слева.

Удивившись, Валентина уже хотела было поинтересоваться, разрешается ли монашкам или послушницам заниматься йогой, но опять опоздала, поскольку к прилавку, выйдя из боковой двери с левой стороны, подошли две молодые сестры, деловито остановившиеся возле старшей монахини. Эти, видимо, пребывали еще на ступени послушничества, поскольку черные платочки на их головах лежали ровно, не возвышаясь холмиком камилавки, как у склонившейся над рукописью монахини, и были, скорее всего, инокинями, поскольку, как помнила Валентина, получение монашеского сана в церковной среде было делом таким же непростым и долгим, как и защи-

та докторской диссертации в ученом мире. Одна из девиц радовала взор своей бодростью, хорошо выспавшейся и свежей, словно наливное яблочко, – ее жизненная энергия и молодая активность разлеталась на два метра вокруг, пробиваясь сквозь целомудрие власяницы и подрясника, призванных смирать плоть и укрощать страсти диавольские. Все движения сестры, однако, противореча смиренному облачению, были наполнены нетерпеливостью и какой-то спортивной порывистостью. – Сейчас, – по-секретарски кивнула она Валентине, блеснув красивыми зубами в легкой и уверенной, почти рекламной улыбке, – подождите минутку. Вторая послушница, впрочем, была более флегматична, и порывы плоти в ее круглой фигуре отсутствовали, а отудловатая физиономия с крепким курносом носом смотрела на мир добродушным взглядом побульдожьки опущенных книзу глаз. Но энергия товарки, как видно, тянула ее за собой, словно баржу на буксире.

– Матушка Илиодора, я сказала сестре Ольге, о чем вы говорили, – нежным невинным голосом рекла активная юная дева, и на ее ярких розовых губах заиграла извечная женская усмешка, полная потаенного змеиного яду и торжества отмщения обидчице. – Ну помните, матушка, вы тогда говорили?.. – нетерпеливо продолжила она, широко распахнув и без того большие выразительные глаза, и даже вытянула вперед носик в усердном намеке, не видя от наставницы никакой сиюминутной реакции.

Матушка Илиодора оторвалась от увесистого фолианта, который оказался не книгой, а тетрадь, где на жирно разлинованных строках теснились какие-то записи, взглянула на лукавую ябедницу из-под увесистых очков в избыточно-позолоченной оправе тяжелым каменным взглядом и ничего не ответила. В эту минуту она показалась Валентине удивительно похожей на ее старшую подругу и советчицу, набившую руку и оскомину на творческих склоках и дрязгах, которая, зажав в зубах вечную сигарету и пуская в потолок клубы ментолового дыма, учила Валентину уму-разуму в общении с неуравновешенным писательским контингентом: «Не снисходи до них. Помни о сани. Негоже королеве с конюхом браниться». Так и не отреагировав на донос, матушка опустила голову и вновь погрузилась в изучение своего грессбуха. Энергичная послушница, не получив желаемого сочувствия и одобрения, скривила четко очерченный упрямый рот и метнула на стоявшую рядом товарку гневный взгляд, – помогай, мол, чего молчишь?.. Однако та была более проста и, как видно, не искушена в монастырских кознях, и смотрела на хитрую напарницу простодушным взглядом круглых карих глаз, хлопая длинными коровьими ресницами. Валентина прямо почувствовала, до чего, наверное, хочется уязвленной Божьей пионерке воскликнуть: «Чего уставилась, дурища?!» Однако же она мужественно сдержалась, проглотила свое разочарование и смиренно обратилась к показательно занимавшейся важным делом Илиодоре: – Не будет ли чего, матушка? – Ничего, – сквозь зубы ответствовала та, – идите. Такая холодность окончательно добила искательницу справедливости; от отчаяния она даже закрутилась на месте, словно лиса, завидевшая бегущего слишком далеко зайца, – встряхнула бедрами и несколько раз мелко переступила на месте, отчего подол ее подрясника заколыхался и поплыл черными кругами, а затем суетливо развернулась и направилась к главным дверям, искоса кинув на Валентину недоброжелательный взгляд, полный свежей обиды и горечи несбывшегося желания, – ты-то чего здесь топчешься попусту?.. Ее напарница не спеша поплыла за ней, слегка переваливаясь на ходу, как утка, и демонстрируя явные признаки плоскостопия, которые не могло скрыть даже длинное монашеское одеяние.

С любопытством посмотрев девам вслед, Валентина вспомнила, для чего подошла, и решительно протянула матушке купюру, на которую получила две невеликих-немалых свечки, сдачу и расплывчато-отвлеченный матушкин взгляд, в котором явственно читалась усталость от нескончаемого числа молящихся, ежедневно приносящих в храм свои судьбы с кривыми путями, испещренными колдобинами, рытвинами, мелкими ухабами и большими ямами.

Решив не обращать на матушкину неодобренность внимания (видали мы климак и пострашнее), Валентина развернулась и направилась к распятию, перед которым она всегда ставила свечи за упокой, перечисляя своих бабушек и дедушек, а также называя вспомнившиеся имена других родственников и знакомых, уже успевших отправиться в лучший из миров. Икона была широкой и длинной, не менее двух метров в высоту, так что Христос был изображен практически в человеческий рост. Темно-серый фон не был оживлен ни травкой на земле, ни облачками на небе, – небо, в общем-то, тоже отсутствовало, замазанное серой олифой. Только в подножии креста валялся небрежно брошенный череп со скрещенными костями, запоздало предупреждая: не влезай, убьет. «Раба Божьего Леонтия», – перекрестившись, прошептала Валентина, внимательно глядя на фигуру Спасителя: тело было грязно-белого оттенка, а по сероватому лицу с запавшими глазницами катились ослепительно-яркие, почти алые капли крови. «Рабу Божию Серафиму...» – руки Христа с резко прорисованными буграми напряженных перетянутых мышц были сильно и неестественно вывернуты, словно он заканчивал свою земную жизнь на дыбе. «Рабов Божьих Елизавету и Ивана...» – было что-то в этом распятии непривычное, противоречащее православным канонам, по которым Иисус обычно висел на кресте спокойно, будто задремав, а чаще даже и не висел, а словно стоял на подставочке, собираясь вскорости с нее же шагнуть прямо в Райские кущи, миновав снятие с креста и положение во гроб. Здесь же иконописец, откинув смирение, явно решил пронять молящихся физическими страданиями Божьего сына, превратив его в измученный синюшный труп: голова не держалась прямо, а безвольно свисала с правого плеча, волосы падали параллельно наклоненному лицу, а самое главное, – губы, губы были приоткрыты!..

Забыв про дорогих сердцу покойников, Валентина начала перебирать в памяти все виденные в музеях и на репродукциях распятия, морща лоб от напряжения: Веласкес... Гойя... нет, раньше... Микеланджело... нет, конечно, Христос Микеланджело своим несмирным бунтарством всегда напоминал ей прикованного к скале Прометея... Фра Анджелико... Тинторетто... Крапах старший... да-да, что-то оттуда... Грюневальд... Ну, точно, Грюневальд. Алтарь в Кольмаре.

\* \* \*

Они ездили туда с Шуриком два с половиной года назад, в июле, через две недели после свадьбы, воспользовавшись приглашением Валентиной университетской подружки Вики, которая настойчиво звала ее в гости каждый год в течение пяти лет. Можно сказать, получилось свадебное путешествие, тем более, что атмосфера тогда определению соответствовала. Шурик был в самом расцвете своей пылкой любви, да и деньги, привезенные из Израиля, у него еще не закончились, мама в Сибироновске не хворала, рабочий день не урезан, а Елисей еще не успел достать своим разгильдяйством и невоспитанностью. Так что каждый день он ловил любой удобный момент, чтобы залезть Валентине за пазуху и в прочие укромные местечки, а его голова поворачивалась вслед за малейшим ее передвижением, как посолнух вслед за солнцем. «Я за тебя почку отдам, кисуля». – «Надеюсь, не придется, Шурик», – отшучивалась она. От такой перенапряженной силы любви Валентине порой становилось неловко, о чем она впопыхах попыталась поделиться с Викой, – впопыхах, поскольку наедине Шурик их практически не оставлял, что также вызывало некоторую досаду. «Ты заслужила это, дорогая!» – негодуяще, почти гневно воскликнула Вика, не поняв Валентининых сомнений, в искренней радости от того, что подруга наконец-то очухалась от первого замужества и обрела прочное семейное счастье, прекратив перебирать мужчин, как огурцы на базаре. Впрочем, костер Шуриковой ревности уже тогда начинал разгораться, неожиданно то там, то сям с треском вспыхивая мелкими бенгальскими огоньками: «О чем это вы так любезно беседовали?.. Почему ты с ним

переписываешься?.. Позвони и скажи, что ты вышла замуж!» Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморгнул... Валентина старалась не обращать внимания на эти огненные стрелы, уворачиваясь от них то вправо, то влево.

Да нет, тогда все было, как говорится, окей. Шурик был любезен с Викой и ее эльзасским семейством, Вика не утратила своей русскости, оставшись такой же круглой, шумной и решительной волжанкой, эльзасский ее муж за годы Викиного владычества любви к русским не утратил, дети худо-бедно, но чирикали по-русски. Так что неделя прошла весьма задушевно, хотя, признаться, за семь дней, на каждый из которых приходилось знакомство с какой-либо местной достопримечательностью, Валентина так объелась средневековой Европой, что не смогла бы сказать, чем эльзасский Мюлуз, где жила Вика, отличается от немецкого Росток, в который они с Шуриком приплыли в начале своего путешествия. На Валентинин дилетантский взгляд, отличий было мало: ратуша, площадь рядом с ратушей, на которой играет джазовый оркестрик и пьют пиво горожане, ряды сцепленных между собой трехэтажных домиков с острыми, темными, вытянутыми вверх ребристыми крышами: светло-желтенькие домики, темно-желтенькие домики, ярко-желтенькие домики, между которыми были вставлены домики голубенькие и розовые. Немцы в растянутых майках и мятых джинсах. Французы в растянутых майках и мятых джинсах. Ах да, по Мюлузу текла темно-зеленая речка, а в Росток с моря задувал привычный пронзительный, забирающийся под мышки ветер. В этом отношении Мюлуз, безусловно, выигрывал, позволяя отдохнуть от суровой Балтики.

В Кольмар они выбрались уже перед отъездом: «Нельзя уехать из Эльзаса, не побывав в Унтерлинден!» – поправив очки и ткнув вверх назидательным перстом, объявила Вика. Шурику сакральное искусство, откровенно говоря, в пень не сдалось, но день надо было как-то проводить, так что поехали в Кольмар. Территория монастыря и сам музей в этот день оказались наводнены то ли корейцами, то ли китайцами, то ли японцами, а может быть, сразу всеми представителями трех этих любознательных народов, деловито, с каким-то озабоченным видом сновавших мимо шедевров христианской живописи. Шурик слился из музея через пятнадцать минут, отправившись пить кофе в примузейную кафешку, а Валентина с Викторией еще около часа мужественно бродили среди «самурайцев», как с досадой обозвала восточных туристов Вика. Когда терпение у обеих уже было на исходе, самурайцы вдруг разом куда-то схлынули, вероятно, дружно отправившись то ли фотографировать виды, то ли обедать, то ли делать зарядку. «Скорей!.. Грюневальд в капелле!» – воскликнула Вика, стремительно потянув Валентину за собой. Они выбежали из отдела археологии и, свернув влево, заскочили в капеллу, в центре которой стоял знаменитый алтарь: «Жемчужина Эльзасского средневековья», – с нескрываемой гордостью произнесла Вика. С такой же гордостью она рассказывала про своих детей: «Они по-французски говорят намного лучше, чем по-русски. Истинные эльзасцы!» Капелла поразила Валентину своей пустынностью, а алтарь показался сперва несуразно огромным. К счастью, у Вики зазвонил телефон и она, гортанно затрещав по-французски, убежала в сторону, оставив Валентину одну перед махиной распятия, которое постепенно начало заполнять ее свой непривычной мрачной тяжестью. Впрочем, тогда она толком не поняла своих чувств, поскольку через пять минут залился трелью и ее мобильный: истомившийся Шурик требовал закончить культурные вливания. Пришлось уйти. Но, тем не менее, соприкосновение с сакральным искусством не прошло даром, потому что в ту ночь Валентине приснился очень необычный сон, взбудораживший ее куда больше, чем новоиспеченный супружеский долг.

Во сне они с Шуриком плыли в маленькой узкой лодочке по широкой реке. Река была ярко-оранжевого цвета, а над водой поднимались клубы сизого пара. Видимо, местность была горная, потому что оба берега были заставлены валунами и усыпаны мелкими камнями, а бурное течение заворачивало речные волны в длинные, сердито

пенящиеся гребешки. Плыли они сами по себе, безо всяких весел, ловко лавируя между бурунами. Внезапно, как это бывает только в снах, не делая никаких движений, Шурик выпал из лодки в воду и, мгновенно подхваченный течением, начал стремительно удаляться из виду. Валентина подумала, что надо бы поплыть и подобрать его, но не могла понять, в какую сторону двигаться. Оглядевшись, она вдруг заметила двух мужчин, стоявших друг напротив друга: один на левом берегу, другой на правом. За спинами обоих начинался лес, но за левым – черный и ночной, а за правым – молочно-белый, зимний. Оба они смотрели на Валентину, словно чего-то от нее ожидая; почувствовав это, она занервничала, не понимая, что им нужно. Лодка перестала двигаться вперед, перейдя на кругообразное движение по спирали, постепенно направляясь к центру воронки, горящему темным оранжевым огнем. Наконец правый поднял вверх обе руки и спросил, обращая свой вопрос к левому: «Когда же будет конец этих чудных происшествий?» Ничего не отвечая, левый полез в карман и стал показывать большие карточки с цифрами, как судья на футбольном матче: один... два... девять... ноль. На нуле лодка затряслась, и Валентина проснулась с мыслью о том, хватит ли ей сил доплыть до берега и к какому из берегов лучше плыть? Рядом вдохновенно храпел потерявшийся во сне Шурик, – видимо, от переливов его храпа лодка и задрожала. Валентина досадливо поморщилась, повернулась направо, потом налево, потом не выдержала и толкнула Шурика локтем в бок, попав в острое ребро, – тот, как всегда, спал на спине, с рукой, закинутой за голову. Он тонко, как-то по-куриному всхлипнул и грустно перевернулся на бок. Сон, тем не менее, ушел, и Валентина принялась перебирать в памяти детали прошедшего дня.

«Ну, ладно! – не унывая, воскликнула Вика, когда они вышли в залитый летним солнцем двор монастыря. – Поедем в Изенгейм. От монастыря, правда, уже мало что осталось, но зато сохранилась конюшня, где, говорят, Грюневальд работал над алтарем. Там сделали харчевню, так что заодно и поужинаем». Идею ужина Шурик воспринял с гораздо большим энтузиазмом, чем музейные перспективы.

«А почему он писал в конюшне?» – спросила Валентина, оглядывая огромное, метров на сто пятьдесят, темноватое, вытянутое пеналом помещение с рядом узких длинных окошек по правой стене, в которые наискосок падал свет уходящего на закат солнца. Они наконец-то разрешили кулинарные споры, в которых Шурик во что бы то ни стало старался накормить Валентину улитками: «Я не могу их есть. В них кишки, набитые черт знает чем». – «Какие кишки, кисуля, их держат некормленными неделю!» – «Тем более не хочу несчастных козявок, погибших голодной смертью». – «Это деликатес!» – «Ну и прекрасно, ешь сам, а я возьму... что-нибудь более привычное». Во мнениях, наконец, сошлись на Бордо. «Так почему в конюшне-то?..» – «Ну... вроде как он повздорил с приором... – неуверенно растягивая слова, ответила Вика. – А конюшня эта принадлежала хозяйке гостиницы, что стояла здесь рядом, только здания не сохранилось. Ну и прецептор, настоятель монастыря, который позвал Грюневальда делать алтарь, снял у нее эту конюшню под мастерскую. Говорят, что когда он закончил работу, то они поженились. Кстати, его же звали не Грюневальд, ты читала? Доказали, что его настоящее имя – Готхард. Маттиус Готхард».

Это Валентина уже знала, – успела прочитать на медной табличке внизу алтаря. Маттиус Готхард по прозвищу Нитхард. Высокий, чуть рыжеватый немец с негустой мягкой бородкой, длинным, стремящимся к верхней губе носом и довольно широко расставленными небольшими глазами, смотревшими на окружающих задумчивым грустным взглядом. Они даже родились в один год, только Маттиус был на пятьсот лет старше.

Шурик, выпив два бокала подряд, окончательно повесел и, оседлав своего любимого конька, принялся вдохновенно рассказывать Вике о своей прекрасной жизни в земле обетованной. Вика, сдвинув брови и равномерно кивая головой, сосредоточенно



собирала информацию, сопоставляя сходства и различия эмигрантских судеб. Валентина же, которой уже порядком наскучили эти повторения израильского прошлого, принялась разглядывать залу, радуясь тому, что самурайцев не посвятили в бытовые подробности создания жемчужины Эльзаса и ни взгляд, ни слух, ни фантазия не спотыкаются о дальневосточную экзотику. Алтарь, скорее всего, стоял там, у противоположной стены. Рядом с ним – козлы, раскладная лестница, подставки для эскизов, холстины и прочий художничий скарб, разложенный по трем столам. Посередине была печурка, чтобы помещение протапливалось равномерно, а рядом с ней кровать, – за дрова надо было платить из своего кармана, так что далеко отходить от тепла не имело смысла, а зимой он вообще подтаскивал свое досчатое жесткое ложе вплотную к печке, за что Магда его нещадно ругала: «Не приведи Бог, вылетит уголек на покрывало, – сгорите, господин Готхард, так что косточек после не соберем!» – «Я уже сгорел от любви к одной жестокосердной польке, которая отказывается выйти замуж за художника, – обычно отвечал ей Маттиус. – Чем ей не угодили художники, Магда? Я получаю за свою работу весьма неплохо, прецептор не пожалел экипажа и лошадей, чтобы привезти меня в Изенгейм из Ашаффенбурга, перед этим два года выпрашивая у епископа Майнцкого разрешения выписать меня сюда. Что же надо этой ветренице, которая вертит мной уже третий год, как паяцем на веревочках, то одаривая меня своей милостью и допуская до себя, то отталкивая, по два месяца изводя насмешками и крутя хвостом перед всеми местными и проезжими! Тебя скоро станут в глаза называть шлюхой, постыдишь хотя бы сына!.. Я же приехал сюда только из-за тебя, и ты это знаешь!» – «Пустите, Маттиус! – вырывалась из его объятий Магда. – Я вправе вести себя, как захочу, и отвечать буду лишь перед Господом Богом да покойным Тадеушем, мир его праху! И не приплетайте сюда моего сына, я воспитала его честным и добрым католиком». – «Ты ведьма, – тяжело дыша и сжимая кулаки, с ненавистью шептал Маттиус. – Я знал это уже шестнадцать лет назад. Тогда ты ловко улизнула от костра, выскочив замуж за этого эльзасского простофилю. О, лживая подлая славянская порода!» – «Позвольте вам напомнить, что это именно вы шестнадцать лет наза, будучи мужем своей жены, совратили невинную девушку, лишив ее чести». – «Я тебя не насиловал, ты знала, что я женат, и, тем не менее, согласилась». – «Что толку перетирать прошлое? – притворно вздыхала она. – Пойду лучше перетру посуду...»

Так они препирались у печки, рядом с кроватью, – где ж им было еще рассуждать об этих смутных постельных делах? К столу, который стоял в другом конце конюшник-мастерской, как раз там, где сидели сейчас Валентина, Шурик и Вика, Магда подходила редко, только когда выпадал какой-либо особенный повод с участием гостей. Впрочем, как раз пятьсот лет назад, когда художник закончил центральную часть первой разверстки, такой повод случился, так что Магда, переодетая в выходное платье из темного, чернильно-синего бархата с окантовкой из беличьего меха, идущей по глубокому вырезу на груди, плечах и спине, сидела за грубым деревянным столом на изящном дубовом стуле с резной спинкой, принесенном из той части трактира, в которой изволили кушать лишь благородные господа. Для гостя, посаженного рядом с трактирщицей, был принесен второй стул из четырех. Маттиус сидел напротив на старом, скрипучем и колченогом табурете, при каждом его движении издававшим жалобный и униженный стон. На столе стоял парадный графин с предорогим мальтийским вином, вокруг которого на блюдах лежали рыбные и сырны закуски, – день был пятничный, так что мясо в память Иисусовых страданий вкушать не дозволялось. Желая похвастаться своим поварским искусством перед гостем, Магда самолично спекла яблочную шарлотку, ловко обойдясь без яиц. Вообще, на угощенье она не поскупилась, хотя и с годами становилась все прижимистой, не доверяя ключи от кладовой с припасами ни одной из служанок и время от времени проводя рукой по бедру, куда они спускались с искусно сплетенного кожаного пояса, застегнутого на талии. Гость же в этот день был не только почетный, но и знакомый с малолетства,

а землячество, как известно, связывает прочнее железной цепи: на чужой сторонushке рад родной воронushке. Родным городом всех троих был Вюрцбург, откуда сначала, выйдя замуж за проезжего поляка, уехала Магда, а затем, после смерти молодой жены, скончавшейся в родильной горячке, его покинул и Маттиус, перебравшись под крыло к епископу в соседний Ашаффенбург. Достопочтенный же Балтазар Фик остался жить в родных местах и стал достойным гражданином своего города, получив после успешного окончания базельского университета, должность архивариуса в магистрате. По неким не подлежащим огласке городским делам и личной просьбе бургомистра Балтазар был послан в Кольмар, по дороге в который не мог миновать Изенгейма, зная, что там сейчас обитают и художник, и трактирщица.

Встреча с последней произвела на него совершенно ошеломляющее действие. Магда и в юности была хороша собой, но по ее польскому происхождению из семейства портняжек обращать на девушку внимание благородным юношам не дозволялось, хоть они все равно засматривались на высокую статную белокурую польку. С годами же ее красота лишь расцвела и окрепла, так что сейчас перед архивариусом сидела зрелая, ядреная, словно яблоня в августе, богатая вдова-трактирщица, чья красота хоть и не совпадала с благородными канонами бледности, худобы и плоскогрудости, но от этого становилась лишь еще заманчивее. Балтазар распустил хвост, словно павлин, и осыпал даму комплиментами, вознося хвалу ей самой и ее столь же крепкому и устойчивому хозяйству. Магда наслаждалась, не обращая внимания на обрюзглую, изрытую оспинами физиономию архивариуса и награждая себя за минувшие приступы молодой бедной зависти, с которой она смотрела вслед богатым немкам Вюрцбурга. Лишь один Маттиус испытывал жесточайшие страдания, глядя на то, как вспыхивает румянец и играют ямочки на круглых щеках трактирщицы, лукаво порхают ее ресницы и вздымается пышная молочно-белая грудь. За три года изучив своенравный характер своей неверной редкой возлюбленной, он слишком хорошо знал, чем кончаются такие вечера, когда раздается этот прерывистый, звонкий смех, быстрый, как серебряный колокольчик. А уж если она одевала на голову новомодное арселе, украшенное по верху жемчугом, дела были совсем плохи, – до Маттиуса Магда снисходила лишь в домашнем, небрежно намотанном на волосы гебинде. В силу этих примет художник был мрачен, насуплен и неразговорчив, предпочитая вино сыру и рыбе. Когда принесли третий графин, Маттиус наконец почувствовал себя достаточно пьяным, чтобы решиться прервать сладко разворковавшихся голубков.





Родился в Москве. Учился в ГИТИСе, на театроведческом факультете. Как признается, серьезное влияние на формирование его личности оказал известнейший критик и литературовед А. Немзер, преподававший в то время театроведам историю русской литературы.

Работал уличным певцом, продавцом дисков, менеджером по туризму, школьным учителем, корреспондентом информ-агентства, шеф-редактором кино-редакции телеканала «Культура» и мн. др.

Пишет прозу, стихи и критику. Публикации в ряде российских литературных журналов («Дружба народов», «Урал», «Вопросы литературы», «Звезда» и др.). Область творческого и научного интереса – современный мир и современный человек. Любит ничего не делать, вредно питаться, путешествовать и фотографировать таблички с названиями городов в аэропортах и на вокзалах.

*Баллада о неизбежном*

Н.С.

Возможно, чуть позже я тоже уеду,  
конечно, на запад, конечно, туда.  
В Милан или Порту, а может, в Толедо,  
где вряд ли достанут беда и среда,  
где больше не надо безумствовать нервно,  
и ночью, и днем ожидая звонка,  
скрывая бывшее за тучными евро,  
не ждать ни кнута, ни суфле, ни пинка.  
Задерганный этой дурной канителью  
в кафе я зайду – равнодушный, смурной,  
возьму себе пиццу, а может, паэлью,  
и думать не стану, что там, за спиной,  
ты что-то готовишь, над чем-то корпеешь,  
и варишь, и жаряшь, и даже печешь.  
Ты делаешь то, что лишь ты и умеешь,  
а мне уже это не нужно.

Ну что ж,  
мне здесь хорошо, не ругайся зазря ты,  
достигнутое ведь приятней, чем план.  
О, милый мой запад, о, запад проклятый,  
ты разуму двери, ты сердцу чулан.  
Устав от друзей виртуально-невзрачных,

от лгущих в своем обожанье подруг,  
свои паруса я расправлю на мачтах  
и вскоре уйду.

Несомненно, на юг –  
в Сухуми, Афины, а может быть в Сочи,  
езде греет солнце и нежит волна.  
Уехать нетрудно от тех и от прочих,  
коль скоро душа раздраженьем полна.  
Ведь чувствам и телу нужна подпитка –  
и новые лица, и новая страсть.

И если дается возможность, попытка,  
она попадет обязательно в масть.  
Поэтому, слушая ритм буги-вуги,  
глазея на девок под ложный тамтам,  
я буду спокойненько плавать на юге,  
не думая вовсе, как ты где-то там  
приходишь куда-то с какой-то работы,  
и как утомленно отходишь ко сну...

Я вдруг прошепчу в пустоту: «Ну, чего ты?»  
И руку бесцельно вперед протяну.

Безмерные дали, заглохшие реки,  
леса и озера, снега и поля.  
На сердце стоит исправляющий брекет,  
пока что лишь боли в груди шевеля.  
Где нет никого, там заметней нехватка,  
и лезет из памяти детская чушь:  
то песня, то фото, то сон, то тетрадка,  
то клятва когда-нибудь взяться за гуж.  
Все это дерет, разрывает на части,  
как будто всю зиму не жвавший медведь.  
Пока не придумали действенный ластик,  
которым возможно бы было стереть  
искрящийся взгляд и румяные щеки,  
оранжевый свитер и джинсы в обтяг.  
Но выбор-то сделан, и быть одиноким  
вовек суждено.  
Только кто теперь враг?  
Я ем в теплом доме безадресный ужин  
и сплю на хрустящем комплекте белья...  
Что делаю здесь я, в краю вечной стужи?  
Зачем притащился я в эти края?

Восток многогранен – он дальний, он ближний,  
Цейлон и Китай, Сингапур и Лаос.  
Востри куда хочешь бедовые лыжи,  
пока эти земли тревожат всерьез.  
Но все направленья – конвенции, схемы.  
Норд-вест все коверкает, равно зюйд-ост,  
и прочая дрянь. Так что нету дилеммы,  
везде все тождественно.  
Мир очень прост.  
И если билет не без умысла купишь,  
желая уехать, не рухнув на дно,  
увидишь судьбою предъявленный кукиш,  
поскольку приедешь в страну «Все равно».  
Все стороны света бессовестно лживы,  
безбрежно тоскливы, двуличны насквозь.  
Куда б ни уехать, алкая наживы,  
все будет не в жилу, а накость и вкось.  
В себе поощряя, растя привереду,  
который не хочет наглядных побед,  
чуть позже, конечно, я тоже уеду,  
тебе, бесконечное счастье, вослед.

## Армения

**К**огда зажжется предо мной огонь тысячелетий,  
когда с безумием веков столкнусь я тет-а-тет,  
я обращусь к Тому, кто там за всех за нас в ответе,  
не зная, что Его молчанье тоже есть ответ.  
Я захочу прочесть стихи, но лишь исторгну прозу,  
убогий лепет снизу вверх о вечном токе дней.  
И горы поглотят мой крик и даже эха отзвук,  
и воцарится тишина опять среди камней.  
Услышу в их безмолвии священное бряцанье,  
и горечь за чужую боль впервые сдавит грудь.  
И спросит Бог: «Ты где? Ты с кем? Что ж на тебе лица нет?»  
И выведет меня на путь, на самый главный путь.  
И я совсем не удивлюсь, дойдя до перекрестка,  
ведь мысль о нем давно в душе пылает и горит,  
будя во мне и старика, и мужа, и подростка...  
А ты везде, со всех сторон, снаружи и внутри.  
Что вспомню я, когда себя навек запеленаю,  
когда забыть грехи и страх себе навек велю?  
Армению, которую я вообще не знаю,  
Армению, которую теперь навек люблю.

## Правило шитья

**В**от обертка, вот изнанка, что ценней – поди реши.  
Это суть, а то приманка, не ведитесь, малыши.  
Раз четыреста отмерьте, прежде чем изречь вердикт.  
В пыльно-желтой круговерти спешка только повредит.

Совпадение? Увольте. Слишком много фактов за.  
Есть ли чувства в голом кольце или в линзах на глазах?  
Мил не будешь против воли, не затащишь в рай силком.  
А сакральные пароли выставляют дураком.

Смена векторов, устоев в двадцать первом веке тренд.  
А прислушаться-то стоит, что талдычит оппонент.  
Много правд (иль нет их вовсе), это надо бы учесть.  
За сужденья Кто-то спросит, тут не потерять бы честь.

Вдруг все чуть неоднозначней? Будет маленький позор.  
Шаг назад, взглянуть иначе, вот и виден весь узор.  
Аккуратно, мерно, нежно судит мудрый судия.  
Где изнанка, там и внешка, это правило шитья.

## Джаз

**П**риглядись: увидишь, как время скачет,  
как до взрыва тает вся жизнь в кино.  
Что-то в прошлом, а что-то – нет, и значит,  
избежать решения не дано.  
Я хожу по городу. Ты – на даче,  
где играешь джаз на простом ф-но.

Мы повязаны, сплетены канатом,  
очень крепким, но слишком длинным. И тем,  
кто у кассы мнит избежать расплаты,  
надо подсказать пару новых тем.  
Вдруг я слышу джаз не чужой утраты  
на волнах «Шансона» и «Спорт-FM».

Лет тому пятнадцать, а может – двести,  
ты была манернее во сто крат.  
Заходил я с треф, ты их била крести,  
и любому мизеру я был рад.  
Здесь читатель ждет милой рифмы «вместе»,  
но звучит лишь джаз не его утрат.

Пронеслась, проехала половина  
и смотреть не хочется за плечо.  
Что за вал, за оползень, за лавина!  
От такого горестно, горячо.  
На вопросец едкий «Ну что, мужчина?»  
можно лишь ответить: «Да так, ничо».

И ведь я-то понял все это сразу,  
пусть тогда прикидывался дураком.  
От тебя хотел я услышать фразу  
человечьим сказанную языком.  
Ты ж играла джаз, я, внимая джазу,  
то летал в ночи, то дремал тайком.

И не крикнешь мыслям: «Сарынь на кичку!»,  
ведь давно сбежали все, ловкачи.  
Все теперь как надо, без помех привычно,  
только нерв бывшего все не молчит.  
На вокзал приду, сяду в электричку,  
она тонко свистнет и в смерть умчит.





## Алексей Ланцов

Aleksey Lantsov

Родился в Красноярском крае. Окончил филологический факультет Ульяновского педагогического университета. С 2006 года живет в Финляндии. Автор книги стихов «Русская тоска» (2003) и монографии «"Будут все как дети Божии...": Традиции житийной литературы в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"» (2011).

Поэзия

### Наставление

**П**ривет, привет! Очень жду :)  
Про дорогу не беспокойся – ничего страшного  
в ней нету.

Главное, не потерять паспорта и билеты (бери оба паспорта).

Если попадутся интересные собеседники,  
вообще замечательно время проходит.

Деньги спрячь в бьюстгальтер.

Возьми в поезд домашние тапочки – очень удобно.

В поезде всегда есть кипятик – кружка и пакетики с чаем будут очень кстати.

Питаться можешь лапшой быстрого приготовления.

Не помешает и бутылка воды.

Если сумка тяжелая,  
сдай ее на вокзале в камеру хранения  
(вынув все ценное и необходимое),  
только потом не забудь взять.

Туалеты на вокзале платные, но,  
предъявив билет, можно пользоваться бесплатно.

В вагоне два туалета – тот, который возле проводников,  
как правило, почище и получше.

Чтобы успеть умыться перед Москвой, надо встать очень рано.

Если не успеешь, не беда – умоешься на вокзале.

Но, кажется, я об этом уже писал...

Главное сейчас – получить вовремя визу.

Вот тел. Ольги, на всякий случай, + 358 506 729 953.

Что приготовить на обед? Вообще, чем любишь питаться?

Пятница – день постный, но если хочешь мясного,  
я приготовлю.

В дороге опасайся людей неславянской внешности  
и славянской тоже.

Книга, которую ты будешь читать (если будешь),  
может многое сказать о тебе. Пусть это будет не слишком  
известный автор. Но и не совсем неизвестный.

Избегай крайностей.

Идеальный вариант – книга без обложки.

И, чтобы ни случилось, не позволяй страху вытеснить надежду –  
иначе проиграешь.

Не доверяй уму, приученному мыслить диалектически,  
который из двух зол пытается выбрать меньшее.

Помни, что всегда есть какое-то третье решение,  
особенно в такой уникальной стране, как Россия.

А посему при приближении опасности не стоит убегать.

Помни: жизнь – это лабиринт, в котором не ты ищешь выход,  
а выход ищет тебя.

Счастливого пути!



\* \* \*

**Ж**енщина, читающая в метро,  
поминутно вскидывает брови.  
Над нею плакат:

монстры штурмуют Землю.

Что это: режиссерский вымысел или  
уже реальность?

По нашему тихому району ходят солдаты,  
палят из пушек даже по воскресеньям.

Что-то все время готовится  
и однажды – не ровен час – произойдет.

А до тех пор писатели-рецидивисты  
будут выпускать книгу за книгой  
для наших домохозяек,  
умеющих красиво вскидывать брови,  
любящих читать в метро.

2011





Ирина Глебова родилась в Саранске. Окончила факультет иностранных языков МГУ им. Н.П. Огарева. Второе образование – музыкальное. Автор двух поэтических сборников – «Камертон» (2003) и «Другие» (2008).

Дважды лауреат Международного фестиваля-конкурса «Литературная Вена» (Австрия, 2010 и 2012), бронзовый призер Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» (Бельгия, 2011), лауреат Конкурса им. В.Г. Короленко в номинации «литературный стиль» (Россия, 2012), бронзовый призер Международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль» (Россия, 2012).

## Ирина Глебова

Irina Glebova

### Целую, баба Клава

Проза

На четвертом этаже горит тусклая красная лампочка. Соседи ввернули, потому что обычные лампочки долго у нас не задерживаются. «По потолкам ходит и лампы ест – угадай кто?» – спрашивает сосед, Мишка-велосипед. «Воры», – говорю. «Не-а, не прально!» – Мишка щерит свой щербатый рот и в восторге брызгает слюной, – потолочный лампоед!» – «Попасть бы домой», – размышляю я вслух, нащупывая левой рукой кнопку звонка. «Трррр-трррр», – дребезжит звонок. Отку-да-то из недр квартиры слышатся торопливые шаркающие шаги. Ближе, ближе, вот уже совсем рядом с дверью. У самой двери шаги внезапно замирают, и я слышу, как старческая рука нащупывает глазок:

- Кто там?
- Баб Клава, это я, Наташа, – громко говорю я.
- Наташа, это ты?
- Да, да, это я, Наташа. Открывай.

За дверью слышится негромкая возня. Мишка-велосипед приоткрыл дверь и с любопытством наблюдает за происходящим.

- Кто это? – снова спрашивает приглушенный голос.
- Да я, я, Наташа. Я пришла домой.
- Ничего не вижу в темноте, – жалуются за дверью, – а Вы точно Наташа?
- Баба Клава, открой дверь, я замерзла, – я дергаю за ручку, – хватит уже меня допрашивать, я устала!
- Пароль! – голос за дверью суровеет, – если ты Наташа, скажи пароль!
- Я наклоняюсь к двери и громко шепчу в замочную скважину:
- Иосиф Виссарионович Сталин...
- О, чудо! Раздается долгожданный щелчок замка, потом еще один, и еще, и еще, а потом до меня доносится звук волочения, как будто от двери оттаскивают что-то тяжелое. И, как апофеоз пьесы под названием «Отпирание входной двери», скрежещет отодвигаемый бабулей железный засов.
- Ну и ну, – говорит Мишка, почесывая в затылке.
- А что метлу не приставила? – интересуюсь я, переступая порог квартиры.
- Много ты понимаешь, – говорит баба Клава, пододвигая табуретку к двери, – кругом ширмачи и прощелыги, последнее отнимут. А ты не смейся! Смеется она! Ишь, чего! Вон, вчера в передаче показывали – у пенсионерки из квартиры украли пиисят тысяч рублей.
- Действительно, – пожимаю я плечами, – поучительная история. А деньги откуда, не сказали?

Вот уже пять лет, после того, как отец женился второй раз, я живу у бабушки – бабы Клавы, или Клавдии Леопольдовны. Так называют ее соседи и наши немногочисленные родственники. Два года назад я окончила медицинский институт и поступила на работу помощником патологоанатома в один из городских моргов. В свободное от работы время я посещаю курсы кройки и шитья в швейном училище. Баба Клава панически боится микробов и после трудового дня заставляет меня дважды мыть руки: первый раз – хозяйственным мылом «75%», второй раз – туалетным мылом «Фиалковые зори». Если бы бабуля услышала про морг, я уверена, после работы меня бы дважды стерилизовали в автоклаве<sup>62</sup>. Именно по этой причине я говорю ей, что работаю участковым терапевтом.

Бабуля занимает светлую, довольно просторную комнату с окном на южную сторону. Этим старым, давно не крашеным окном комната смотрит на улицу Ленина, по которой первого мая традиционно проходит демонстрация с выцветшими транспарантами, из года в год сокращающая свои ряды.

В комнате Клавдии Леопольдовны увековечены высокая кровать с подушками, накрытыми голубой кисеей, два добротных, но потертых кресла, приземистый комод с телевизором «Спектр» и старый трельяж. Над комодом висят совершенно невозможные часы с полудохлой кукушкой, которая каждый час делает так: ккых! Чаше вылезать ей лень – сказывается возраст.

Моя же комната смотрит на север, солнце сюда не заглядывает, и мою жизнь освещает настольная лампа дневного света. На стенах – обои с серыми цветочками, которые когда-то были нежно-голубыми, но время и на них запечатлело свой след.

Бабуля продолжает копошиться возле входной двери, а я, наскоро перекусив, снимаю с полки швейную машинку и с головой погружаюсь в портняжное дело. На улице – непроглядная темень, тьма проникает в комнату, растекается по углам, а единственный уличный фонарь вздрагивает и подмигивает, когда мимо, рассыпая искры в морозном воздухе, проходит троллейбус. Неожиданно дверь распаивается, и в слепящей полосе света показывается заспанное лицо бабы Клавы в круглых выпуклых очках:

– Иди, иди, – взволнованно бормочет бабуля, – иди, пощупай! Пощупай, как накалилась!

Я бросаю недошитую блузку и бегу за бабой Клавой, которая вприпрыжку несется по коридору, зажав подмышкой деревянный костыль.

Бабуля врывается в комнату, и на меня тяжелыми волнами накатывает спертый воздух, принося запах старости, пыли и приторного мыла «Фиалковые зори». Я, как обычно, ласково щупаю батарею и говорю:

– А когда ты в последний раз проветривала?

Баба Клава молчит. Откидываю шторы и предъявляю бабе Клаве облезлое окно, наглухо заклеенное скотчем:

– В такой духоте можно легко потерять сознание. Это я тебе как врач говорю.

Не дожидаясь реакции, вытаскиваю из кармана портняжные ножницы, ловко поддеваю скотч, и в комнату врывается струя живительного морозного воздуха.

Баба Клава нацеливает на меня деревянный костыль. На ее лице появляется ироническая усмешка:

– А сквозит-то как! А? А сквозит-то! Чувствуешь? – и она подмигивает мне правой линзой испотевших очков.

Я хватаю бабу Клаву под руку и волочу на кухню:

– Мы идем пить чай! Чай! Чай, чай! За это время все проветрится.

Баба Клава изо всех сил упирается, скребет костылем линолеум, но уже через пять минут неравной схватки мы сидит на кухне в гробовой тишине, и бабуля обиженно

<sup>62</sup> Аппарат для нагревания под давлением выше атмосферного, при высокой температуре.

разглядывает мелкий горошек на занавеске. На плите бодро посвистывает пузатый чайник.

...просыпаюсь я в час ночи от того, что в дальней комнате происходит какая-то странная возня. «Неужто окно клеит?» – размышляю сквозь сон. Выхожу тихонько в коридор, по стенке, в кромешной тьме, добираюсь до комнаты, приоткрываю дверь и включаю фонарик. На кровати висится какое-то необыкновенное сооружение. При ближайшем рассмотрении оно оказывается коробкой из-под телевизора «Спектр». Баба Клава лежит, укрывшись до подбородка одеялом и засунув голову в коробку из-под телевизора. На голове – шерстяная коричневая беретка. Я направляю луч света в коробку и выхватываю полный укоризны старческий взгляд:

– Тебе все шуточки! А у меня вся голова выстыла! – плачет баба Клава, отворачиваясь от меня к стене.

На следующий день баба Клава поджидает меня около подъезда. Мы идем к соседке, живущей этажом выше, чтобы удостовериться, что батарея в ее комнате такая же горячая, как и у бабы Клавы. Соседка, Ворони́ха, живет одна. Ее сын, Павлик, служивший на Северном Кавказе, погиб в 1996 году, в самый сочельник; в те черные для нее дни она надела траурное платье, которое не снимает по сей день, за что получила свою нелепую кличку. После того как Павлика похоронили, никто больше не тревожит ее одиночество. Теперь в ее квартире проживают только старый котяра Маркиз да канарейка Варька, которые ежедневно примиряют ее с тяжелой утратой. Кот щурит тусклые глаза из приоткрытого ящика комода, и мне страшно хочется извиниться за наш внезапный визит:

– Светлана Яковлевна, можно мы пощупаем Вашу батарею, – говорю я и киваю на бабу Клаву, которая, без лишних церемоний, протискивается в дверь своим маленьким тучным телом.

– Конечно, конечно, – приветливо лепечет Ворони́ха, запуская нас в недра своей двухкомнатной хрущевки.

Баба Клава шаркающей походкой вваливается в комнату, находит взглядом батарею и тут же начинает ощупывать и оглаживать ее со всех сторон.

– Убедилась? – спрашиваю я. – Все батареи в доме греются одинаково. Все, мы уходим.

– Клава, ты бы успокоилась, – говорит Ворони́ха, – в церковь бы сходила. Что ты себя изводишь? И Наташеньке жить не даешь. Ну что тебе эта батарея?

Баба Клава не слышит – она пристально разглядывает отопительную систему.

– Может, чаю поставить? – предлагает Ворони́ха. – Я сегодня булочки пекла с маком, такие вкусные получились. Павлик их очень любил...

Баба Клава ставит нос по ветру, но я подхватываю ее под руку и волоку домой.

– Ты видела? Видела? – начинает бабуля еще на лестнице. – У нее на батарее – винтиль! Она им круть-круть, а у нас батарея кипит! Нет, ты видела винтиль?

– Уймись, – осаживаю я бабулю.

Забежав в квартиру, баба Клава первым делом спешит к батарее:

– Вот! Вот! Кипятошная! Ой, Наташенька, она лопнет сейчас, сейчас лопнет! – баба Клава укутывает батарею старым одеялом. – Ширмачка проклятая! Ты видела, какие хитрые у нее глаза? Видела? Ширмачка! Она только и ждет, кабы мы уморились! Баба Клава задохнется, а она квартиру-то и оттяпает! Оттяпает! И свою родню из Башкирии, татар этих криворуких, чурок безграмотных, сюда понавезет!

– Да ты в своем уме – кричу я, – какие татары? Она старая больная женщина! Ты посмотри на нее!

– А-а-а! Да ты с ней заодно! Вы сговорились! – напирает баба Клава, целясь в меня резиновым наконечником костыля, – как же! Как же! Куда ты хакелей-то своих водить будешь? Хакелей-то? К бабушке, чей, к бабе Клаве!

Бабуля громко сопит и волочит к двери трехногую табуретку.

– Метлу, метлу не забудь приставить! – кричу я. – А то Мишка-велосипед ночью залезет и золото-брильянты твои умыкнет.

Мы препираемся еще минут десять и, наконец, решаем поставить новую батарею, с семью секциями вместо пяти:

– Надо евро-батарею ставить. На ней стоит твой любимый вентиль, можно температуру прибавлять и убавлять, – советую я.

– А Люся говорит, самые лучшие батареи – чугунные. Они – вечные, – бормочет баба Клава, наливая воду в чайник.

– А что, Люся твоя – спец по батареям? – интересуюсь я.

– Ничего не слышу, – баба Клава повышает голос и хватается за голову, – что-то уши заложило. Милочка, измерь мне давление.

Во второй половине дня, перед началом моей смены в морге, мы идем в котельную. Там работает Вася-алконавт, который калымит продажей и установкой батарей. На наше счастье, Вася, вполне трезвый, сидит на ступеньках у входа и курит папиросу. Баба Клава делает страдальческое лицо и заводит плачущим голосом:

– Ребятки, у вас не найдется одна батарея для бабушки?..

– И для бабушки найдется, и для дедушки... – ухмыляется Вася. – Чугун?

– Чугун, сыночек, чугун, – баба Клава кивает головой, – семь секций.

– Ну, есть такая, – говорит Вася, пережевывая папиросу, – куда тащить-то?

– А почему? – спрашивает баба Клава.

– Три тыщи вместе с установкой, – Вася роняет окурочек и давит его сапогом, – ребята утром придут – заварят.

– Три тысячи! – баба Клава хватается за сердце. – Аж сердце защемило! Да вы что! У меня пенсия шесть тысяч! Да что ж это делается? Да что же это за нелюди за такие! Пожилую женщину хотят обобрать, инвалида второй группы! Да я еле хожу!

Я подмигиваю Васе и говорю:

– Отдай за две.

Вася приглядывается к бабе Клаве.

– Ну, ладно... – он нехотя поднимается с места, – что ж с вами сделаешь, бабы. Берите за две...

Лицо бабули озаряется счастьем, а я незаметно сую Васе недостающую тысячу рублей.

Я заступаю на дежурство в половину девятого вечера, опоздав на полчаса. День сегодня урожайный – жертва ДТП, два «подснежника» и утопленник. В помещении стоит невыносимый запах: «подснежники», найденные в овраге, оттаяли, и тухлая, месячной давности, плоть смердит, смешиваясь с запахом хлороформа и дезинфекции. К трем часам ночи мы с дежурным доктором Валерием Михайловичем приступаем к последнему объекту.

– Мужчина, 45-48 лет, рост 176 сантиметров, механическая асфиксия, внешних повреждений не наблюдается, – диктует Валерий Михайлович, подготавливая утопленника к вскрытию.

– На улице мороз минус 21 градус, где он воду нашел? – размышляю я вслух.

– А, синяк какой-то. Он в ванной утоп. Помыться решил. Первый раз за последние сорок лет, – усмехается Валерий Михайлович. – Квартирант его нашел. Пошли кофейку попьем. Что-то я выдохся.

Я снимаю фартук, перчатки и отправляюсь в наш закуток ставить чайник. В закутке, неплотно прикрываемом ширмой, стоит старый диван, два стула со щербатыми спинками и обеденный стол. Я заваливаюсь на диван, вытягиваю затекшие ноги и на три

минуты отключаюсь. Мне даже снится сон – Вася-алконавт затаскивает к нам в квартиру чугунную батарею.

– Подъем! – передо мной стоит Валерий Михайлович и плотоядно разглядывает мои ноги в черных ажурных чулках.

– Не холодно тебе в таких чулках по морозу рассекать? – он кладет мне руку на колено и начинает мягко поглаживать.

– А я поверх гамаша надеваю, – бормочу я сквозь дрему.

– Давай... по-быстрому, – шепчет он и начинает поспешно расстегивать пуговицы на халате. В закутке – мертвая тишина, слышно, как в покойнице капает вода, глухо ударяясь о дно эмалированной раковины.

– Угадай, что мне видно с дивана? – спрашиваю я Валерия Михайловича, приоткрывая один глаз.

– Ну?

– Мне видно чью-то мертвую ногу. По-моему, одного из «подснежников».

– А что тебе – картину Рембрандта должно быть видно, что ли? – удивляется Валерий Михайлович, – у нас тут, знаешь ли, не выставочный зал...

– Да ну, неохота. Давай лучше кофе попьем, – говорю я, спасаясь от пронзительного докторского взгляда, – мне утром еще с батареей бороться.

Руки Валерия Михайловича замирают на первой пуговице снизу и ползут в обратную сторону. Застегнув халат, он принимается шарить в полке, разыскивая кофейную банку, выныривает и неожиданно громко предлагает:

– Давай поженимся. Сколько можно тянуть? Надо просто пойти и расписаться.

– Ага, и где мы будем жить? У бабы Клавы? В общежитии с твоим братом? Или, может, в покойнице? Со жмуриками? – я киваю в ту сторону, откуда сквозь проем видна посиневшая нога. – Давай сменим пластинку!

– Ты никогда все не просчитаешь. Надо сделать шаг, и жизнь сама пойдет тебе навстречу. Проснешься однажды утром, а она скажет тебе... – в этот момент из од-

ного из «подснежников» бурно выходят газы.

Валерий Михайлович опечаленно машет рукой.

После дежурства и двух практических занятий в училище я, наконец, приезжаю домой. Тяжелое предчувствие меня не обманывает – баба Клава открывает дверь с первого звонка.

– Ну что, поставили батарею?

Баба Клава стоит посреди коридора растрепанная, мокрая, в одном тапке, губы ее дрожат.

– Я ведь с них глаз не сводила! Глаз не сводила с них! Не ела, не пила, даже в уборную не ходила! Наташенька, даже в уборную не ходила! Ведь пришли – не пойми кто: то ли батарейщики, а то ли бывшие зеки! Я сразу поняла – татары!



– Да что случилось-то?

– Ой, Наташенька! Обокрали! Обокрал-и-и! – воет баба Клава, размазывая слезы по морщинистым щекам.

– Обокрали? А что взяли-то?

– Взяли! П-п-п-плед! Плед новый голубой, помнишь, плед шерстяной, я его из Германии привезла, розовый такой, – на лице бабы Клавы отражается неподдельное горе, – и мешок гречки унесли...

Я стаскиваю сапоги и направляюсь в кухню. Открываю нижнюю антресоль – в самом углу стоит полный мешок гречневой крупы. Я начинаю заводиться:

– Вот крупа. Смотри – вот стоит твоя гречка. Полный мешок! Зачем им брать гречку?

– Ти-ти-ти! – баба Клава грозит мне пальцем. – А ты знаешь, сколько она стоит? Сто рублей килограмм!

– Ладно, что еще? Что еще украли? Плед? – я бегу в комнату и начинаю открывать все дверцы. Становлюсь на корточки и начинаю обшаривать углы. Баба Клава бежит за мной вприпрыжку, зажав подмышкой костыль, и громко икает. Отгибаю покрывало и принимаюсь вытаскивать из-под кровати артефакты времен последней пятилетки: две пары черных галош, всевозможные тапочки на толстой резиновой подошве, рыжий чемодан, горбатую настольную лампу:

– Плед у нее украли! Германский! Поди, при царе Горохе его покупала, его уж мошь давно доела! АААААпчхи! – моему негодованию нет предела.

В самой глубине стоит коробка из-под старой посылки. Заглядываю внутрь – так и есть: в коробке лежит плед, аккуратно сложенный вчетверо и покрытый толстым слоем пыли.

– Он? Ну? Он, что ли?

Баба Клава пристально рассматривает плед.

– Не он! Тот – новый был, голубенький такой, шерстяной, «Маде ин Герману» написано.

– Так голубой или розовый?

Клавдия Леопольдовна молчит и кривит рот.

– Ну ладно, не переживай. Напиши заявление на имя участкового, я по дороге на работу занесу. По порядку – что украли. Будем разбираться.

Лицо бабы Клавы светлеет. Она берет у меня коробку с пледом и уходит на кухню. Там она долго копошится, тихо бормоча что-то себе под нос.

Прямо передо мной, на столе, лежит невеста. Голова в белой фате отделена от тела по самые плечи. Опавшее платье с вынутыми кольцами покрыто грязью и черными потеками крови. На оборванном подоле тают комки снега. Губы невесты, еще бледно-розовые, приоткрыты, как в прощальном поцелуе, а на щеке застыли бисерины подтаявших снежинок. Если прищуриться, кажется, что невеста плачет. В ее облике есть что-то гротескное, как будто обозленный ребенок вдоволь наигрался со своей куклой, нарочно изуродовав ее.

Валерий Михайлович поясняет:

– Голову ей грейдером снесло. Трактор шел с приподнятым грейдером.



Вчера, в районе Резоватова<sup>63</sup> свадебный кортеж, летящий на скорости 150 километров в час, врезался в трактор. Поэтому сегодня дежурят оба доктора: и Валерий Михайлович, и Федор Андреевич.

На соседнем столе лежит маленькая девочка, тоже в белом платье и с бумажными голубыми бабочками в косах. В окоченевшей руке зажата увядшая белая лилия. Нижняя часть туловища девочки практически отсутствует, на единственной ноге блестит белоснежный башмачок.

– Хрустальные башмачки Гингеми, – говорю я, – такие носила Элли из «Волшебника Изумрудного города»...

– Что? – переспрашивает пожилой доктор Федор Андреевич. Я чувствую, как волосы на голове у меня начинают шевелиться, а по затылку бегут мурашки.

– Эй, ты чего, – Валерий Михайлович стучит по столу, – иди спиртику нюхни. А то и вовнутрь?

Я откупориваю бутылку с медицинским спиртом и отхожу к окну. Огромные сосульки спускаются с крыши до самой земли, упираясь в низкий карниз. Мне хочется, как детстве, сорвать одну, поменьше, и сгрызть с громким хрустом. На крыльце стоит Федор Андреевич и докуривает сигарету. «Интересно, о чем он думает? – размышляю я. – О превратностях бытия или о том, что дома кончилась картошка?» Доктор бросает окурок в снег и возвращается в помещение.

– К десяти приедут родственники на опознание, – говорит он, – из Ромоданова. Так что надо потерпевших привести в божеский вид.

– Жениться не передумал? – спрашиваю я Валерия Михайловича.

Он пожимает плечами.

– А водила-то, тот, что в тракторе, на девятый километр<sup>64</sup> отправился, – говорит Федор Андреевич.

В квартире витает аппетитный запах картошки, жаренной на сале. Баба Клава стоит у плиты и яростно скребет деревянной лопаточкой по дну:

– У меня, Наташенька, уже вторую неделю спина болит. Так болит – мочи нет! Ходить не могу, все косточки ломит! А терапевты ваши эти не понимают ни шиша. Зайдешь – сидит она на стуле на своем, бумагу марает. Каракули свои выписывает. Цаца белобрысая. Гулена крашенная. Даже и не взглянет на бабушку. Талон выдаст – и иди восвояси.

– Это называется старость, – прерываю я ипохондрический монолог, – от старости не придумали еще лекарства.

Баба Клава разглядывает меня сквозь очки:

– Все вы дохтуры такие – бессердешные! Сама-то! Небось, тоже старичков обижаешь? Не здоровкаешься, поди, с больными-то? Вот я спрошу в поликлинике, как там Наташа Тяжева работает! Как больные жалуются на нее...

– Не жалуются, – успокаиваю я бабулю, – мои больные вообще ни на кого не жалуются. Они у меня смирные.

– То-то! Смотри, не обижай бабушек!

Баба Клава перекладывает картофельные кубики на тарелку. В ее старческих глазах возникает нездоровый блеск:

– А я, Наташенька, знаешь, что? Я на етого пузьнесмена в собес написала.

– На кого?

– На Петра Канайкина. Он у нас в доме магазин открывает. Химией торговать будет!

– А тебе-то что? Ты что, с третьего этажа зубную пасту чуешь?

---

<sup>63</sup> Село, центр сельской администрации в Ичалковском районе Республики Мордовии. Население 307 чел. (2001), в основном русские.

<sup>64</sup> Простонародное название психиатрической лечебницы в селе Берсеневка (Республика Мордовия).

– Ти-ти-ти! Я сегодня чуть не задохнулась! У меня всю грудь как веревками стянули: ни вдохнуть, ни выдохнуть! И запах этот вонючий, ариелем против пятен, прямо сквозь стены пролазает!

– Твои «Фиалковые зори» еще ни один «Ариэль» ни перешиб. И что ты хочешь? Чтобы собес Петру Канайкину пальцем погрозил?

– Я хочу, – шепчет баба Клава, – чтобы мне новую квартиру дали! За моральный ущерб.

– Ну-ну, – я качаю головой, отправляя в рот ложку жареной картошки.

Весь следующий день баба Клава сидит, затаившись, в своей комнате. Часов в шесть по местному времени раздается звонок в дверь. Открываю – пожалуйста вам: на пороге стоит частный предприниматель Петр Канайкин в черном кожаном пальто, блестящих лакированных туфлях и с жалобным письмом из собеса в кармане. Наша красная лампочка потолочному лампоеду пришлась не по вкусу, поэтому она все еще сидит на месте. В ее сюрреалистическом свете все наши гости кажутся посланцами с того света, и я мысленно прикручиваю к голове частного предпринимателя Канайкина рога.

– Добрый вечер! Клавдия Леопольдовна здесь проживает? – Петр Канайкин щурит глаза, пытаясь разглядеть меня в красноватой полутьме.

– Наташенька, кто там? – слабым голосом кричит баба Клава из комнаты.

Я пропускаю частного предпринимателя в прихожую и принимаю из его рук дорогое кожаное пальто. Потом мы молча идем по коридору, и я стучусь в комнату бабы Клавды:

– Клавдия Леопольдовна, к тебе гости...

Петр Канайкин морщится, вдыхая терпкий запах мыла «Фиалковые зори». Баба Клава сидит в старом кресле с журналом «Лиза» на коленях и разглядывает какую-то сладкую парочку. На голове у нее высокий начес, сдерживаемый фиолетовым гребнем, а на коричневом трикотажном платье лежат глазастые красные бусы. Частный предприниматель Петр Канайкин мнетя, подбирая слова и, наконец, говорит:

– Клавдия Леопольдовна! (Старая гримза.) Ну зачем Вы так? (Ты реально достала, старая стерва.) Я думаю, мы сможем решить вопрос... (Когда ж ты сдохнешь?)

Баба Клава убирает журнал и кидает на частного предпринимателя испепеляющий взгляд:

– И не стыдно тебе! Пузьнесмен! Прощельга! Потравить решили нас, пенсионеров? Понавез он тут ариелей своих, порошков етих импортных! Конечно! Помрут бабушки, а квартиры ихни вам, прохиндеям, достанутся!

Я ретируюсь, оставляя несчастного предпринимателя Канайкина на растерзание бабе Клаве. Вытаскиваю швейную машинку и начинаю с остервенением строчить, чтобы не слышать бесконечные жалобы моей вышедшей в тираж бабки. Лампа дневного света бьет в лицо, и мне чудится – стоит обернуться, и я увижу лежащую на столе невесту, которой Валерий Михайлович аккуратно пришил голову, а я покрасила губы алой помадой. Нежные голубоватые лучи греют мне щеки, и я чувствую себя почти как дома. Нет, мой дом не здесь – не в этой квартире, где дряхлая кукушка из последних сил отсчитывает последние бабкины часы, и не там, куда отец, избегая смотреть мне в глаза, последние ннадцать лет водил женщин, не теряющих надежду обрести личное счастье. Мой дом – это городской морг №2. Это единственное место в мире, где мне рады и где я не чувствую себя «в гостях».

После получаса дипломатических переговоров баба Клава с частным предпринимателем Канайкиным (Петюней) едут покупать кондиционер. Из окна кухни я наблюдаю трогательную картину: баба Клава, поддерживаемая под руку ширмачом и прощельгой Петей, забирается в просторный джип. Из окна этажом выше ту же картину наблюдает Ворониха, и слезы горечи и умиления текут по ее осунувшимся щекам, падая мне на подоконник. Баба Клава улыбается и машет мне рукой: «Пока-пока...»



В субботу мы сидим дома и ждем прибытия кондиционера. Баба Клава бродит туда-сюда по квартире, громко шаркая тапочками, и что-то бормочет себе под нос. «Тррр-трррр», – тарыхтит звонок. Я подхожу, чтобы открыть, а баба Клава всем телом виснет у меня на руке и пытается оттащить от двери:

– Нет, не открывай! Не открывай! Уходите! Кыш! Нам чужого не надо!

За дверью приятный мужской голос произносит:

– Кондиционер «Philips» вы заказывали?

– Нет! Это не мы! Уходите! Везите его назад!

Я, не успев оказать сопротивление, валюсь на пол, сбитаая деревянным костылем:

– Ты что? – ору я. – Белены объелась? Это же твой кондиционер привезли!

– А ты видела образину-то его? Видела? Пети-то этого? Как у порося откормленного! Это же бандит! Вор! Он же нас ужокошит! Кокнет нас! Вот пойдём мы с Марь Николаевной гулять на аллею, а он нас из ружья-то снимет! Вона там как видно-то все из девятиэтажки!

Я отталкиваю бабу Клаву и пытаюсь открыть дверь.

– Теперь я понимаю, – кричу я, – почему твой муж от тебя слинял! Если бы я была твоим мужем, я бы не в Пензу, я б вообще в Антарктиду убежала! К пингвинам. Чтоб только тебя не видеть!

– Копся! – вопит баба Клава. – Сикильдьявка! Ты мне по гроб жизни обязана! Я тебя воспитывала! Ночей не спала! Приютила тебя в своем доме! Пока отец твой, турок етот, татарин проклятый, курв домой водил. Все подушки с одеялами прокурил у меня! Не успела мать в землю улечься, а он уж привел шалаву какую-то заморскую! – баба Клавы переводит дух. – Ой, доченька моя бедная, ласточка моя... Схорони-и-ли...

– Прекрати! – ору я. – Заткнись!

Неимоверным усилием мне удается отодвинуть от двери бабу Клаву, трехногую табуретку и метлу. Я в бешенстве орудую бесконечными запорами и, в конце концов, открываю дверь – на пороге стоит симпатичный парень в белой кепке с надписью «Служба доставки». Он улыбается, глядя на кого-то позади меня (я даже знаю, на кого) и говорит:

– Улица Ленина, дом 35. Квартира 70.

Я выскальзываю из квартиры и тащу симпатичного парня в белой кепке на четвертый этаж. Там я звоню в квартиру к Воронихе. Ворониха удивленно смотрит на меня, на парня и на объемную коробку.

– Заносите, – говорю я.

Ворониха вопросительно смотрит на меня большими печальными глазами.

– Это подарок, – объясняю я. – От Союза ветеранов боевых действий. Вчера военком приходил, никого не застал дома. К весне решили матерям помощь оказать. Солдатам, представленным к государственной награде, ставят кондиционеры.

Ворониха взволнованно вытирает руки о цветастый передник и повторяет «спасибо, боже милостивый, спасибо». Симпатичный парень с кондиционером «Phillips» исчезает в ее квартире.

...ночую я в общежитии у Валерия Михайловича. Его брат уехал на выходные навестить родителей, и Валерий Михайлович целый час обладает мной на узкой железной кровати, которая без зазрения совести кряхтит и постанывает, придавая нашему нехитрому занятию походный шарм. На сорок пятой минуте я испытываю нечеловеческий оргазм, вызванный воспоминаниями о кондиционере «Philips» и бабе Клаве, которая под ручку с Марьей Николаевной прогуливается по аллее Дружба. Потом мы включаем DVD, садимся на табуретки и смотрим «Аэроплан» с Лесли Нильсоном в главной роли, а на приоткрытую форточку липнет мокрый снег, собираясь в маленькие серые комочки.

В понедельник я возвращаюсь с дежурства и обнаруживаю, что входная дверь приоткрыта.

На площадке царит гнетущая тьма – красная лампочка блестит острыми краями в полумраке, вдребезги разбитая пьяными подростками.

– Баба Клава! – спрашиваю я. – Ты где?

Захожу в квартиру – никого... В углу аккуратно стоит лысая метла, а возле нее – трехногая табуретка. В комнате бабы Клавы сладко пахнет духами «Красный мак», столь обожаемыми бабулей, смешанными с вездесущим запахом мыла. Значит, ушла в собес. Набираю номер бабы Клавы. Пользоваться сотовым телефоном она не умеет, но умеет нажимать кнопку приема. «Абонент недоступен», – буднично сообщает телефон. Кто бы мог подумать! Захожу на кухню и вижу на столе какой-то лист, испещренный нестройным старушечьим почерком:

*Уважаемый Владимир Иванович!*

*Слезно прошу Вас спилить две березы перед моим окном. Березы тьмут в окно своими ветками, а когда обрастают листьями, загораживают мне свет. Я – инвалид второй группы, и сидеть в темноте вредно для моего здоровья...*

«Черновой вариант, – думается мне, – значит, точно понесла в собес».

Выхожу на площадку и стучусь в квартиру к Мишке-велосипеду. Мишка, одетый в белую майку и полосатые семейные трусы, выглядывает из-за двери. Его аккуратный, в полосочку, зад отражается в зеркале напротив дверного проема:

– Ну ты че ломишься так поздно?

– Привет! Бабулю не видел?

– Видел. А что?

– Куда она пошла?

– На пиво дашь?

– Да. Говори, куда бабуля пошла.

Мишка щерится, демонстрируя желтые нечищенные зубы, и протягивает руку. Я выдаю ему стольник.

– Благодарю, – Мишка отвешивает мне низкий поклон. – Часов в девять еще ушла. С клюшкой и черной сумкой.

– А в какую сторону пошла?

– В сторону пруда, по короткой дороге. И дверь забыла закрыть.

– А что сам не вышел, не закрыл? Я же тебе ключи дала!

Мишка мнетя на пороге:

– Ну, понимаешь, тут Валька зашла. Неохота было выходить...

Я начинаю волноваться. Короткая дорога пролегает через городской пруд, зимой ее заносит сугробами, и дети катаются на ледяных с крутого склона вниз. Набросив куртку, я бегу по подтаявшему снегу к пруду. Где-то позади меня остаются два тускло горящих фонаря, впереди – непроглядная тьма, едва освещаемая узким серпом луны. Навстречу мне идет какой-то мужичок с санками, груженными микроволновой печкой.

– Вона, месяц вылез. Морозит! – говорит мужичок, показывая на ясный серп.

Дорогая вся испещрена следами детских, взрослых и старческих ног. Сапоги, валенки, ботинки, маленькие уколы шпилек. Я замечаю, что из сугроба торчит небольшой темный предмет. Раскапываю vareжкой снег – так и есть: сотовый телефон. Прележав целый день во влаге, телефон не подает признаков жизни, на корпусе замерзла вода.

– Потеряла что-нибудь? – проявляет участие «астроном» с санками, неотрывно глядя на луну.

– Кого-нибудь, – уточняю я, – бабку свою потеряла. Утром ушла в собес и до сих пор не вернулась.

– Ты бы в больницу позвонила, доченька, – советует мужичок, – ей, небось, поплохело, да забрали ее.

Дома я обзваниваю все городские больницы, всех своих знакомых врачей. Баба Клава бесследно исчезла. Здесь, на тумбочке с телефоном, уткнувшись лицом в записную книжку, я и засыпаю прямо с трубкой в руках и сплю беспробудно до самого утра, пока меня не поднимает старый будильник, тарахтящий из бабусиной комнаты. После чего я сплю еще полчаса и, разбуженная шумом воды в соседской квартире, приезжаю на работу с огромным опозданием.

Дежурит Федор Андреевич. Он сидит в нашем закутке и со вкусом уписывает бутерброд с колбасой.

На столе в покойницкой лежит одно-единственное тело. И это тело кажется мне до боли знакомым. Баба Клава укоризненно смотрит на меня правым приоткрытым глазом. Голова ее неестественно свисает набок. Седые мокрые волосы спутались, как мочалка, на скуле чернеет синяк. К ногам, обутым в старые сапоги, налипли комья илестой грязи и песка. Один сапог просит каши, и сквозь дырку выглядывает розовый носок, подаренный мною бабе Клаве на очередной женский день.

– Вот правильно, – говорю я, – надела, наконец, носки. А то не нравятся они ей, видите ли. Цвет слишком броский! А сапоги твои выкинуть давно пора и новые купить. Только тебе ведь жалко! Как же, сапоги выбросить! Ты же в них при царе Горохе еще щеголяла!

Баба Клава не отвечает и продолжает смотреть в пространство голубым глазом с расширенным зрачком.

– Че молчишь? Нечего сказать, да? – я машинально надеваю резиновые перчатки. – Березы ей свет загораживают. В окно тычут ветвями. Жить ей темно!

Из закутка выглядывает встревоженный Федор Андреевич с куском копченой колбасы в зубах.

– Дура ты старая! – кричу я. – Дура! Понесло тебя в собес! Сидела бы вон, сериал свой смотрела, как все бабки! Что ж тебе не жилось-то по-человечески?

Федор Андреевич подходит к столу, где распласталась окоченевшая баба Клава.

– С тобой все нормально? – он пытается поймать мой взгляд. – Ты чего к покойной пристаешь?

– Знакомьтесь, – говорю я, – баба Клава. Клавдия Леопольдовна.

Федор Андреевич морщит лоб и нащупывает в кармане пачку сигарет:

– Пойду покурю.

– Заметь – никто с тобой не хочет общаться, – говорю я бабе Клаве, – потому что ты кого хочешь достанешь. Правильно – молчи. Ты не представляешь, как приятно иногда посидеть в тишине.

Через приоткрытую дверь мне слышно, как Федор Андреевич разговаривает с Валерием Михайловичем:

– Да. Да... Она... Да утром ее привезли... Я подумал, бомжиха какая-то... Нет, возле пруда нашли... Перелом шейного отдела позвоночника... Да леший ее знает! С берега на вернулась, скорее всего...

Через час приезжает Валерий Михайлович, и они с Федором Андреевичем уговаривают меня уехать домой.

Домой я приезжаю с бутылкой водки «Столичной» и двумя пачками сухариков. Я вываливаю сухарики в тарелку, наливаю стопочку и хочу уже почтить светлую память бабы Клавды, как вдруг в уши мне ударяет непривычная тишина. Я приоткрываю дверь в комнату бабы Клавды и вижу, что дверца у часов открыта, а старая кукушка

висит на металлической пружине головой вниз. Часы остановились около суток назад, и мертвые стрелки застыли на середине своего бесконечного пути. Я вырываю почившую кукушку и выбрасываю ее в урну. Потом спешно открываю гардероб, вытаскиваю оттуда коробку с туалетным мылом «Фиалковые зори» и, дождавшись, пока тротуар опустеет, высыпаю в окно сиреневые кирпичики ароматных упаковок. Пачки с мягким стуком ударяются о заснеженный тротуар. Улыбка озаряет мое обветренное лицо и не сходит с него целых полчаса, пока последняя упаковка с мылом не исчезает в кармане очередной незнакомой тетки.

...Когда вся мебель из комнаты бабы Клавы вывезена на свалку, а зачищенный дощатый пол готов к грунтовке, я замечаю между половиц маленький клочок бумаги. Тяну за краешек, и из-под половицы показывается небольшой тонкий конверт. На нем неровным почерком Клавдии Леопольдовны написано: «Наташеньке»:



*Дорогая моя внученька Наташенька. Если ты сейчас читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Под этой половицей на черный день я спрятала наши срамные драгоценности. Сама знаешь, какие сейчас времена — мировой кризис, кригом война, а коммунизм так и не построили. Не сегодня-завтра все мы помрем с голоду. Отцу про тайник не говори — он тебя как лику обдерет, и все своей курве отдаст. Останемся ни с чем. Драгоценности перебрать, а то турки залезут с первого этажа и все украдут. Мишке-велосипеду не доверяй, он давеча к нашей квартире свои ключи примерял (сама слыхала). Хачелей домой не води — им всем только одно надо. Замуки выходи непорочной.*

*Целую, твоя баба Клава.*



**Кристина Маиловская**

Kristina Mailovskaja

*Проза*

## Слева – гор, справа – гор

Семейные байки

Слева – гор, справа – гор, это есть Кавказ.  
Там Армяне сочиняют свой любимый джаз.

Армянский фольклор

\* \* \*

**М**не тридцать пять лет. Я уже второй раз замужем. У меня семилетний сын. Приезжаю в гости к своему папе, которому пятьдесят четыре года. Он, видя, как я начинаю принаряжаться вечером, всякий раз с пристрастием спрашивает: «А ты куда? С кем? Когда вернешься?»

Получив ответы на все вопросы, крутит ус, нервно ходит по комнате пять минут и потом добавляет: «Ладно. Только не опаздывай. И держи телефон рядом – я позвоню».

\* \* \*

**Б**ыл момент в моей жизни, когда мне стало тяжело жить с собственной матерью. Мне тогда было восемнадцать лет. И я решила пожить с бабушкой и дедушкой, папиными родителями. Бабушка – русская, дедушка – армянин. Жили мы в Волгограде.

В тот период я училась в университете. Каждую субботу я с утра шла в библиотеку. Читальный зал был вторым домом. Там не только читали, но и знакомились, спали, ели и пили.

Мой дедушка всю жизнь шил чехлы для машин. Я не видела, чтобы он читал что-то кроме газет. Когда он замечал, что в очередное субботнее утро я куда-то намыливаюсь, то с подозрением спрашивал:

– Ты куда идешь? Выходной же.

– В библиотеку, – отвечала я, подкрашивая ресницы у зеркала.

Родилась в Азербайджане, в городе Сумгаите в многонациональной семье. В десять лет с семьей переехала в Волгоград, там закончила школу и поступила в Волгоградский педагогический университет на филологический факультет, после окончания которого уехала в Санкт-Петербург, где прожила десять лет. Вот уже почти три года, как живет в западной Финляндии, недалеко от города Пори. Стихи начала писать еще в детстве. Сознательное творчество началось примерно с семнадцати лет. В Волгограде некоторое время посещала литературную студию при Волгоградском союзе писателей. Публиковалась в Санкт-Петербургском литературном журнале «Северная Аврора», в финляндском литературном журнале «Иные берега Viieaat rannat», в «Литературной газете». Заняла третье место в поэтическом конкурсе «Ветер странствий», организованном в Риме в память о княжне Елене Волконской, в 2012 году стала номинантом на соискание Григорьевской поэтической премии в Санкт-Петербурге.

цы у зеркала.

Дедушка не был строгим, как иногда бывают кавказцы. Он улыбался.

– В биБЛЯтеку? А-а-а... Это теперь ТАК у вас называется?..

\* \* \*

Я жила в однокомнатной квартире у бабушки с дедушкой. С ними было тесно, но комфортно. С мамой было просторно, но душно. Жили мы в Волгограде.

Однажды из Питера вернулся мой папа. Это были девяностые годы. У папы что-то не сложилось с бизнесом. Он вернулся без денег. Жить ему было негде. Квартира осталась у мамы.

Папа приехал к родителям. Решил перекантоваться месяц-другой, а потом квартиру снять. Когда деньги появятся.

Стало еще теснее. Но было весело. Потом приехал дядя Андрей.

Дядя Андрей – это дедушкин младший брат, шизофреник. Два раза в год, а то и чаще он лежал в больнице. А перерывах жил у другого своего брата – дяди Юры. Но на тот момент он поругался с дядей Юрой. Вернее, даже не с ним, а с его женой – Валею.

Андрей только что вышел из больницы. Своей семьи у него не было. Идти ему было некуда. И он попросился к бабушке с дедушкой.

У Андрея был сложный характер. В армянской родне его не любили. Никто не хотел брать его к себе.

Дедушка знал, что Андрей – не подарок. Но деваться некуда. Брат же все-таки. Бабушка была понимающей женщиной.

Андрей спал на кухне. На раскладушке. Я спала с бабушкой. Дедушка спал отдельно. Папа на раскладном кресле.

Андрею приходилось вставать рано, чтобы на кухне можно было передвигаться. Он сидел в уголке, стараясь не создавать транспортного коллапса.

Я училась на филфаке. Приходилось много читать. Занималась я за кухонным столом. Ловила момент, когда стол был свободен.

Дядя Андрей все время сидел в уголке. Зубов у него почти не было. Он уже давно принимал сильные лекарства. Вид у него был жалкий. Вид больного, неприкаянного человека.

Андрей был малограмотным. К тому же он все время находился под таблетками. Говорить нам по сути было не о чем. Он сидел тихо.

Как-то раз я читала, конспектировала. Андрей, причмокивая, пил чай. Я не смотрела на него. Но чувствовалось, что ему хочется поговорить.

Он поймал мой взгляд.

– Ты так много читаешь. Это вредно, Кристина. До добра это не доведет. Можно чокнуться.

И отхлебнув чаю, добавил для убедительности:

– Я тебе правду говорю, можно чокнуться. Видишь, что со мной стало.

Прошло много лет. Мой дедушка умер. Андрей теперь живет в сумасшедшем доме безвылазно. Бывает, я вспоминаю его слова, когда зачитываюсь допоздна.

\* \* \*

У моего армянского дедушки было своеобразное чувство юмора. Иногда трудно было понять, шутит он или говорит серьезно, пребывая в своей абсурдной реальности.

В девяностые годы мы жили небогато. Можно сказать, бедно. У папы вечно не ладился бизнес. Мама большей частью не работала.

Я была уже студенткой. Денег не было. Дедушка с пенсии мне немного подкидывал на мелкие расходы. На это удавалось купить когда книги, когда – колготки. На остальное не хватало.

Как-то раз пришла к деду в гости. Он всегда был мне рад, хотя в трезвом виде не особо много разговаривал.

Тут, смотрю, полез куда-то. С антресолей какой-то мешок тянет. Пыхтит. Достал. Мешок пыльный весь. Вытаскивает что-то непонятное.

– Я тебе тут нашел кое-что. А то ходить тебе не в чем, – говорит и протягивает мне.

Беру. Смотрю. Старый-престарый свитер. Да еще и мужской к тому же. Но не хочется деда обидеть. Стараюсь объяснить помягче.

– Дедуль, ну даже не знаю... Похоже, он не новый...

Дед, абсолютно не смутившись, отвечает:

– Джана, какой-такой новый? Э-э-э... откуда у меня новый? Да в этом свитере уже человек пять умерло.

## Хород-херой Волгоград

**Я** жила в Волгограде. Закончила университет. Работала учителем литературы в школе.

Однажды, собираясь на работу, вижу, что набойка на каблуке отлетела. Решила заскочить к сапожнику. У меня был один знакомый сапожник – армянин по имени Гурген.

Стояла поздняя осень. Холодно уже. В Волгограде в это время ветра сильные. Стучусь к сапожнику в окошко. Он в будочке на рынке работал. Заходи, говорит. Поболтали. То да се. Он мне предлагает, мол, подожди минут десять – я тебе все сделаю. Сразу заберешь.

У меня время было. Решила подождать.

Сажу в его каморке. У него плитка работает. Но он все равно холодно, он сидит укутанный весь.

Вдруг стук в окошко. Лицо просовывается. Страшное такое. Парень лет двадцати пяти. Кожа серая. Глаза безумные. Предлагает дубленку новую. Почти задаром.

– Э-э-э... ты надоел уже. Мне ничего не надо. Иди отсюда! – и мой знакомый сделал резкий жест, чтобы парень закрыл окошко.

Лицо исчезло.

– Эти нарики задолбали уже, честное слово, – качает головой Гурген. – Ты видела этого? Он каждый день тут на рынке ходит. Все время что-то предлагает. Сто процентов, ворованное.

Гурген ремонтировал мой сапог и говорил, не поднимая головы.

– Мне их жен, матерей жалко. Их мне не жалко. Это уже не люди. Это трупы.

Мне стало тошно.

Сам Волгоград осенью не добавляет оптимизма. Серый город. Грязища. Раздолбаные дороги. Переполненные маршрутки с угрюмыми лицами.

Сапожник Гурген сидит целыми днями в тесной убогой каморке. У папы Карло, наверняка, каморка была лучше. Я знала, что у него четверо детей. И что он перебивается.

Я сама я уже пару месяцев работала в школе и получала такие гроши, что стыдно было друзьям рассказывать

А тут еще это лицо. Боже, какое страшное лицо!

Гурген доделал мой сапог. Достāju кошелек. Гурген хватает меня за руку, пытаюсь остановить. Не хочет брать деньги.

– Слушай, убери, а! Я тебе говорю! Не позорь меня!

Я пытаюсь сунуть в руку – не берет. Оглядываюсь по углам – хочу положить куда-нибудь.

– Я тебе говорю, перестань! Ты меня обижаешь! – резко говорит он и встает, давая понять, что разговор окончен. – Отцу привет передавай. И деду тоже.

Я понимаю, что он не возьмет деньги.

– Ладно. Спасибо!

– Давай-давай! На работу опоздаешь.

Выхожу в эту холодную серость. Иду по рынку. Продавцы раскладывают на прилавки свой товар. Начинается рабочий день.

Вдруг, вижу, идет это лицо. Парень этот страшный. На полусогнутых идет. Дубленки уже нет. Уколотся уже, значит. Лицо сползло. Уголки губ обвисли.

Мне так стало тяжело, что я даже свернула на другую улицу.

О, Господи! Что ж это такое делается?!

Я решила пройти одну улицу пешком. До следующей остановки. Чтобы прийти в себя немного.

Маршрутка задержалась. Я уже ооченела. Карабкаюсь в маршрутку в согнутом виде. По утрам вечно давка. Залезла. Еле разворачиваюсь, чтобы закрыть дверь. Теперь надо сесть. Маршрутка резко двинулась. Меня сильно качнуло.

– Девушка, подождите пару остановок и место освободится, – говорит водитель, не поворачивая головы.

Вот так всегда! Почему бы не предупредить сразу, что мест нет?

Стою раком. Передо мной так же раком стоит какой-то мужик, от которого плохо пахнет. Сзади кто-то пытается передать через меня деньги.

И так каждый день. Жизнь через преодоление.

Через пару остановок, наконец-то, освобождается место, и я сажусь.

Боже! Передо мной этот тип сидит. Этот наркоман. Он едет с закрытыми глазами. Лицо похоже на унылую маску со спущенными уголками губ. В руке он держит бутылку кока-колы. Открыв глаза, он подносит ее ко рту, но тут же засыпает, не успевая отхлебнуть. Так и сидит с приоткрытым ртом. Это повторяется не раз. Все его разглядывают.

Он открывает глаза. И скрипучим голосом спрашивает:

– Это не «Юность» еще?

Он только сел. До остановки кинотеатра «Юность» еще далеко.

Все молчат. Он снова засыпает.

– А это еще не «Юность»? – спрашивает он через две минуты, приоткрыв глаза.

До «Юности» было минут двадцать езды.

Все молчат.

Прошла минута.

– А это не «Юность»? – бормочет он, вглядываясь в грязное окно.

Все понимают, что дорога будет непростой.

– Братан! Мы тебя разбудим. Не бойсь! – не выдержал мужчина лет тридцати. – Спи спокойно!

– А это еще не «Юность»? – через минуту сипит наркоман.

Все потеряли надежду. Перестали реагировать. Девчонки-студентки на заднем сиденье хихикали.

Наркомана уже никто не разглядывал. Устали. Все-таки зрелище не из веселых.

Рядом со мной сидел дедуся лет восьмидесяти. Сморщенный весь. Он единственный смотрел на наркомана с участием.

Народ менялся. Вновь прибывшие проникались ситуацией. Поначалу напрягались – отвечали, потом так же теряли надежду.

Наконец, мы подъехали к остановке кинотеатра «Юность». Напряжение висело в воздухе.

– Эй, братан! Твоя остановка! Выходи! – тот же мужчина тридцати лет хлопнул наркомана по плечу.

Тот разлепил глаза. Неспешно закрутил бутылочку крышечкой и пополз к выходу.



Он вышел. Все вздохнули.

Дедуся, сидевший рядом, повернулся ко мне.

– А хлопец-то с ночной смены, небось. Видала, какой уставший? Я тоже двадцать лет в ночную отработал. Знаю, что это такое, – улыбнулся мне дед, подбирая сползавшую с колен авоську.

Все продолжали ехать молча. Никто не стал разубеждать деда.

## Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград!

Когда мне было пятнадцать лет, мои родители развелись. Это было начало девяностых. Мой папа решил, что пришло время делать большой бизнес и двинул в Питер. Там у него были какие-то армянские друзья, которые должны были помочь. Он занялся пошивом кожаных курток. Тогда кожаные куртки носили все. Папа надеялся разбогатеть.

Я, конечно, переживала, что родители развелись. К тому же моя мама – женщина восточная. Эмоциональная. Кричала, что не выдержит и сделает себе «шахсей-вахсей».

По просьбе мамы я даже позвонила папе в Питер. Пыталась объяснить, что так делать нельзя. Говорила я дерзко. Папа молчал на другом конце провода. Ждал, когда я выговорюсь. И когда я замолчала, спокойно сказал:

– Яйца курицу не учат.

Больше я к этому разговору не возвращалась. Хотя остался неприятный осадок. Мне было стыдно, что нахамила отцу. Хотелось попросить прощения. Но не хватало духу.

Прошло два года. Я поступила в университет и тогда еще жила с мамой. Папа иногда наведывался к нам в Волгоград, но постоянно жил в Питере.

Тут нам в университете предложили путевки по дешевке в пансионат под Питером. Зимний отдых: лыжи, баня, дискотеки. Мы с подружкой с радостью согласились. Подружка ни разу не была в Питере, а я обрадовалась возможности повидаться с отцом. Но ему не сообщила. Решила, пусть сюрприз будет.

Мы неплохо отдыхали в пансионате. Правда, больше пили, чем катались на лыжах. Но все равно было весело. Жили мы в Гатчине.

В один из дней собрались в Питер. Поехали на электричке. Адрес папин я знала.

Было очень холодно. Мы оделись не по погоде. В ажурных колготках и мини-юбках. Обильно накрасились. Прически в стиле «Не влезай – убьет!» Молодые были – решили выпендриться. В Питер же едем.

Папа жил тогда на Петроградке, на станции метро Чкаловская. Это сейчас там многие дома отреставрированы, а квартиры выкуплены. А тогда, в начале девяностых, сплошные коммуналки. Я с бытом коммуналок была плохо знакома. Слышала, но не видела.

Мы замерзли, как цуцики. На каблуках еще. А вокруг скользко. Мы еле идем. Как две цапли. Пока дошли – умаялись.

Наконец, нашли дом. Заходим в парадную.

Я в Волгограде такого не видела. Казалось, люди этого дома ходят по нужде исключительно на лестничную площадку. В лифт страшно заходить. Не лифт, а капсула смерти. Пошли пешком.

Звоним в «убитую» дверь. Не верилось, что за дверью живут люди.

Долго не открывали. Сбоку на стене возле звонков были какие-то фамилии и написано, кому сколько раз звонить. Папиной фамилии я не нашла, поэтому позвонила наугад.

Наконец, послышались какие-то звуки. Дверь медленно приоткрылась.

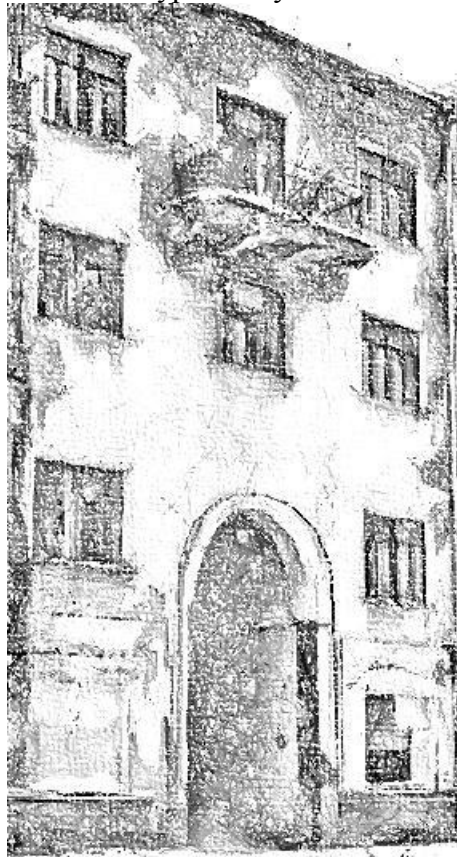
В проем вылезла всклокоченная женская голова. Рыжее чудо-юдо. Женщина была в халатике. Он держался только на пояске. Грудь кокетливо просилась наружу. Она посмотрела на нас оценивающе.

– Че надо? – спросила она сиплым голосом.

От женщины пахло перегаром.

– Простите, а Михал Николаич сейчас дома? – спросила я с неуверенностью в голосе. Вообще-то, я уже начала сомневаться, правильно ли я записала адрес.

– Кто-о-о? – презрительно протянула дама. Было видно, что она считает нас полными дурами и уже готова захлопнуть дверь.



– Михаил Николаевич здесь живет? – практически по слогам выговорила я.

– А-а-а! Мишка что ли? – оживилась дама. – Блядь, сразу бы так и сказала. Че мямлишь-то?

Она по-дружески улыбнулась мне гнилыми пеньками зубов и, вальяжно покачивая бедрами, неторопливо пошла вглубь неосвещенного коридора. На ней были смешные пушистые тапки с мордочками Микки-Мауса. На одном виднелась дырка у большого пальца.

Дверь осталась приоткрытой. Мы так и стояли на лестничной площадке. По лицу подружки было видно, что ей страшно.

Мы услышали, как женщина постучала и крикнула хриплым голосом:

– Миш, а Миш! К тебе какие-то бляди малолетние приперлись! С утра пораньше. Это что-то новое. Слышишь?

Через минуту на пороге показался ошарашенный папа. Он был удивлен, но видно, что очень рад. Сюрприз удался.

Женщина стояла поодаль, пока мы обнимались. Она была рада, что расколола соседа.

– Миш, я а думала, что ты скромный мужик. А ты вон какой! А так и не скажешь! – она игриво подмигнула папе и пошла к себе, хихикая и бормоча под нос: «Ну Мишка, ну дает! А я то думала...»





## Павлик Лемтыбож

Pavlik Lemtybozh

Павлик Лемтыбож (Павел Власов) – поэт, музыкант, член группы «Сказы леса». Родился в Республике Коми, живет в Санкт-Петербурге. Автор стихотворных сборников «Говориша» (2009) и «Письма к брату» (2011).

Поэзия

\* \* \*

**А**нгел ходит в наши сны,  
Подчищает тучи сеном,  
Открывает рифмы все нам –  
От «балясин» до «блесны».  
Впрочем, склонные к беседам  
Об отсутствии казны,  
Мы с таким немым соседом  
И пугливы, и грузны.

Ангел ходит, не спеша,  
И взирает безучастно.  
(Эта реплика ужасна,  
А быть может, хороша.)  
Он левша, любому ясно,  
Праворукая левша.  
Пустота внутри ковша  
И заря, что не погасла.

Хочешь ангела понять?  
Хочешь дать ему название?  
Чтобы стало узнавание  
Механическим – на «ять»? –

*Лилия – камелия*

!

**Л**иля Висбаден – великий стратег,  
Пира царица и библиотек  
Серый хранитель и черный палач,  
Равно любившая кнут и калач.

Лиля Висбаден красива была.  
Лиля Висбаден со света сжила  
Много полезных и нужных мужей  
Ну и оставила, что похужей.

И в результате: поэты ушли  
На небеси от людей и земли.

Мол, иди ты, вот так люди!  
Сколько зим и сколько лет!  
Мол, Валера! Хрен на блюде!  
Ну, привет тебе, привет!

Загорел-то! Пузо! Рожка!  
Помнишь, пили? Как забыть!..  
Нет, такого быть не может.  
Потому что может быть.

Хочешь ангела понять?  
Хочешь дать ему название?  
Вся-то суть его – призвание  
Нас вполсилы охранять.

Редко видимый блондин,  
Он все время где-то справа.  
Помогай ему, Варавва:  
Он не выдюжит один.



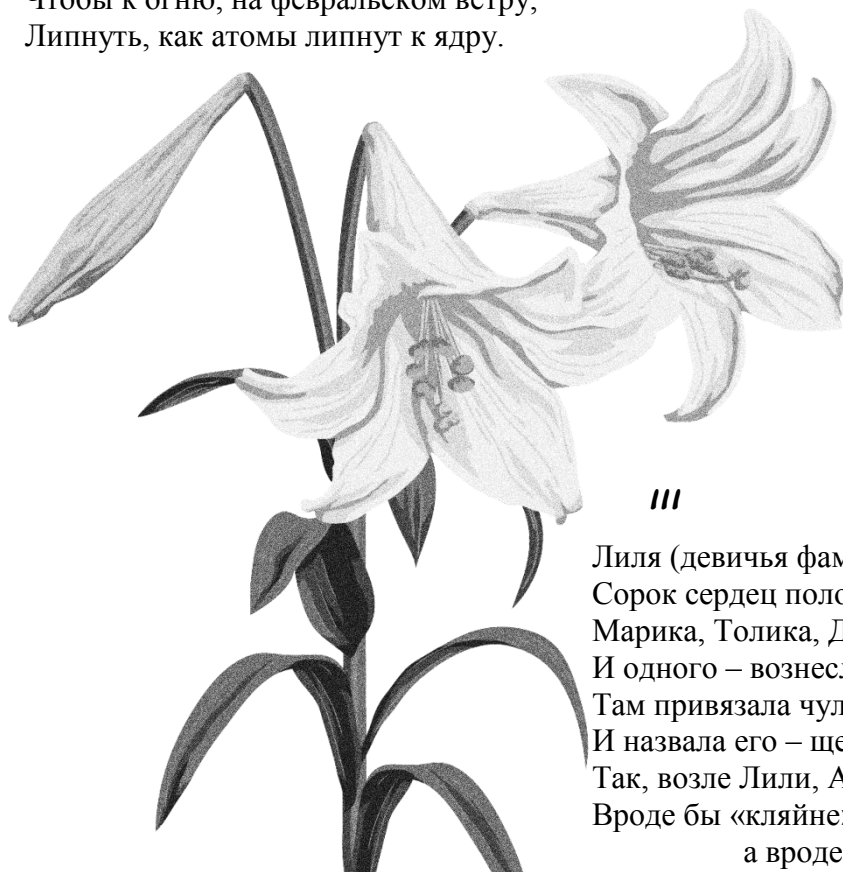
И, что ни вечер, в раю до утра –  
Диспуты, песни, стихи, номера.  
А на земле – хоть шаром покати:  
Некуда, в общем-то, даже пойти.

II

Лиля Висбаден, довольно пустот  
В жизнях, которым несла укорот  
Ваша рука... ах, какая рука! –  
Тонкая, будто крыло мотылька...  
К счастью, пустоты совсем не молчат:  
Громче порой разговоров звучат.

Лиля Висбаден, как трудно пришлось  
Вам, словно шине, надетой на ось:  
Только и делай, что слушай руля, –  
Мимо Лубянки? Поодаль Кремля?..

Лиля Висбаден умела узреть  
Искры таланта и дать им гореть,  
Чтобы к огню, на февральском ветру,  
Липнуть, как атомы липнут к ядру.



III

Лиля (девичья фамилья Наган)  
Сорок сердец положила к ногам:  
Марика, Толика, Димы, Петра...  
И одного – вознесла до бедра,  
Там привязала чулком дорогим  
И назвала его – щеник Аким.  
Так, возле Лили, Акимка и рос,  
Вроде бы «кляйне»...  
а вроде бы – «гросс»...

Лиля Висбаден, матрона стиха,  
Кутая плечи в парчу и меха,  
Смотрит со снимка ягненком судьбы –  
Будто бы вышла в лесок по грибы...  
Так зачастую: кто делает ход –  
Выглядит пешкой. И наоборот.

\* \* \*

Я опять поступил не по-вашему.  
Сожалую. (Не жалко ничуть!)  
Просветленные папы с мамами,  
Как высоко вы правите путь!

Где мне, серой калоше с окраины,  
Воспарять в небеси без шальвар!  
Где мне слушать про древние таины,  
Если я – жестяной самовар.

Новых книг модернистских писателей  
Не читаешь? – отсталый мужлан.  
Впятером на огромной кровати ли  
Не желаешь? – ботаник, баран.

Фильмов «авторских» гласно не чествуешь? –  
Ретроград. Не танцуешь, не пьешь? –  
Ты с опасным болотом соседствуешь  
И в болото опасное прешь!..

Кислоты не закинешь? Не выкуришь  
Ручника? – ты вообще ебанько! –  
Словно часики: тикаешь, тикаешь  
В девятнадцатом веке и Со.

Знаков в виде ворон или зарева  
Не толкуешь? Не чуешь? – Слепец.  
Не бухтишь на ярмо государево? –  
Эскапист, пуританин, скопец!..

Где мне, валенку, видеть великое!  
Где мне, тапку, бежать за коньком!..  
Гриб не может дружить с повиликою,  
Лед не станет любить с огоньком.

Я опять поступил не по-вашему,  
Коллективное хобби отверг.  
Извините, папаши с мамами,  
Не хочу я куда-то «наверх»:

Мнится, место – пустое, подложное,  
Много звону монет и монист...  
Все ясней ощущаю тревожное:  
Ваше «вверх» – это, кажется, «вниз».

**Галия Мавлютова**  
Galia Mavljutova

*Проза*

## От ада до Колорадо

**О**т ада до Колорадо рукой подать. Это я точно знаю. Перед самым миллениумом мне довелось побывать в Америке по полицейскому обмену. Было интересно. Я вполне успешно отстрелялась на стрелковом полигоне, приняла участие в задержаниях местных бандитов, а в конце путешествия отправилась в Большой Каньон. Английским не владею, но благополучно и без приключений проехала с отдыхающими американцами в экскурсионном автобусе. Объяснялась на пальцах, как глухонемая. Ехали по пустыням и по одиноким дорогам, наконец, автобус остановился прямо у реки Колорадо. Мне было ужасно тоскливо, хотелось домой, в привычную обстановку, в родной климат, а здесь жарко, кругом все чужие. Я стояла на палубе теплохода, где мы только что отобедали. Сумку и документы я оставила в автобусе. С собой ничего. Только я. Одна.

Я смотрела в прозрачные воды Колорадо и ничего не понимала. Удивлению моему не было предела. Вода была кристально чистой и прозрачной и просматривалась до самого дна. Ни одного окурка. Ни одной пластиковой бутылки. Из воды на меня смотрели какие-то крупные рыбины и тоже удивлялись, мол, какая-то тетка тупо смотрит в воду. Может, прыгнуть хочет? Я спустилась по трапу к сходням. У причала стояла моторная лодка, видимо, местная плавбаза. В лодке сидел паромщик, этакий разудалый афроамериканистый парень. Он весело скалил зубы, разглядывая меня, и вдруг взмахнул рукой, дескать, садись в лодку, поехали! Я помотала головой, даже улыбнулась для приличия. И вдруг что-то кольнуло меня внутри. Я поймала себя на мысли – а что, если сесть в лодку и переброситься на другой берег реки Колорадо. Вот так, без документов, без денег, без ничего. Только я. Одна. И сбросить на другом берегу весь груз прошедших лет, найти себе там имя, судьбу, жизнь. И пусть я знаю, что от себя не уйдешь, но ведь можно забыть прожитые годы, прошлый груз забот и тревог, выбросить из памяти весь ад последних лет. Из ада можно вырваться. Легко, просто, вот так, сесть в лодку и уплыть на другой берег чужой, но прозрачной и чистой реки. И никто меня не найдет. Даже искать не станут. А я выживу, приспособлюсь, изменюсь сама и поменяю судьбу. Я застыла, с трудом сдерживая внутренний порыв, а веселый лодочник все махал и махал рукой, призывая присоединиться к группе людей, собиравшихся отплыть на ту сторону реки. Пока я боролась с искушением, народу в лодке набилось много, но оставалось одно незанятое место. Я усмехнулась и знаками продемонстрировала лодочнику, дескать, с собой ни копейки, но он лишь отмахнулся. Не в деньгах счастье! Тогда я не сделала роковой шаг, но он был, я его помню. Он состоялся в моем воображении. Внешне я ничем не выдала себя. До сих пор не знаю, что меня остановило. Что угодно, только не страх. Я не боялась неизвестности, да и что может быть страшнее ада? Ад не имеет границ, он повсюду одинаково привлекателен. Кто привык существовать в аду, тому уже не страшны чужие берега. Но меня привлекали не они. В тот миг мне захотелось поменять свою сущность. Перевоплотиться. Вступить в новое состояние. Это желание до сих пор живет во мне.



Подполковник милиции в отставке, член Союза Российских писателей, член Литфонда России. Автор тридцати книг, изданных в 2000-2011 годы.

Оно не было реализовано. Я отошла от сходней, поднялась на палубу теплохода. Помахала рукой отплывающей лодке. Не знаю, почему я не решилась тогда на отчаянный шаг, ведь мне не было страшно. Но зато я знаю точно – от ада до другого берега реки Колорадо рукой подать.

*2012, 23 марта*

## Мальцевский рынок

**О**днажды в нашей стране началась активная борьба с организованной преступностью. Преступность была всегда, но бороться с ней начали, когда создали специальное подразделение для борьбы с этим социальным злом. В то время я работала в уголовном розыске с мелкой уголовной сволочью, и организованная преступность меня ни с какой стороны не волновала. Зарплату я получала вовремя, за каждую задержанную группу уголовных элементов мне давали премию, работала сутки напролет и, как говаривали районные прокуроры, «мела воров, как дворник». Ходила, точнее, бегала по городу вся взмыленная, глаза, обведенные синими кругами, проваливались куда-то глубоко за скулы, от усталости боль подкатывала в виски и доводила почти до обморочного состояния. Мне приходилось скрывать усталость, накопившуюся во мне за долгие годы, чтобы не уволили, и я активно продолжала пополнять следственный изолятор под мистическим названием «Кресты» той самой уголовной сволочью. Как-то вызвал меня генерал и в доверительной форме объяснил, что вынужден направить на ответственный участок работы. Я должна участвовать в важной операции, а проинструктируют меня на месте действия. Все держалось в строгом секрете, до начала операции оставалось пятнадцать минут...

Я села в промерзший автобус, и он куда-то покатил, весело подмигивая фарами и мигалками, затем остановился возле Некрасовского рынка, и мне приказали идти в кабинет директора. Мне досталась довольно щекотливая роль – нужно было обыскать директора рынка. В тесном кабинетике, почти камерке, я приступила к производству следственных действий. Директор – приветливая миловидная женщина, приятно пахнущая, хорошо и добротнo одетая в дорогостоящие по тем временам вещи. Понятые покорно встали по бокам двери, и я приступила к исполнению служебных обязанностей.

Во-первых, я вежливо предложила женщине добровольно выдать валюту, оружие, ценности, имеющиеся при ней, а сама тем временем осматривала крокодиловокожаную сумочку дамы. В сумочке лежала фотография пса – пуделя с огромными печальными глазами. Пес выглядел таким же ухоженным и изящным, как и его хозяйка, казалось, что он тоже надушен хозяйкиными духами. Даже фотография приятно пахла. Я поняла, что пудель – самое любимое существо на свете у этой женщины, не дай Бог, что случится с псом, хозяйку хватит апоплексического удара. Пришлось напомнить еще раз о запрещенных предметах. В ответ молчание. Понятые покорно застыли у дверей. Я посмотрела женщине в глаза, они молили о пощаде и сострадании. Пронзительная жалость охватила меня, и я, поморщившись, не стала обыскивать женщину, ограничившись одной сумочкой. Женщина несказанно обрадовалась, поправила одежду, поглядела в зеркало и вдруг потеряла ко мне всяческий интерес. Вошедший оперативник спросил меня: «Ну что, нашла?». Я отрицательно помотала головой: «Ничего нет, сумка пустая, в карманах пусто».

А потом началось главное. Началось ровно через десять минут. Теперь я знаю, что такое позор, настоящий позор, такой позор переживают редко. Вошедший оперативник включил флуоресцирующую лампу, и я с ужасом увидела, что юбка, джемпер, сумка, даже волосы женщины и весь кабинетик, все светится дивными лучами, особенно угол кабинета, куда директор рынка сбросила деньги. Даже на мне остались следы вещества. Это была взятка, причем, в крупных размерах, деньги заранее поместили специальным средством. Пока я любовалась фотографией пуделя с печальными глазами, директор

рынка сбросила деньги, абсолютно не смущаясь присутствием сотрудника милиции в моем лице и двух понятых, тупо стоявших у двери. Следы фиолетовых лучей красиво протянулись по низу юбки, длинными плетями протягиваясь в угол, где и красовались пачки денег, перетянутые аптечными резинками. Молча, чуть не плача, я принялась оформлять изъятие денег в крупных размерах, это была ежедневная дань от торговцев за место на рынке. Огромные деньги, как в те, так и в нынешние времена. Деньги не пахли, но светились и так красиво лежали в углу. Мне стало стыдно. Так стыдно мне никогда не было. Я ощущала себя предателем системы. Я еще долго помнила ощущение стыда и долго корила себя, зачем я поверила женщине? До сих пор мне грезится честный взгляд печальных глаз беззащитной женщины, он смотрит на меня из прошлого с немим укором.

Прошли годы. Иногда я бываю на приемах, и, видя ослепительных нарядных женщин, всегда вспоминаю ту, с Мальцевского рынка, с честным взглядом серых печальных глаз и фотографией пуделя в сумочке.

2002, Санкт-Петербург

## Невстреча

**В** одиночестве есть упоение – особенное, тонкое, сладкое. Но иногда от одиночества можно умереть. И тогда я молюсь. Молюсь-молюсь-молюсь, дескать, пошли мне, Всевышний, кривого-горбатого-слепо-глухо-немого, всякого-разного, с любым жить стану. Согласна есть любое дерьмо, лишь бы не быть одной. Женщина вполне способна обходиться одна, если у нее все в порядке с головой, в общем, если бабе вмочь в одиночку тянуть житейскую ляжку, значит, тетка в порядке. Однажды мне стало совсем невмоготу, и тогда я взмолилась перед Богом, горько жалуясь на мою одинокую жизнь. И все представляла в молитвах, какого мужичка мне пошлет Всевышний. И так ясно представила себе хромого и слепого, с суковатой палкой в руках, горбатого, но не испугалась, вон женщины и не с такими страшилами живут. Небось, и я смогу, что я хуже других, что ли? Потом успокоилась, всю дурь из головы выбросила и снова зажила прежней жизнью. А тут наемдни возвращаюсь из спортивного клуба, этак в десятом часу вечера, и решила забежать по делу к соседу-художнику. Он недавно у нас поселился, выкупил внизу помещение и устроил там мастерскую. Думаю, может, он мне по-соседски обложку на книгу бесплатно соорудит, в общем, звоню, на добрый исход не надеюсь. Поздно уже, ан нет, смотрю, дверь открыл, приглашает, а там и угощение на столе, хотя я случайно забежала, надеясь уговорить его нарисовать обложку в порядке добрососедства. Присела за столик, а сама вынашиваю коварные планы, как бы охмурить дяденьку и выманить из него обещание нарисовать мне что-нибудь этакое неповторимое, да чтобы он денег не попросил с меня. Сижу, мучаюсь, не знаю, как приступить к обольщению. А у самой сил никаких, устала к вечеру, чай, не молоденькая уже, целый день в офисе провела, после работы тренировка, массаж, солярий, троллейбус, голова трещит, аж мочи нет. Домой хочется, приду и сразу в кровать! А сосед тем временем распинается, рассказывает мне о чудесах компьютерных технологий, да так забирает, что до самого Гуттенберга дошел, дельный мужчина, в самый корень смотрит, а я слушаю про первый печатный станок и знай уминаю фруктики, печенье и все это великолепии запиваю вишневым ликером. После спортивной тренировки категорически





запрещено есть и пить, но так ведь запрещено дома, а в гостях – что ж не угоститься, это же не из собственного холодильника фрукты таскать, а с чужого стола. И вдруг меня как будто кольнуло. Я даже жевать перестала, глаза во всю ширь распахнула от удивления. Пока я потихоньку выпивала, мой сосед увлекся, руки в стороны раскинул, глаза сверкают, в голосе флейты разливаются. «Это же он передо мной стелется! Хочет мне понравиться! Это Бог услышал мои молитвы и дал мне не кривого и косоного, горбатого и немощного, а свободного и успешного, обеспеченного и умного. Кстати, он гораздо умнее меня... Вон как в компьютерах сечет». Я поспешно отодвинула недо-еденные фрукты и печенье, поблагодарила за хлеб-соль, с перепугу даже пообещала забежать еще разок на будущей неделе. Больше всего было жаль недопитого ликера, про обложку для сборника я так и не вспомнила. Суетливо оделась, вышла, лишь за дверью опомнилась. В лицо с силой хлестнуло пригоршней ледяной воды, в Петербурге штормило. Я словно очнулась. И не кривой, и не горбатый, с ушами и глазами, и говорить красно умеет, но мне он не понравился. Я еще постояла во дворе, подумала, к кому бы обратиться за обложкой и побежала домой. Утром я даже не вспомнила о вчерашнем приключении.



## Валерий Скобло

Valeri Skoblo

Поэзия

Август

**И** вечер был весел, и ночь коротка,  
Спокойная, без сновидений,  
За окнами влажно шуршала река,  
И воздухом птицы владели.

Но то, что мы ночью любовью зовем,  
Пытаясь подыскивать имя,  
С немалым трудом вспоминается днем,  
Как будто случилось с другими.

Еще кинокадры ползли по холсту,  
Скучали, дышать было нечем...  
А время бесславно текло в пустоту,  
По телу пространства, туда, за черту,  
Где день распадался и вечер.

1972

\* \* \*

**Я** промолчал почти два года:  
Стихи ненужными казались,  
а природа  
Описывать сама себя вольна.  
И мне казалось – умереть не рано,  
Последним кадром выпорхнуть с экрана –  
И все ушли – и в зале тишина.

И в ожиданье мига перехода  
Душа болела... Так прошло два года, –  
Я словно шел вдоль каменной стены...  
Потом случилось расставанье с другом,  
И я с внезапной дрожью и испугом  
На жизнь свою взглянул со стороны.

В отчаянье, как будто виновато,  
Я сделал шаг с тропы, что мне когда-то  
Единственной казалась – в слепоте,  
И ощутил, что песенка не спета...  
Я увидел не свет, но проблеск света,  
Не проблеск даже – искру в темноте.

1978



Поэт, прозаик, публицист. Родился в 1947 году в Ленинграде, живет в Санкт-Петербурге. Окончил математическо-механический факультет ЛГУ. Работал научным сотрудником в НИИ Ленинграда (Санкт-Петербурга).

Автор научных трудов в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Автор стихотворных сборников «Взгляд в темноту» и «Записки вашего современника». Член Союза писателей Санкт-Петербурга с 1993 года. Стихи, проза, публицистика публиковались в отечественной и зарубежной (США, Англия, Франция, ФРГ, Израиль, Болгария и т.д.) литературной периодике. Основные публикации последних лет в журналах «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Колокол», «Крещатик», «Нева», «Окно», «Новое русское слово», «Север», «Слово\Word», «Урал», «Юность» «Чиж и Еж», и др.

## Подражание классику

**Ц**езарь двинул, мой Постум, свои легионы,  
Продвижение их скрытно и неотвратимо.  
Днем и ночью проходят по Риму колонны,  
Но ничто не колеблет спокойствия Рима.  
Цезарь знает, что делает, Цезарь на страже,  
Суть стратегии – кончить мгновенным ударом,  
А кампания будет короткой, и даже,  
Вероятно, победа достанется даром.  
Положение в провинциях, по донесеньям,  
И тревожно, и смутно, но этого мало –  
Был оракул: Империю ждут потрясения,  
И, по слухам, опять Иудея восстала.  
Постум, в моду вошли мальчуганы-брюнеты,  
И комета явилась, но тоже – все мимо,  
А в провинциях мяса и сахара нету,  
Но ничто не колеблет спокойствия Рима.  
Постум, цензоры вновь, несомненно, в ударе,  
А словесность цветет, что еще ей осталось?  
Вся элита встречается вечером в баре,  
Дорожает «фалернское», экая жалость.  
Объявился тут Петр, христианский апостол,  
Но Империя от суеверий хранима,  
Ведь ты сам понимаешь, дружище мой, Постум,  
Что ничто не колеблет спокойствия Рима.

1974

\* \* \*

**Н**а больничной койке я лежал – у окошка.  
За окном был сарай, сад, дорожка.  
Дед из Тосно, чья кровать у входа, с краю,  
Кашлял глухо и шептал: «Помираю...»  
Мимо окон наших девушка шла – медсестричка.  
Улыбалась – и торчала косичка.  
Снежной выпала зима – и какая сырая...  
Сад, дорожка, снегопад, край сарая –  
Все кружилось, все плыло предо мной. Вечерело.  
Как я выжил? – Молод был, в этом дело.  
Было мне хорошо и легко, но тревожно.  
И казалось: умереть – невозможно.  
Хорошо сейчас: весна на дворе, легкий ветер...  
А дед тот умер дня через два – на третий...

1976

\* \* \*

Я узнал рисунок обоев,  
лепнину на потолке...  
Здравствуйте, я вернулся,  
вот счастье в моей руке:  
Яблоко. Называется  
«золотой ранет»...  
Боже мой, я возвратился  
через столько лет.  
Какая, в сущности, разница –  
откуда, какой ценой  
Оплачено возвращенье  
и какую виной  
Перед теми, кто, кажется,  
не замечает меня.  
Я прохожу невидимый  
среди сиянья дня  
Навстречу отцу и матери –  
их уже нет теперь  
Там, откуда я... Медленно  
я прикрываю дверь.  
А вот и мальчик с яблоком  
из золотого огня.  
Он протянул мне яблоко –  
он узнаёт меня...



\* \* \*

Где бы я ни был, в каком бы пекле,  
В какой бы клетке не выл от боли,  
Даже если полезу в петлю,  
Не попрошу поменять судьбою  
С кем-то другим и начать сначала  
Или убрать меня вовсе с круга.  
Как бы душа от мук ни кричала,  
Не предадим мы с нею друг друга.  
Пусть мне осталось совсем немного,  
Главную заповедь не нарушу,  
Ибо, хотя я не верю в Бога,  
Я знаю, что значит – продать душу.

1991

\* \* \*

**К**ак ветерок по замершей квартире:  
из телевизора обычная фигня  
о том, что будем их мочить в сортире –  
кто нас обидит, не протянет и полдня,

о том, что жизнь российского солдата  
важней всего, и если тишина  
нарушена стрельбой, то виновата  
ли вся деревня, нам неважно – всем хана,

и пусть не взяты с гексогеном отщепенцы,  
чеченский след важнее, чем иной,  
они – чеченцы, или же чеченцы  
стояли у бандитов за спиной.

Обрывки стертых фраз в тиши повисли,  
и пресловутый клин, куда ни кинь...  
А все уехавшие утвердятся в мысли,  
что поступили правильно. Аминь.

*2001*

\* \* \*

**О**ни приходят ниоткуда,  
Они уходят в никуда.  
Стихи – какое это чудо,  
Какое счастье и беда.

Они ниспосланы поэту,  
Как наказание и дар...  
Награды в мире легче нету,  
И нету тяжелее кар.



## Геннадий Гончаров

Gennadi Goncharov

Лохи<sup>65</sup>

### Проза

**В**ода в горловине узкой прозрачной речушки, стремительно впадающей в Великий океан, бурлила и клокотала, как будто ее втягивала и поглощала прожорливая пасть мифической Харибды. Стояла заполярная осень. Сентябрь. Приокеанская тундра опустела. Затаилась в ожидании белого безмолвия долгой полярной зимы. У входа в устье ревущего пресноводного потока, в глубине спокойного океанского залива, неторопливо скользили тени нескольких десятков крупных серебристых рыбин. Это была королевская семга.

Великий инстинкт продолжения рода призывал рыбин в места, где они несколько лет назад получили жизнь и скатились в океан крепнуть и матереть. Семги смутно помнили это место. Лишь могучий инстинкт подсказывал им, что они вернулись точно в те воды, которые когда-то покинули.

В то время рыбины были сантиметровыми мальками, нескольких недель отроду. Вдруг малькам стало жутковато и неуютно в спокойной, прозрачной глубине реки. Внезапно, повинувшись некому кличу, будто бы призыву свыше, косяк, скорее косячок, из нескольких сотен мальков, беспокойно закружился на месте и вдруг устремился вниз по течению бурной речушки. Река освобождалась ото льда. Стоял май. На покаямах<sup>66</sup> истаивал прозрачный ледок. Сходили снега на берегах реки. Шум перекатов да водопадов впереди призывал и сопровождал густеющий косяк мальков, стремящихся к океану.

Внезапно грохот реки исчез, и мальков вынесло в глубины великого океана. На мгновение рыбок напугало безмолвием, плотной соленостью воды, громадностью безбрежной стихии, враждебной средой окружающих их хищных рыб. Но косяк оцетинился. Это уже были не отдельные беззащитные мальки, а некое единое, крупное, почти агрессивное существо, внушающее страх и уважение. И прожорливое окружение отступило. Началась морская жизнь рыбьего племени.

Прошло четыре года. Неистребимый инстинкт продолжения рода вновь вернул когда-то беззащитных мальков к устью шумной речушки, месту их исхода, месту рож-



Родился в России, в Сибири. Учился и жил в Ленинграде с 1951 года. Окончил Горный Институт. Кандидат геолого-минералогических наук. Автор более сотни научных статей, монографий. До 1997 года работал геологом. В том же году эмигрировал в Австралию, живет в городе Канберра.

Печататься начал в периферийных газетах на полевых работах, затем в журналах Ленинграда, затем в австралийских русскоязычных газетах и журналах. В Австралии трижды занимал первые места на литературных конкурсах (2001, 2002, 2003). Конкурсные рассказы опубликованы в журналах «Уроки русского», «Под небом Австралии», «Со мною вот что происходит...». В 2006 году вошел в число финалистов литературного конкурса «Антиподы» (Сидней, Австралия).

Автор книг на русском и английском языках: «Сумасшедший» (2003, Мельбурн), «By River and Mountain» (2006, Бризбен), «Записки эмигранта. От России до Австралии» (2007), «Лики» (2011), «The Rapids» (2012). Заместитель редактора журнала «Окно в мир» (Сидней).

<sup>65</sup> Лохи (Lohi, финское) – благородный лосось, семга (Salmo salar).

<sup>66</sup> Покаяма (диалект.) – глубоководная, спокойная часть порожистой реки.

дения. Но теперь это были не беспомощные растерянные мальки, а красивые крупные серебристые рыбины, более полуметра длиной и около четырех килограммов весом. Среди них плавно скользило и несколько более крупных рыб. А один самец, Лохи достигал полутораметровой длины и весил более тридцати килограмм. Голова Лохи была вытянута, верхняя и нижняя челюсти сильно изогнулись, на них выросли крупные зубы. На верхней челюсти возник длинный клык, входящий в выемку нижней. «Клыкач», почтительно обращались к нему остальные рыбины.

Клыкач заслуживал уважения. Лохи не суетился, как другие рыбины, моложе его. Он почти неподвижно висел в глубине залива головой по направлению к устью речушки. Легкими движениями могучего хвоста он удерживал свое литое тело на месте. По внешнему виду Лохи было видно, что он побывал не в одной передраге. Тело рыбины в нескольких местах пересекали тонкие нитевидные полосы – следы капроновых сетей. Каким-то чудом Лохи удалось порвать их и вырваться из смертельных объятий капроновой ловушки. В хвостовом оперении Клыкача торчал большой, с кулак, трехпалый крючок с куском двухмиллиметровой лески. Спинной плавник был распорот почти посередине то ли рыболовным крючком, то ли багром. Загубье у Лохи с левой стороны морды было разорвано, да так и не заросло. По всему телу огромной красивой рыбины там и сям виднелись старые шрамы. Все это были следы счастливого исхода встреч с людьми. В неподвижных зрачках Лохи светился ум. Да, да! Рыбы глаза излучали жизненную мудрость. Клыкач холодно и будто бы равнодушно наблюдал за юными соплеменниками, нервно суетящимися у бурлящего устья впадающей реки.

Наконец молодые семги не выдержали утомительного бесконечного ожидания. Будто по команде невидимого дирижера, молодняк резко увеличил скорость движения по кругу. И вдруг косяк рыб, набрав максимальную скорость, ворвался во встречный поток впадающей в океан речушки. Еще несколько мгновений и косяк вырвался бы из холодного и равнодушного объятия кипящей воды. Однако продвижение рыб все более и более замедлялось. Вскоре косяк и вовсе остановился у подножия полутораметрового водопада. Одолеть неожиданную преграду они уже были не в состоянии. И рыбин медленно начало сносить обратно к устью. Затем буйное течение реки опрокинуло, смяло стройный косяк рыб и выплюнуло их обратно в океан. Семги обессилено опустились на галечное дно залива. Жабры рыбин судорожно закрывались и открывались, как рот у задыхающегося человека. Борьбу рыб с низвергающей рекой никто и не заметил. Лишь мудрый Лохи, видевший заключительный этап борьбы сородичей со стремительным потоком воды, казалось, насмешливо улыбался.

Он продолжал неподвижно висеть в прозрачной воде океана, иногда чуть-чуть пошевеливая хвостом, чтобы удержаться на одном месте. Точно напротив устья реки. Клыкач чего-то ждал. Время текло. Уже отдохнувшие семги покинули дно залива и вновь пристроились позади старого самца. Они недоуменно переглядывались, наблюдая за непонятным поведением могучего Лохи. Клыкач выжидал.

Внезапно семги поняли, что в поведении самца что-то изменилось. Он оглянулся на стаю молодняка, будто убеждаясь, что все рыбе племя здесь. Потом энергично завибрировал хвостом и вдруг решил: «Пора!» И несколько десятков молодых семг тоже как-то уловили, что да, «пора!» Клыкач взмахнул мощным хвостом, взлетел на поверхность впадающей реки и, как торпеда, заскользил по гладкой поверхности плотного потока. Он больше не оглядывался. Он знал, что весь косяк серебристых рыб ни на сантиметр не отстает от него. Дикая сила приустьевого течения реки была усмирена приливом океана. Соленая морская вода залила приустьевую часть речушки и обуздала свирепую мощь встречной пресной воды.

Постепенно река опреснялась. Шумные водопады и порожистые места сменялись глубоководными покаянами, местами нерестилищ благородных семг. Молодые рыбины, инстинктивно узнавая памятные места своего рождения, постепенно отставали. Они, после нескольких лет скитания в океане, вернулись на родину. Здесь



они будут дожидаться весны, чтобы произвести новое потомство. Клыкач поднимался все выше и выше по реке, обходя ловушки сетей, хищные жала настроенных людьми крючков. Вскоре позади него не осталось ни одной рыбины. Тогда Клыкач остановился, передохнул и вновь бросился вниз к устью реки, в океан, за очередным косяком сородичей.

Несколько десятков молодых самцов и самок распределились по покаюме. Для них наступало время осеннего нереста. Они уже выбрали места для нерестилищ и лишь ждали предназначенного срока, чтобы вырыть ямы для метания икры. Семги, приготовившиеся метать икру, давно уже не охотились, желудки их были пусты. Они сильно отощали и всю свою внутреннюю энергию тратили на воспроизведение потомства, на вызревание икры. Плоские тела брачных семг, грязно-бурого, оранжево-пятнистого цвета с оскаленными мордами, совершенно не походили на своих серебристых сородичей из океана, будто это был абсолютно другой род рыб. Их устрашающий облик служил, должно быть, для отпугивания снующих тут же хищных хариусов, щук, окуней. Бдительные самцы непрерывно клацали могучими изогнутыми челюстями, отпугивая хищников от будущих гнезд.

Уже несколько семг вырыли в галечном дне своими хвостами продолговатые ямы в два-три метра и застыли над ними. Самцы непрерывно освобождали нерестилища от струящегося песка и гальки, да еще и успевали отпугивать снующих вокруг хищников. Хвосты самцов и самок были ободраны до костей и кровоточили. Вот уже две или три самки толчками выбросили в вырытые ямы янтарные дольки икры. И тут же самцы залили ее кипенно-белыми молоками и быстро заровняли ямы хвостами и мордами.

Неожиданно спокойная, почти стоячая поверхностная гладь покаюмы пошла рябью. Водные завихрения шли от весел резиновой лодки. Рыбы не забеспокоились. Они были поглощены таинством творения жизни. Сидевшие в лодки люди выкинули якорь, большой камень в мешке на длинной веревке. Лодка замерла на одном месте. Плеск весел прекратился. Воцарилась тишина.

Вдруг прямо на семгу, замершую над вырытой ямой для икрометания, нагло и стремительно пошел хариус или окунь. Самка не разобралась, кто это, но инстинктивно сделала угрожающее движение в сторону хищника. Однако наглая рыбка будто и не заметила угрозы огромной рыбины. Она отскользнула от оскаленной морды рыбины лишь в нескольких сантиметрах. Семга была озадачена странным поведением хищника, но вновь замерла над нерестовой ямой.

Не успела самка успокоиться, как вновь увидела того же хищника, быстро надвигающегося на нее. Тут уж семга не выдержала. Распахнув огромную страшную



пасть, усеянную острейшими зубами, самка мгновенным броском схватила хищника, сомкнув челюсти, чтобы наказать наглеца. Но острейшая боль пронзила небо рыбины, ударила в мозг и затуманила его. Какая-то неведомая сила поволокла рыбину из воды. Теряя сознание, семга еще почувствовала, что ее грубо схватили под жабры, выдернули из воды и бросили на что-то твердое. Сделав несколько конвульсивных движений, рыбина затихла.

– Первая! – радостно сказал кто-то в лодке прокуренным голосом. – Икрыная! Тут их, смотри, десятка два, а то и больше!

Рыбак указал напарнику в глубину прозрачной воды. Там неподвижно замерли рыбины.

– Давай! Мечи! Он вновь взмахнул спиннингом. И тут же забросил в воду свою блесну его приятель.

Мудрый Клыкач, как только уловил вопль отчаянья самки, сразу понял, что появилась смертельная опасность, где-то близко люди. Когда он был еще юным самцом, то попытался отогнать от нерестилища самки наглого, маленького, юркого хищника, похожего на такого же, безрассудно снующего сейчас по нерестилищу. Тогда только случай или везение и, может быть, молодость и сила спасли его от смертельного исхода. Он бросился на наглую «рыбку», плывущую прямо на самку, надеясь отпугнуть ее. Однако наглец не испугался и надвигался прямо на него. Но по неопытности скорость броска Клыкача оказалась слишком велика, и он почти проскочил хищника. Лишь в последнее мгновение он извернулся и ухватил «рыбку» краем пасти. В тот же миг какая-то страшная сила рванула Клыкача назад, и огненная боль пронзила челюсть. Клыкач энергично разогнулся, свечкой вылетел из воды и затряс головой, чтобы выплюнуть схваченную добычу. Он с шумом упал в воду и сразу же повторил маневр. Взлетев над водой метра на два, Клыкач широко распахнул пасть и вновь сильно встряхнул головой. В то же мгновение «рыбку» вырвали из пасти самца. Боль затихла. С тех пор и сохранилась на его морде отметина – порванное загубье, которое так и не заросло.

И вот снова те же самые, невинные с виду рыбки манили и раздражали своей легкодоступностью. Было искушение их припугнуть, ухватить, прикусить и выбросить. Но память пережитого в прошлом ужаса подсказывала старому Лохи – это опасность. Он стремительно заскользил по покаяме, по нерестилищам рыб, чтобы успеть предупредить самок о смертельной приманке. Но не все самки ему верили. Да и как тут поверить и удержаться от защиты своего нерестилища, когда прямо на тебя, пасть в пасть нагло надвигается столь маленький хищник. И некоторые семги не удерживались, хватили наглеца. Тут же вдоль покаямы разносился крик боли и ужаса, и самки пропадали, выхваченные непонятной силой из родной стихии.

Клыкач метался по покаяме, торопясь предупредить своих самок об опасности, но не всегда успевал. Уже несколько нерестовых ям опустело. Самки исчезли.

Когда очередная жертва, с воплем боли и отчаянья, была выхвачена из воды прямо перед его носом, Клыкач все понял. «Лодка! Вот опасность! Там, наверху пропадали семги. Лодка – хищник! Надо уничтожить, прикусить лодку!»

– Что-то перестали семги блесну хватать.

– Вообще-то странно. Вон сколько их там гуляет в глубине. Как будто их кто предупредил, что нельзя блёсны трогать.

– Может быть, вон тот старый самец? Смотри, как он мечется по покаяме от самки к самке. Может, и впрямь объясняет. Ха-ха!

– Слушай, давай-ка бросим туда в ямку граммалечку тротила. Там у тебя есть еще несколько динамитных шашечек.

– А что? Давай. Только чуток бы надо отплыть, чтобы нас не угробило. А то лодка может лопнуть, если близко рванет.

– Добре. Подай метров на десять туда. Поближе к перекату. А шашечку зашвырни подальше, метров на пятнадцать, в середину покаямы. Бикфорд-то обрежь короче, тогда и поджигай, чтобы рвануло не на дне, а как только в воду упадет.

Один из браконьеров аккуратно положил спиннинг и подтянул к себе рюкзак. Порылся в нем и достал динамитную шашку с длинным бикфордовым шнуром. Второй рыбак неспешно чуть приподнял мешок с камнем, отплыл к перекату и вновь опустил якорь.

– Пожалуй, хватит? Давай, поджигай.

Его напарник обрезал провод, достал коробку с ветровыми спичками, чиркнул, поджег шнур и взмахнул рукой, чтобы зашвырнуть шашку в середину покаямы.

В это же мгновение могучий Лохи, раскрыв свою клыкастую пасть с бритвенными зубами, лег на бок, на максимальной скорости врезался в резиновую лодку и пропорол поперек оба ее баллона. От неожиданности рыбак выпустил из руки подожженную шашку, и она булькнула в воду. Тут же за нею рухнули в реку оба браконьера. И в тот же миг раздался глухой подводный взрыв. Вода в реке на месте лодки вскипела и стихла. В глубину, на дно покаямы медленно погружались два трупа и лодка. На поверхность реки всплыла огромная пятнисто-оранжевая рыбина, мертвый Лохи. Едва заметное течение потянуло неподвижного Клыкача к журчащему мелкому перекату. Там он и застрял. Семги на удаленный взрыв не отреагировали и продолжали метать икру.

Через одиннадцать дней за браконьерами прилетел тот же вертолет, что высадил их на нерестовой речушке. Прежде чем приземлиться, вертолет сделал несколько кругов над порушенным лагерем. Экипаж с недоумением рассматривал опрокинутую порванную палатку. Мешки с продуктами были разорваны. Судя по следам, здесь пиршествовало несколько росомах. Людей не было.

Летчики молча двинулись в сторону шумящего переката, к покаяме. Обогнув черный базальтовый обрыв по узкой кромке реки, они увидели страшную картину. На мелком перекате колыхались два вздувшихся трупа. Между ними находился обглоданный скелет полутораметровой рыбины с пустыми глазницами.

Неопытный терапевт из районной больницы зафиксировал причину смерти рыбаков от утопления. Куда исчезла резиновая лодка рыбаков, так и не установили. Да и не искали. Покаяма сохранила свою тайну.

Весной, в мае, в нерестовых ямах покаямы проклюнулась жизнь. Через пять недель тысячи мальков королевских благородных семг скатились отсюда в океан – по пути Великого Лохи.



**Андрей Кашкаров**  
Andrey Kashkarov



Родился в Ленинграде. Дипломированный психолог детского чтения (СПб ГУКИ) и магистр педагогики (РГПУ им. А.И. Герцена). Ветеран боевых действий в Чечне. Автор ряда научных трудов, посвященных библиотекам и детскому чтению. Живет в Санкт-Петербурге. Старший инспектор отделения иммиграционного контроля Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Член Правления и председатель секции технической литературы Российского межрегионального союза писателей (РМСП), действительный член Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина (АРСИИ), Российского психологического общества, Петербургского библиотечного общества, Союза Радиолобителей России.

Автор более шестидесяти научно-популярных книг по радиоэлектронике, домашней электротехнике и мобильной связи («Схемы для дома», «Радиолобителям: электронные узлы», «Электронные датчики»). Автор художественной трилогии «Бывший горожанин в деревне» (2010-2011).

## Ненужные люди

Проза

**В** длинном коридоре штабного корпуса N-ской учебной дивизии (учебного центра – как значилось в оперативных сводках округа) у стеночки стояли несколько человек военных, облаченные в камуфляжную форму с защитными звездочками на погонах. Их мрачные испуганные лица отражали давление, какое испытываешь в минуты неизвестности. Как будто бы небо с силой падает на крышу дома, чтобы намеренно загнать человека в землю по самую голову. В такие минуты кажется, что атмосферный столб все-таки существует, а его давление – не мистика. И правда, когда прапорщик Негретов из учебного танкового батальона поднялся на второй этаж штаба, ему показалось, что «камуфлированные» люди произвольно опускаются по стене на корточки, ближе к полу, хотя никто этому вроде бы не способствует. Наибольшее давление ощущалось вблизи класса с номером 21. Здесь господствовал эпицентр страха и неизвестности. Снаружи серого, под цвет эмоций, здания штаба, обволакивающий все вокруг сумерками вечер обнажал яркими точками одинокие фонари.

До начала работы дивизионной аттестационной комиссии оставались минуты. Официальное время ее начала (17.00) давно миновало. Немногие офицеры, составляющие самую ее суть, подтягивались к классу с номером 21 неохотно, еще озабоченные задачами, полученными только что – на внеплановом совещании у командира дивизии. Хожение по освещенному коридору штабного корпуса, из одного конца в другой мимо камуфлированных «худых барашков» в облике людей, ожидающих своей участи, составляло сейчас, казалось, основную заботу старших офицеров. На военном языке это называлось выполнением боевой задачи, так же, как управление уборкой листьев или постанова нового бетонного заграждения взамен старого на том месте, где оно вообще не нужно. Однако упрекнуть офицеров было не за что – они находились на службе, выслушали за сегодняшний день уже третий доклад своего дивизионного командира, и каждый из них не заходил в класс

№21 только затем, чтобы зати туда одновременно с другими, а не сидеть «как дурак» за столом или на кафедре в одиночестве. Это могло дорого стоить: внезапно войдя, полковник Роменко любил озадачивать одиноко обнаруженных своих офицеров «албанским» вопросом:

– Что это вы тут делаете, майор?

Или:

– Что вы здесь спите, от начальства прячетесь?

Говорилось сие подчеркнуто с ударением на «вы», для наглядности дистанции между ним, полковником Роменко, и очередным нерадивым.

Никому не хотелось объяснять дивизионному командиру разными словами то, что сам он не имел ни малейшего желания слышать. Такие «албанские» вопросы задавались для того, чтобы вообще что-то задать; полковник Роменко находил в этом смысл.

«Это дисциплинирует», – любил повторять он на совещаниях и в частных разговорах.

Еще много ранее того часа, когда полковник был назначен на должность командира дивизии, такими же словами говорил его предшественник, полковник Юрьев, почивающий ныне на пенсии. Если бы сохранились конспекты лекций академии, по которым учились в свое время молодежавые майоры Юрьев и Роменко и многие, многие с ними, то и там бы, зафиксированные корявым подчеркиком, мы нашли бы эти слова.

Один лишь полковник Шварц, заместитель командира дивизии по вооружению, не боялся Роменко. Шварц был старше, пристраивал к жизни двух взрослых дочерей, служил при всех полковниках, командовавших учебной дивизией последние десять лет, имел непререкаемый авторитет, и был, казалось, непотопляем. Но самое ценное его качество для армейской штабной службы состояло в каждодневной праздности и оптимизме. Шварц не молчал там, где терялись другие, и кричал там, где другие говорили спокойно. Он сам умел задавать «албанские» вопросы своему командиру и, понятно, знал на них ответы. Учув с утра, что командир по обыкновению не в духе, Шварц тактично напрашивался на трудный участок работы, садился в поджидавший, закрепленный за ним узик, и целый день его было не сыскать. Он появлялся в штабе под вечер, приносил с собой запах бензина и громовой голос, опережающий его тело на несколько лестничных пролетов. На вопрос «Где вы были так долго?» полковник рассказывал ветхозаветный анекдот (каждый раз новый по сюжету, но с одними и теми же героями) про сопляков-срочников, рассыпавших по дороге гвозди. За глаза Шварца звали «председатель Фукс». Это он председательствовал на дивизионной аттестационной комиссии.

Сегодня он ездил в учебный танковый батальон, входивший в дивизию. Там, в отдельном кабинете обосновался давний приятель Шварца, подполковник Теплов. Там же служил взводным командиром прапорщик Негретов, который импонировал Шварцу, но третировался Тепловым.

– Негретьова надо уволить. Сегодня отправил его на аттестационку. Это не наш человек, – горячо выговаривал Теплов. Щека его неестественно дергалась, и по решительности, с какой подполковник рубил словами, было ясно – с Негретовым вопрос решен.

– Уволить, так уволить, – Шварц не любил спорить, тем более по пустякам. – А по моему, так парень не плохой.

– На службу не выходит. Наглый, как танк. Честь не отдает, взвод самый распущенный.

Шварц молчал. «Где ж теперь рыщет Роменко?» – думалось невесело.

– Сегодня замкомзвода назвал меня, знаешь как?

– Как? – оживился Шварц.

– «Тело» назвал. Среди своих, конечно. Но так, чтоб я слышал, сволочь!

– О, это по тебе как раз, а я-то голову ломал, почему у всех есть, только у тебя погоняла нет? – хрипло рассмеялся полковник.

– На – читай! За месяц – три рапорта в Чечню! И два на увольнение! – Теплов взял с полки кипу листов и мелко потряс ею, но в руки полковнику не дал.

Шварц медленно моргнул, как мартовский кот, пригретый солнышком, которому пока больше ничего не было нужно, кроме того, чтобы его не трогали.

– Ну и отпусти его в Чечню на фиг. Он женат? – лениво спросил полковник.

– А хрен его знает, кажется, нет, – листы снова легли на стеллаж.

– Пусть там заработает, а что он тут у тебя имеет? Ни фиги! Ты все под себя подмял.

– Хм, – хрюкнул Теплов. – Так что же? Прапорщику твоему отдать?

Повисла пауза. Полковник заскучал – это его не интересовало.

– Уже весь металл перетаскали, скоро сидеть не на чем будет, – Шварц инстинктивно потрогал скамейку для посетителей, на которую привалился – она оказалась деревянная. Сам Теплов уже наливал теплую водку в рюмки рядом со Шварцем. Его кресло за столом, замечательное вертолетное кресло командира экипажа, а теперь командира батальона, с засаленными подлокотниками и выдающимся из обшивки желтым поролоном, привлекло внимание Шварца, расположившегося почти напротив.

«Хорошее кресло, – подумал председатель Фукс. – Где, сволочь, его скоммуниздил и главное, когда?» А вслух сказал:

– В прошлый раз у тебя алюминиевые табуретки стояли, где они?

– Да ну... Это не у меня алюминиевые стояли, а в столовой. Я их оттуда приносил, – красной краской зарделся Тело.

– Ну и где они сейчас?

– В столовой! Ясный-красный, где и были.

Шварц почти всегда, направляясь в штаб любого батальона, прежде чем зайти к командиру, по привычке заходил во все открытые двери. На пути его шествия сегодня случилась и столовая. «Кажется, не было там табуреток, на обратном пути зайду специально», – сказал Шварцу кто-то родной внутри головы.

Распрощавшись с приятелем и тяжело втиснувшись в узик (сказывалась съеденная на двоих банка жирной тушенки всухомятку с хлебом), полковник больше не вспоминал ни о еде, ни о столовой, ни о наглом прапорщике. Колола поясница, и хотелось в теплую баньку.

– Домой, – сказал он водителю.

\* \* \*

– **П**рапорщик Негретов, войдите! – послышалось из-за двери. Негретов физически устал ждать. Он приходил на аттестационную комиссию уже третий раз в этом месяце. То комиссия не состоялась из-за внепланового совещания у Роменко, то долго ждали председателя – полковника Шварца, теперь предстояло подождать еще неизвестность. Кроме Негретова на аттестационной комиссии разбирали пять человек – двух лейтенантов, только прибывших из отпуска после окончания училища и тут же, как договорились, обратившихся с рапортами об увольнении из армии; двух ветеранов-прапорщиков, выслуживших уже все сроки и дряхлеющих на глазах, и одного молоденького прапора, не желавшего служить в российской армии. Последним из всех приехал в штаб Негретов; не ожидав такой конкуренции, удрученный, не мечтая о быстром чуде, он дождался своей очереди.

Но у членов комиссии были свои планы. Дело Негретова «Об увольнении из вооруженных сил с нарушением условий контракта со стороны военнослужащего» лежало вторым сверху в стопке перед Шварцем. Первого прапорщика отпустили на удивление быстро; молодой паренек, лет двадцати двух, получивший погоны вскоре после срочной службы и школы прапорщиков вошел внутрь, что-то промямлил (как полагал Негретов – доклад), а затем выслушал обличительную речь второго после Шварца монстра дивизии – полковника Кузьмина.

Делать было нечего, парнишку пришлось увольнять. Это бесило Кузьмина – за такое в округе по головке не погладят. Некомплект прапорщиков составляет тридцать процентов, и на каждом совещании эта статистика звучит тревожным набатом. Объяснения парня не были оригинальными и походили на слова Портоса из «Трех мушкетеров»: «Я дерусь просто потому, что дерусь». С той разницей, что парнишка дрожащим голосом честно сказал: «Я хочу уволиться, ну, потому, что я хочу уволиться», – и опустил глаза. Последующее молчание никто не комментировал, но оно означало только одно – я нашел место, где платят больше и дрючат меньше.

Он выпорхнул из чертога со счастливым лицом, говорившим «Вот я какой бедовый!»

Негретов просочился внутрь. Дверь бесшумно закрылась. Негретов доложил о себе.

Класс №21 внутри оказался вовсе не страшен. В аудитории стояли расставленные по нитке школьные столы со скамейками, напротив, на кафедре, один длинный стол. За ним размещались два полковника, а перед ними в аудитории, расположенные как школьники – в шахматном порядке, по одному за партами сидели три майора и капитан. Капитан вел протокол.

– Сколько вы служите у нас? – спросил громко Кузьмин.

– Два года.– Негретову из принципа не хотелось добавлять к этому «товарищ полковник».

Полковник нахмурился пуще прежнего.

– Сколько вы должны отслужить по контракту?

– Контракт заканчивается 19 июля 2003 года, – заученно ответил Негретов.

– Вы отвратительно характеризуетесь своим командиром, Негретов. В чем причина вашего нежелания служить? Вы ведь сами пришли к нам.

– За два года – шесть выговоров и один строгий выговор, – подал голос майор с первого ряда (его Негретов не терпел издавна).

Прапорщик открыл уже рот, чтобы ответить, но вдруг ему на помощь пришел председатель. Он сказал в точности то, что собирался доложить комиссии Негретов.

– Выговоры все за последние три месяца. До этого я о нем плохого не слышал.

Тяжелым облаком повисло молчание.

– Что скажете? – сыпал, как сечку из сита, полковник Кузьмин. Почему отказываетесь служить, взвод запустили?!

– Я написал рапорт в командировку в Чечню. Его порвали. Я написал второй и третий рапорты с аргументацией, на них нет ответа и, может быть, их самих уже нет.

– В вашем деле, подготовленном для комиссии командиром батальона, рапортов нет, – спокойно сказал Шварц.

Негретов слабо улыбнулся. Добавлять что-либо смешно. Рапортов нет – нет и вопроса.

– Негретов, вы обязаны служить там, где вам укажет командование, – грамотно гадил майор с первого ряда, – а если каждый прапорщик начнет выкобениваться, то мы этого не позволим!

– Потом я написал рапорт на увольнение, – вставил Негретов, – и тоже не получил ответа.

– Ваш рапорт на увольнение из вооруженных сил будет удовлетворен. Вы вылетите от нас с позором. Вы этого хотите? – у Кузьмина союдно выгнулись над глазами и залезли на лоб седые брови.

– Не надо так, Виктор Иванович, – мягко и тихо, с хрипотцой сказал Шварц, – подпишем ему на увольнение.

Наступила неловкая пауза.

– Ну, пусть идет собирает манатки, нам такие деятели не нужны. А как вы будете служить в Чечне, тоже писать рапорты туда-сюда? Там нужны надежные люди, там

боевая обстановка, – заговорил Кузьмин с досадой. Он произнес эти слова тихо, без надрыва, как будто объяснял ошибку в домашней работе своей дочери.

Негретов снова улыбнулся. Теперь улыбка на его лице отразилась сильнее. Тема с Чечней вернулась, оставался маленький шанс ее углубить. Вдруг он вспомнил, как майор Слесаренко, начальник инженерной службы, сидящий в первом ряду, и отборно ему сегодня нагадивший, наставлял Негретова: «Нужно во чтобы то ни стало починить кран на базе КРАЗа – действуйте, как в боевой обстановке!» Кран Негретов так и не сделал: не было документации, запчастей и солдат-специалистов. С тех пор Слесаренко затаил на прапорщика крепкую обиду.

– Я не боюсь боевой обстановки, и прошу вас направить меня для дальнейшей службы в Чеченскую республику. Закончатся боевые действия – я вернусь в батальон.

– Не надо! – отрезал Кузьмин, мы вас хорошо знаем, Негретов. Вы не можете служить здесь – не сможете и там. Все! Свободен.

Тут только Негретов заметил, что его дело не только никто не читает, но и не пишет никакой резолюции. Это означало только одно – решено заранее.

Прапорщик вышел, как оплеванный. Молодые парни в погонах лейтенантов в один голос с участием спросили: «Ну, как дела?»

– Пока не родила, – зло ответил Негретов, и быстро, как спортсмен-призер в спортивной ходьбе, вышел на лестничную площадку. От позора краска залила лицо, и хотелось, чтобы сбылось только одно желание – никого не встретить.

Три дня после комиссии Негретов не появлялся на службе. Он отправился к Верке. Они все это время проводили вместе и выходили из дома только за продуктами. Негретов называл это «понюхать воздух», Верка – «выгулять девочку». Одно другому не мешало, помогая забыться. Однако нужно было начинать заключительный аккорд драмы под броским названием «Увольнение на гражданку», и на четвертый день прапорщик, сославшись на служебную необходимость (правду женщине он сказать не мог), поехал в часть.

В батальоне ничто не поразило его, готового ко всему – ни холодность рукопожатий, ни вдруг облетевшие деревья перед КПП, сделавшиеся теперь уродливо-холодными, похожими на мертвые скелеты, ни особенно внимательные взгляды женщин в канцелярии батальона. По женским взглядам можно составить объективную картину своего настоящего положения. Жалостливый взгляд безошибочно кричит о дурной славе и ничтожной перспективе. Таким взглядом провожают смертельно больного человека или калеку, внезапно лишившегося здоровья. Надменный взгляд свидетельствует о том, что болезнь еще не смертельна, но твоя сила уже не опасна окружающим: таким взглядом исподтишка провожают молодых вдовцов и внезапно разорившихся игроков. Взгляд, просветивший его, как рентген, насквозь, но не спроецировавший внутренности на чувствительную пленку, он получил, войдя в отделение кадров за обходным листом – предвестником увольнения – от прапорщицы Любы, которая по роду своей деятельности снабжала всех младших командиров форменной одеждой. Люба занимала должность начальника вещевого склада, поэтому дружить с ней считалось хорошим тоном для любого здравомыслящего младшего командира. Свободная женщина неопределенного возраста уже после тридцати и до сорока пяти, она могла все. Могла обслужить офицера как полагается – если тот ей понравился своим красноречием (молчунов Люба не терпела: бабушка с детства научила ее, что не по-мужски краснеть и молчать, когда нужно инициативно действовать), могла, расшавившись выдать форменную одежду из разных комплектов (короткие брюки и длинный китель) – это был намек: «Я не разобрала тебя сразу, приходи снова». Могла подолгу заполнять неженскими каракулями толстую учетную книгу, покуда новенький молодой лейтенант или прапорщик сидел перед ней на алюминиевой табуретке, по неопытности не решаясь заговорить.

Негретова она сразу не разобрала, но самое странное, что и потом не разобрала, решив для себя, что «Негретов – типичная сволочь», благо вокруг было еще с кем экспериментировать. Сегодня Люба «не видела» Негретова потому, что его уже не было. Тот человек, который только то зашел в дверь, был лишь тень бывшего прапорщика. Негретова уже не существовало, он исчез из толстых учетных книг начальника склада и появится только после того, как командир подпишет обходной лист. «Тогда он еще будет искать меня, и поделом», – вскользь подумала она.

Среди множества других градаций женских взглядов встречаются: немислимые, жгучие, интригующие, зовущие, с поволокой, кричащие, уступающие, агрессивные, целующие, кроткие, ревнующие и взгляд, который как бы говорит: «Ты очень долго думаешь и теряешься. Потом пеняй на себя». Таких взглядов, как сегодня, в свою сторону Негретов в штабе не видел давно. Но все же одно удивило его и проняло так, что руки похолодели, а в животе образовался спазм. В канцелярии прапорщику Негретову под роспись вместо обходного листа вручили предписание явиться завтра в штаб округа, и не просто в округ, считавшийся в N-ской дивизии органом, главное которого не бывает, а в отделение по кадрам прапорщиков. На бланке предписания стояла дата: 28 октября 1999 года.

«Осень, ты на грусть мою похожа, осень,  
Не люблю тебя, но все же осень, осень,  
Вместе будем до зимы...» – запел вполголоса Негретов и поехал домой.

Двадцать восьмое октября. Ненастное утро. Негретов взглянул на небо: все привычно – свинцовый цвет, осень Петербурга. В девять-ноль (на офицерском сленге во имя краткости и точности не полагается добавлять второй ноль, если речь идет о «ровном времени») он должен быть в штабе округа. Негретов ехал с неохотой. Что может быть хорошего в штабе округа для прапорщика?

Посадить еще вроде не за что, но и уволить просто так, стало быть, не хотят. Вероятно, будут образцовые выговоры. Мало ли он их видел на своей короткой службе. Не все ли равно от кого их услышать снова? Было бы «что особенного». Крики, упреки, неудовольствия. Одно тревожило и нарушало чувство бесшабашности – по старой привычке к субординации генералу возразить труднее, чем подполковнику: прапорщик Негретов не знал, с кем будет иметь беседу.

А еще за десять дней до этого Дима Негретов, уже не раз простившись с армией и погонами, не раз выпив водки по одному и тому же поводу, прочитав объявление о вакансиях в газете, враз – за один день – устроился на работу таксистом. Он, конечно, никому не сказал в парке, что является военнослужащим, ведь попросили только паспорт и трудовую книжку, а эти документы у прапорщика всегда в наличии. Он ничего не сказал своему командиру о новом месте работы, во-первых, потому что Теплов был ему неприятен, а во-вторых, потому что считал свой армейский период жизни уже законченным.

Непривычным образом подстегивала обязанность выплачивать в сутки сумму аренды «Волги». Негретову досталась удивительно хорошая «ласточка» (так таксисты называют свои машины-кормилицы), на первый взгляд она не требовала ремонта в ближайшее время. Негретов сел в машину, выехал за ворота таксопарка на Большой Посадской 12 и только миновал шлагбаум, как сверху на голову ему упал жирный таракан. Неприятность.левой рукой Негретов удержал руль, а правой стал ожесточенно бить себя по шее – там, где почувствовал мягкое, щекочущее тепло, а потом, зажав между пальцами, с отвращением выкинул таракана в приоткрытое окно двери таксомотора.

«Недурное начало, – подумал Дима. – Тараканы – это к деньгам!»

В багажнике машины не было ни домкрата, ни аптечки, ни запасного колеса, ни необходимого набора инструментов для минимального ремонта, но все это не беспо-



коило Негретова: он чувствовал живые деньги так, так чувствует волк лося – живность стальную и неподатливую, но все же такую, какую способен завоевать. Время летело быстро.

Заступив на третью смену, каждая из которых длилась двое суток, Негретов предполагал, что «таксерская» работа станет его рабочей стезей на несколько месяцев или даже лет. В первые смены он положил в карман более полутора тысяч рублей. Эти деньги, заработанные за два-три дня, составляли большую конкуренцию месячному денежному довольствию невыдающегося армейского прапорщика.

На входе в Ленинградский военный округ, как и во всех округах, установлен пропускной (объектовый) режим. Негретов дважды показал предписание и удостоверение личности, его дважды записали в неведомые журналы. И даже после этого прапорщик оказался в комнате ожидания вместе с другими, вызванными или по своим нуждам пришедшими военнослужащими, с показной беспечностью развалившимися в кожаных диванах-креслах и ожидающими ненавистного приказа сверху – когда зайдет дежурный по отделению офицер и кликнет пофамильно людей, требуемых высшим командованием.

Время тянулось медленно: Негретов успел подробно рассмотреть небрежно положенную штукатурку на потолке, грошовую лепнину, разделительную линию белой и розовой краски на стенах, которая проходила как раз на уровне голов сидящих напротив людей настолько неровно, что, казалось, была выдержана в стиле Остапа Бендера, по необходимости рисовавшего «хвостом непокорного мула». Все помещение, напоминавшее по объему класс №21, кричало о своем казенном назначении и отсутствии перспектив.

Такую же комнату можно найти в любой муниципальной поликлинике, в любом отделе соцобеспечения и до последнего времени в любой школе.

«Нормально, – борясь с зевотой, подумал Негретов. – Родимо, привычно».

Офицер вошел почти беззвучно.

– Прапорщик Негретов, – степенно сказал сухой голос.

– Здесь, – ответил Негретов.

– Прошу за мной, – сообщил старший лейтенант.

Негретов шел за старшим лейтенантом по узким извилистым коридорам, пять раз поднимаясь и несчетное количество раз опускаясь по лестницам на неведомом уровне относительно поверхности земли – сквозь этажи. После третьего подъема он начал специально запоминать расположение лестниц относительно входа, поскольку всегда хотел контролировать ситуацию самостоятельно, не завися от воли свыше, но запутался. К повороту лабиринтов он был не готов. Вот если бы заранее знать, можно было бы собраться, мобилизовать память для запоминания... Вспомнился «Щит и меч», Йоганн Вайс, феноменально запоминавший с листа горы информации о немецких концентрационных лагерях.

Кроме подъемов и спусков они преодолели множество поворотов в лабиринте коридоров здания бывшего генерального штаба Российской Империи. Подойдя к невзрачной, однослойной, как и все остальные, деревянной двери, офицер углубился внутрь, рекомендовав Негретову подождать. Он так и сказал: «Рекомендую подождать», – демократичное слово «рекомендую», никак не увязывающееся с общей обстановкой, резало слух.

Прошло более пятидесяти минут. Прапорщик, не видя мест для сидения, нервничая в незнакомой обстановке от непредсказуемости предстоящего разговора, прогуливался вдоль длинного коридора, с двух сторон которого находились посты с дежурными. Он доходил до одного поста, замеряя шаги, и возвращался к другому. Комната располагалась почти посередине коридора, так что всего прапорщик насчитал 568 шагов, потом сбился и, чтобы сохранить бодрость духа, запел спонтанно пришедшую в голову

германскую песню: «Наши солдаты и офицеры...» Разумеется, про себя. В эти минуты лицо его ничего не выражало, словно каменная маска одержимого.

За время ожидания бедолага увидел нескольких генералов, с которыми свободно, без доклада, здоровались за руку прапорщики и младшие офицеры, попадающиеся им на пути. И сам Негретов кивал головой седовласым старцам в генеральских погонах, искренне жалея, что не взял с собой фуражку – тогда бы обязательно отдал по привычке честь. Но от того, что здесь, в помещении, генералам не отдавали честь так, как записано в Уставе, словно действие происходило не иначе как в столовой или месте оправления потребностей, все походило на некий фарс – генералы прохаживались, как дома, а все остальные соответствовали рангу прислуги настолько, что генерал мог движением бровей высказать свое мнение относительно любого вопроса. Нижестоящие чины так стремились следовать правилам субординации, что усердно выполняли любые поручения, высказанные вышестоящим начальником. Фарс был замечен лишь Негретову, все остальные, похоже, искренне считали, что занимаются архиважным делом. Если бы можно было плюнуть незаметно, Негретов плюнул бы. Однако, его не оставляли ни на минуту предоставленным самому себе: с торцов коридора упрямо смотрели дежурные.

«Где я, кто я?» – не раз спросил себя прапорщик.

Когда он уже перестал надеяться на быстрый исход мероприятия, дверь кабинета, в которой пропал дежурный офицер, растворилась и человек в погонах майора позвал его:

– Прапорщик Негретов, это вы? – входите!

Негретов вошел. Первое, что он увидел – окно, выходящее на Дворцовую площадь. Слева в кабинете сидел прапорщик, а справа от двери уселся тот самый старший лейтенант, который вызвал Негретова, рядом с ним стоял стол майора. Еще один стол у окна был свободен. Казалось, в этой комнате негде банану упасть.

– Подождите, – сказал старший лейтенант. – Начальник сейчас подойдет.

Негретов стоял между столами недолго. Открылась дверь, и уверенно вошел подполковник.

– Николаев, – представился он.

– Прапорщик Негретов, – Негретов перестал сутулиться и вытянул руки по швам.

– Садитесь, – указал «подпол» на стул рядом со своим столом.

Негретов присел.

– Я начальник отделения по кадрам прапорщиков, – медленно и четко произнес подполковник. – Я смотрел ваше дело. Есть вопросы.

Негретов молчал. Он ждал криков и претензий.

– Почему вы увольняетесь? Какие причины? Мы год назад присвоили вам звание прапорщика, э-э-э... – он посмотрел на календарь на стене, – сейчас октябрь, вы подписали контракт, и согласно ему должны служить до лета 2003 года.

– Я и готов служить, товарищ подполковник! – ответил Негретов, покраснев.

Николаев открыл красную папку, лежавшую у него на столе, с изображенной на титуле звездой, и пару минут молча смотрел в нее.

– У меня другие сведения. Вы написали рапорт на увольнение. Дивизионная аттестационная комиссия его подписала. Вас увольняют. Мы не можем этого пропустить. У нас несколько сотен вакансий прапорщиков в округе. Может, не так близко от дома, но тем не менее.

– Я писал рапорты в Чечню, товарищ подполковник. Все они не были удовлетворены, более того, скорее всего вы не найдете их следов – они порваны.

– Как так? – Николаев искренне удивился. За соседними столами офицеры перестали писать и шуршать бумагами.

– Вот так!

Он сглотнул слюну. Если бы сейчас Негретов имел возможность видеть себя в зеркало, то поразился бы произошедшей в нем перемене – лицо своим цветом напоминало перезревший помидор, а скулы выдались вперед, выказывая решимость растоптать, раздавить все, что встанет на пути. О глазах и сказать страшно – навывкате, как у быка, стремящегося на красное.

«Вот так», – сказал он и осекся... Развернутый ответ требовал времени и внимания, но такой уверенности в слушателях у прапорщика не было.

– И вы хотите служить в Чечне?

– Да, хочу.

Пауза протянулась еще на минуту. Все обратились в слух.

– Как это так? Вы готовы поехать сейчас?

– Да.

Подполковник Николаев много видел в жизни, и этот ответ сам по себе не поразил его. Поразила уверенность и безапелляционность, сквозившая в словах негрозного на первый взгляд, даже инфантильного прапора. Эта искренность с бесстрашным безумием, казавшимся мстительностью, необдуманный шаг в неизвестность, граничащий с юношеским бахвальством и безудержностью. Слово «да», произнесенное Негретовым, соединялось с выражением лица, мимикой, фанатичным блеском глаз. Прапорщик дышал настойчивостью и непреклонностью. «Это или очень хороший человек, или очень плохой», – в одну секунду подумал Николаев. Именно эти слова он слышал от своего отца в далекой родной станице Ворошиловградской области (позже переименованной в Луганскую), когда тот, провожая одного из останавливавшихся у них гостей, говорил: «Негоже перечить ему, пусть проявит себя, тогда и узнаем».

Подполковник, не изменившись в лице, взял телефонную трубку и так же спокойно сказал:

– Нужно будет написать еще один рапорт. Подождите.

Он набрал номер.

– «Граф», это «Стрела», я подполковник Николаев, соедини с кадрами.

Минутная пауза. На Петропавловке выстрелила пушка.

– Базу вакансий. По прапорщикам, по прапорщикам! Хорошо, отбой.

На секунду задумавшись, он посмотрел Негретову в глаза.

– Есть должности командира взвода, старшины роты, начальника склада. Вы подойдете на каждую, выбирайте.

– Я готов на любую должность, товарищ подполковник, – сказал Негретов. Теперь голос его звучал раболепно от неожиданности и от того, что он еще не верил в такое быстрое осуществление своей мечты.

– Командиром танкового взвода пойдете?

– Конечно, товарищ подполковник.

– Вот и решено. Через три дня вы должны быть в Камышовке. Там сейчас есть наши специалисты, они формируют команду и помогут вам в адаптации.

\* \* \*

**В**осьмого ноября, списанный со всех счетов по месту службы, Негретов уже представлялся начальнику штаба N-ской бригады.

– Прапорщик Негретов прибыл по предписанию.

– Давайте.

Начальник штаба, седовласый подполковник, оторвался от красной папки. Почитал. Выдержал паузу.

– Хорошо, размещайтесь. Я дам распоряжение, вас поселят в 27-е общежитие.

– А как долго мне ждать?

– Пока не будет борта в Моздок. А кроме того, вы должны зарегистрироваться в продовольственной службе, в отделении кадров, в службе вооружения. У нас тут многие ждут отправки. Располагайтесь и отдыхайте. На службу можете пока не выходить.

Несколько раз Негретов ходил в штаб к ответственному офицеру-подполковнику, который обеспечивал отправку в Чечню. Эти походы нельзя было назвать полезными, за исключением того, что двое военных в разных погонах дружески здоровались, улыбались друг другу и подполковник жаловался на некомплект его кадрового аппарата, вынуждавший его почти ежеминутно отвлекаться то на телефонные звонки, то на вызовы к начальству, то на паясничавший ксерокс, в котором давно нужно было заменить картридж (и подполковник с тревогой ждал, что ксерокс умрет завтра, но никак не сегодня). Ничего путного для прапорщика не выходило.

Сегодня Негретов зашел в штаб бригады на всякий случай. Делать ему несколько дней было нечего – ешь в столовой, пей вечером да спи когда хочешь. Надоело. Сегодня он надеялся получить привычный ответ – «борта не будет», поехать спокойно домой, в Питер и, напугав своим присутствием родных, уже проводивших его в дальний путь, провести время в комфортной обстановке – у вечернего телевизора, дернув с батарей по паре сотен грамм.

Внезапно в кабинет, где Негретов один ожидал выскочившего по обыкновению подполковника, вошел высокий военный с детским лицом в капитанских погонах.

– Здравия желаю, капитан Василевский, – поздоровался он. Вы не в курсе, когда самолет в Моздок?

– Желаю здравствовать, – ответил прапорщик, – присаживайтесь, товарищ капитан, я бы также желал знать это.

Василевский присел на свободный стул напротив Негретова и с обескураживающей простотой спросил:

– А вы, простите, что, тоже туда собрались?

Своей гражданской манерой поведения и разговора, в котором прослеживались и иногда шокировали свободные от устава речевые обороты, Негретов еще на старом месте службы заработал прозвище «умник». Василевский тоже не отличался косноязычием – об этом свидетельствовали его фразы, улыбка без повода (Негретов сидел мрачнее тучи – болела голова), и прапорщик сразу узнал в нем своего, гражданского, «спиджака».

– Да вот, пытаюсь уговорить подполковника отправить меня с ближайшим бортом, но сегодня, как видно, нет не только борта, но и самого...

Он не договорил – в кабинет быстрой походкой, напоминающей нечто среднее между спортивной ходьбой и бегом трусцой, заскочил лысеющий подполковник; прапорщик и капитан одновременно встали, как будто внутри у каждого из них сработала сжатая пружина.

– Здорово, здорово, – быстро, не глядя в глаза, пожал им руки подполковник и тут же без паузы произнес:

– Фу-у-у! До понедельника борта не будет. В понедельник, семнадцатого вы оба должны быть к восьми ноль на аэродроме в Левашово – и дай Вам Бог!

Через полчаса Негретов знал о Василевском все, что тот пожелал рассказать в кафе гарнизонного дома офицеров. Было комфортно и тепло. Внутренний подогреватель, который, не сговариваясь, они заказали себе, размораживал комки недоверия и замкнутости, которые вот уже две недели с разной силой подступали к горлу обоим. Мужчина, на самом деле, один может немного. Даже несмотря на то, что имеет большой запас выносливости и приспособляемости к обстоятельствам, неочевидный и скрытый во внутренних резервах, мужчина, находясь в непривычной обстановке, без друзей, постоянно находится в напряжении и ожидает нападения. Найдя друг в друге родственные души, оба военных почувствовали, что некий клапан, сдерживающий их

эмоции на протяжении нескольких дней открыт, и опасаться некого. Им показалось, что это надолго, и беспокоящие проблемы, которые неразрешимым комом нависли над каждым из них в последнее время, неизвестность и туманная перспектива дальнейшей жизни или, если угодно богу, смерти, скрытой от них, враз перестали тревожить.

Василевский не был кадровым военным. Он дважды менял гражданскую форму на военную, а один раз даже на милицмейскую.

Однажды, на военных сборах, где временно призванных после военной кафедры лейтенантов называют «партизанен», Василевский почувствовал кайф. Можно часами ни о чем не думать. Просто идешь, смотришь в спину впереди идущего и держишь шаг. Какая разница – куда идешь. Сказали стоять, стоишь; сказали садиться, садишься. Но когда он поймал себя на мысли, что ни о чем не думал минут сорок, его это насторожило. Василевский посчитал, что деградирует в заволаживающем этапе пассивности и отупения, когда все решается за него. Но не найдя подходящей работы в Питере, он сделал прямо противоположный его логике шаг – подал рапорт на службу в пограничные войска. Пограничникам обещался двойной оклад в Печенге, что позволяло кое-как существовать семье.

Позднее, уволившись из погранотряда с окончанием первого контракта, заслужив капитанское звание, Василевский переехал в родное Колпино и поступил на службу в милицию – опером. Но и там капитану не пришлось дожидаться пенсии. Жене не нравился пьяный муж (который не нравился даже себе самому), ненормированная работа со слабым доходом и начало блокирования административной границы вокруг Чечни – все эти события в итоге предопределили его дальнейший путь капитана. Он оказался в Камышовке.

Человек этот с первого взгляда показался Негретову и необычным, и замечательным одновременно. Необычным потому, что ни манерами, ни выучкой, ни своей улыбкой – естественной и обескураживающей – не был похож на кадрового военного. Этим он и был замечателен.

«Странное звание – капитан. Я со своим характером вряд ли дослужусь, а этот ничего, жив-здоров», – поймал себя на мысли Негретов.

Василевского было трудно не заметить – высок ростом, с густыми черными усами, которые как-то скрывают, но вовсе не портят его лицо. Светлые сердитые глаза и откровенный, порой наглый взгляд часто смущали многих. Сам он смущался редко, даже играя с уголовниками в гляделки: кто-кого переглядит на спор – а за выигранным спором часто следовала важная информация. Капитан натренировался так, что мог не моргая сканировать взглядом человека несколько минут. Непосвященному и незнакомому с ним человеку при встрече казалось, что «этот долговязый знает про меня много вещей». Казалось, он непременно страшен в гневе. Когда он молчал и не улыбался (а таково было его обычное состояние), то производил впечатление человека, прячущего в себе глухую силу.

Он не скрывал ни своих убеждений, которые, в зависимости от многих предпосылок, воспринимались коллегами и начальством лояльно или отрицательно, ни того, что сам в тринадцать или четырнадцать лет пару раз задерживался родной милицией – то за бесцельное катание с приятелем в автобусе, то по ложному предположению, будто бы нюхал клей. Одних удивляла такая откровенность, другие считали ее за признак недалекости. Как люди глубоко цельные и уверенные в себе, Василевский никогда не думал показать себя с лучшей стороны и охотнее соглашался на отрицательное, нежели на примерное впечатление о своей особе. Тогда он чувствовал себя в своей тарелке.

Однажды его, уже офицера милиции, вежливо пригласили в РУБОП<sup>67</sup>, где расследовалось дело о нападении на инкассаторов с угрозой оружия. Нападение было совершено на милицейской машине, и Василевский оказался как две капли воды похож на одного из нападавших. Там Василевский задержался на четверо суток (действовал указ президента о тридцатисуточном задержании до предъявления обвинения), почувствовав себя в шкуре задержанного, обвиняемого, и самое главное – с пристрастием допрашиваемого человека, как бывает у нас всегда, когда хотят во что бы то ни стало кого-то найти на роль «козла отпущения». Отсидев в общей камере (милиционеров не сажают в одну с уголовными элементами), он вышел очень изменившимся человеком, приобретя шарм висельника, которого помиловали в момент намыливания веревки. Удивительная интуиция и эрудиция в вопросах уголовного мира всегда была присуща этому менту, но теперь его авторитет среди сослуживцев стал почти непререкаем, а продвижение по службе... приостановилось.

С тех пор Василевский подумывал о добровольном уходе из милиции.

Ему претили и ерничество, и уменьшительно-ласкательные выражения. Однажды, в своем кабинете он застал опера, снимающего показания с женщины, не отличавшейся (это знали все) строгими нравами и постоянством, которая, кроме потенциальной венерической заразы на этот раз попала с «хорошим» (после такого задержания сотрудникам милиции дают премию) пакетом наркоты. После слов опера, вытирающего ей слезы носовым платком («Ну, детка, давай я тебе помогу, лапочка ты моя бедненькая...»), она почти уже перестала плакать и готова была говорить, но тут вошел Василевский. Мигом оценив обстановку, он с шумом опустил тяжелый кулак мимо головы проститутки на стол и хриплым голосом прикрикнул: «Давай колись, сука!» После такого произвольного действия «добрый-злой следователь» спорить с ним не хотелось. Так выглядела одна его сторона, одна маска.

110

Но во внеслужебной жизни Василевский был совсем не страшен. Если он мягко улыбался, а это случалось даже тогда, когда на него никто не смотрел – просто вспомнилось что-то хорошее, капитана словно невероятным образом подменяли. Улыбка его мгновенно растапливала и преобразовывала ситуацию, настолько она была естественна, непредсказуема своей мимикой и открыта: уголки глаз искрились лучиками морщинок, щеки выдавались вперед, рот, изгибаясь полукругом, обнажал ровный ряд белых зубов. Когда он ухаживал за будущей женой, она обзывала его «лицедеем»; это прозвище приклеилось и на службе.

Он понимал гораздо больше, чем должен был понимать милицейский опер, был умен и образован и обладал той способностью постижения отвлеченных идей и чувств, которая редко встречается в людях. Старушка мать, как почти все матери для своих чад, прочила ему необыкновенное будущее, невесту красивую и богатую, должность начальника и всеобщее уважение. Но случилось по-другому. Василевский женился в двадцать четыре года и вместе с женой теперь тянул двух дочек-младшеклассниц.

Он делил свое время между опостылевшими дежурствами, попойками с коллегами, написанием всевозможных справок, выездами по сигналу «02» вместе с милицией патрульно-постовой службы, редкими засадами, частыми совещаниями и разработками, допросами – всем, что требовала от него служба, и пребыванием дома. Именно в такой последовательности. И бывали долгие периоды – они могли длиться неделями и даже месяцами – когда он забывал серьезно думать о жене, дочерях, их желаниях, потребностях и трудностях. Также забывал он думать и о своих нуждах, если они откладывались позже, чем на день. Все, что было ему нужно – чистое белье, отглаженная рубашка и брюки. В такие, привычные уже периоды, в доме заправляла

<sup>67</sup> Региональное управление по борьбе с организованной преступностью (в 1995-1998 годах), действовало в регионах, но подчинялось напрямую главному управлению в Москве и поэтому было свободно от давления

его жена, женщина во всем, что касалось повседневного порядка, трат и вкусов строгая, но до дочерей безотказная. Дочери не нуждались ни в чем, что касалось их необходимого обеспечения, а капризы и пристрастия выполнялись родителями в меру возможностей – как складывалась ситуация. Деньги всегда значили много для Натэллы, как официально звали жену Василевского. Сам он со времени знакомства с нею завел другую традицию, которая, впрочем, не отвергалась женой, и сначала с любовью, а затем уже по привычке называл ее мягко – Натуля.

У Натэллы был истинный талант к шитью. Она нередко брала заказы и обеспечивала каждодневную круговерть семейного очага вместе с основной работой «на Ижоре». Ей самой до конца было непонятно, почему не везло с деньгами. Когда она время от времени начинала копить какие-то излишки, то непременно приходило время – так складывалась ситуация – их потратить. Если случался удачный дорогой заказ и удавалось подзаработать, то, как назло, вскоре терялся кошелек с кругленькой суммой – так бывало несколько раз. Она беспокоилась и видела в этом то порчу, то сглаз, то, по обыкновению, нерадивость мужа, который должен был бы ее обеспечивать и много зарабатывать, а вместо этого кормить всю семью приходится ей.

Василевский был, по сути, ее противоположностью: зарабатывал он нерегулярно и мало, деньги не ценил, но, словно в компенсацию за это, провидение посылало ему или внезапные находки, или, что случалось несравнимо чаще – денежные подарки от подследственных и задержанных.

«Ну разве за этим выходят замуж?» – спрашивала-пилила ее ближайшая подруга Мариша, тоже работающая в Колпино, в этой большой деревне, где все всё друг о друге знают и большинство жителей работает на монстре «Ижорские заводы». Других подруг, чтобы можно было обсудить любую тему и оставаться спокойной за доверенную тайну, у Натэллы не было.

– Представляешь, мужики-то все нынче пошли хилые! Ни плясать, ни зарабатывать не умеют. Вот мой, посмотри, целыми днями чего-то там работает, а выхлоп – чих-пых и нету, – показывала она Марине фигу, – на что жить то?

– А ты ему со своих заказов денег не даешь?

Натэлла помотала головой.

– Пусть сам зарабатывает, мне бы дочек поднять. Я с маткой, – так она называла мать, – откладываю. Ну, что за облом такой в самом деле – первый муж попался тоже сначала без денег, но тот хоть заработать потом сумел.

Словно вспомнив важное, она преобразилась, так что засверкали глаза, и начала говорить громче и резче, почти скороговоркой:

– А знаешь, как он меня доставал, когда свои деньги пересчитывал?

– Ну? – удивилась подруга.

– Придет вечером весь грязный, вонючий – он же у меня в автосервисе работал...

– Да я помню, – вставила Мариша, – че дальше-то?

– В ящик стола пачку положит и озирается, как будто я его деньги захватить хочу. Потом идет в ванную, – это я его приучила, раньше, как только сошлись, от него даже простыни черными становились. А после ванной говорю ему, бестолковому, иди на кухню, я тебе суп (слово суп, у нее получалось выговаривать как «сююп») сготовила. Так нет – первым делом опять в комнату и к ящику: пересчитывать начинает.

– А там много денег-то было? – поинтересовалась Мариша.

– Много. Я считала однажды, – Натэлла, улыбнувшись, посмотрела сначала на стену, потом на Маришу. – Полмиллиона было.

– Да ну?.. И за какое время это он у тебя намолотил?

– Ну, не знаю, может, за полгода. Он пришел ко мне тоже пустой. Представляешь, я его вымыла, вычистила, накормила, вкус почти привила – для себя же старалась, а теперь что? Им какая-то проститутка пользуется.

Проституткой в словах Нателлы была любая другая женщина, это Мариша хорошо знала.

– Потом, правда, стал этот свой ящик на ключ закрывать – мало ли что, говорит, от греха подальше.

– Так может, он засек, что ты эти деньги считала... – Мариша не договорила.

– Нет, – перебила Натэлла, – я аккуратно считала. Мы же ездили с ним в Белоруссию за туфлями... несколько раз. Потом загранпаспорта делали. Это ведь что его деньги, что мои были, одно, считай, и то же.

Небогатая разведенная Мариша – обычная русская баба – знала продолжение этой истории и жалела подругу. Первый муж Стасик ушел вскоре после того, как Натэлла родила мертвого мальчика, и забрал то, что осталось у них от «его» денег, то есть, почти все. Но на мировоззрение подруги касательно денег и накоплений Маришина жалость не распространялась. «Бодливой корове Бог рогов не дает», – говорила она про себя, когда за Натэллой закрывалась дверь.

Изредка Василевский находил для дома больше времени – случались периоды отпусков или относительного затишья на работе. Этому обыкновенно предшествовало болезненное состояние, раздражительность и замкнутость. Тогда Натэлла спрашивала его участливо, не случилось ли чего на работе? Зная, как он любит «свою ментуру», она предполагала, что именно в работе причина его неудовольствия и напряженности. Через несколько дней само собой все проходило, и муж становился таким же добродушным, искрометным и приятным в общении, как в период ухаживаний. Но тем не менее, и этот период продолжался недолго. Складывалось впечатление, что Василевский жил двумя жизнями в одном теле и переход от одной к другой, чаще всего зависящий от внешних обстоятельств, скрытых от понимания жены, оказывался угнетающим для всей их семьи.

Свою внутреннюю жизнь, до которой никому не было дела и которая сливалась с потребностью работы в милиции больше, чем тянула в семью, Василевский никому не показывал, оттого что не верил в добро и искренность (его этому научила работа), боялся осуждения и насмешек и в то же время осуждал себя сам. Он был убежден, что так жить нельзя. Но тело жило, работа шла, семья существовала, и примеры на службе, услышанные от коллег и увиденные воочию, кричали о том что, в сущности, происходящее с ним нормально, все так живут. Будоражащие совесть мысли о своей роли в семье Василевский гнал подальше; не найдя быстрых ответов, он боялся самокопанием и самобичеванием уничтожить себя. Всевозможные поводы выпить никогда им не игнорировались, а бывало, что и он сам выступал инициатором групповых пьянок сотрудников своего отдела. Василевскому шел тридцать третий год.

\* \* \*

**Н**а аэродром прапорщик приехал прямо из Питера. Домашние не знали об очередных сборах – рано утром Негретов незамеченным вышел из дома. Капитан Василевский не спал всю ночь: сначала оттого, что выпил, затем, отрезвев, он старался выучить все инструкции, сказанные ему накануне начальником штаба – Василевскому доверялось довести до Чечни сто пятьдесят контрактников, добровольно пожелавших сменить «бесперспективную гражданку» на авось боевой армейской службы. В подчинении у капитана никогда не бывало больше тридцати человек, сейчас же получалось в пять раз больше, причем все обеспечение, кроме сухих пайков – и вещевое, и продовольственное, и материальное – было наказано выдать контрактникам только в Моздоке. Никого из этих людей Василевский раньше не видел, знал только, что все они набраны добровольно из Петербурга и области и два месяца проходили подготовительные сборы на полигонах учебного центра Сертолово. Контрактников должны были доставить прямо к борту утром восемнадцатого, где их



и предстояло принять капитану. Все это, а особенно почти всегда сопровождающая такие действия неорганизованность и неизменно возникающие на пустом, казалось бы, месте непредвиденные обстоятельства, а также деньги, полученные под расписку – подъемные для контрактников за их добровольное решение участвовать в антитеррористической операции – роилось в голове и мешало покою капитана.

«Негретов, кажется, служил в этом самом Сертолово, будь оно неладно, – подумал он. – Он мне поможет, хоть в этом я не один!» С такими мыслями он приехал в Левашово, где его уже ждали Негретов, контрактники и полковник Кузьмин.

Приобнявшись с новым другом, Василевский получил взбучку от полковника, наблюдавшего эту сцену. Полковник отозвал Василевского в сторону и строго приказал следить не только за контрактниками, но и за прапорщиком, потому что от него «всего можно ожидать», и он, полковник Кузьмин, знает это так же хорошо, как и то, что сейчас они все улетят в Моздок. Василевский мало понял из возбужденного монолога полковника, но спорить не стал и обещал присматривать за всеми.

Негретов сослужил-таки службу Василевскому – все разговоры с контрактниками, которые с первых слов капитана поняли его мягкий склад характера, прапорщик жестко пресекал, где шуткой, а где и тычком в грудь нарушавшего военную субординацию бойца.

Вся водка, не пойми как попавшая в вещмешки контрактников после проверки Кузьмина, была изъята и оставлена на аэродроме в Сертолово на радость летному составу. Контрактники, сдружившиеся между собой за два месяца совместного времяпровождения и теперь жавшиеся кучками по всему чреву Ан-24, все еще были в оцепенении и замкнутости, пока борт не набрал высоту, и решение, кому-то казавшееся правильным, кому-то авантюрным, перестало иметь обратный ход.

Ан-24, двухвинтовая гордость и трудовая лошадь советской транспортной авиации, казался стареньким и даже допотопным от своей вибрации, явственно ощущавшейся внутри. Весь путь до Моздока занял четыре с половиной часа, и за это время никто не провалился в дремоту. Страх неизвестности и подчиненность обстоятельствам, когда твоя жизнь и будущее не зависят от тебя, как в этом перелете, всецело находясь в руках летного экипажа «птицы» и слепой случайности, невидимо изменяли этих людей. Лица тех, кто не закрыл глаза, были напряжены, те же, кто прикрыл веки, выказывая внешнее равнодушие, или демонстративно открывал консервы с кашей, казались обреченными. Спокойствие излучали только пилоты – на них отдыхал глаз.

Негретов и Васильев в этом не отличались от основной массы военных, которых серый, грохочущий и вибрирующий самолет переносил в неизвестность. Их утомляло не столько неудобство месторасположения – они сидели рядом на узких скамейках, по ширине подобных детским табуретам, сколько неизбежная зависимость судьбы от внешних факторов и невозможность, собственно, помочь себе.

Прапорщик за перелет передумал многое, его мозг постоянно работал, задавая себе сакраментальный вопрос: «А надо ли было это делать?» И не находил ответа, если, конечно, не считать удовлетворительным ответ, что ничего другого в его ситуации предпринять было нельзя. Обычно Негретов бредил богатством и независимостью. Эти два недостижимых слова, казалось, являлись его главной целью в жизни. Именно жажда богатства толкала его разум в преисподнюю – то он стремился накопить деньги, экономя на еде и прочих мирских радостях, то был захвачен желанием безнаказанного ограбления богатого и, казалось, естественно недостойного человека, то ему представлялось, как он находит кошель с деньгами. Изюм в день и из года в год, если только Бахус не заставлял его отвлекаться от своей цели, Негретов культивировал в себе черты богатого человека.

Встречая его случайно, сослуживцы удивлялись одежде и манерам поведения прапорщика, явно отличавшим его от военного. В общении прапорщик тоже не казался простым – мат из его уст можно было услышать крайне редко, даже после изрядного

возлияния. Прапорщика трудно было принудить к чему-либо, что ему не нравилось. Все это отдаляло его от своих коллег, сослуживцев, вызывая у кого зависть, у кого пренебрежение, а у кого и слепую злобу – знай свое место. Негретов привлекал к себе отрицательные эмоции невольно, подобно магниту, и опытным путем научился выживать в недружественной обстановке, так что со временем она ему заменила обыденность. Против обыкновения, Негретов не озлобился, по крайней мере, так казалось ему самому, научившись парировать нападения и скрытые угрозы, ощущение которых он объяснял себе высокоразвитой интуицией. Парировал он адекватно, порой даже жестко, на будущее, для остротки, с силой мощной пружины, сжатой долгие годы. Его поведение напоминало действия продавщиц, не отягощенных образованием, когда те в ответ на замечания вымещали на покупателе всю накопленную злобу и унижение, хамством на хамство – почти как хороший милиционер. Деньги заменяли прапорщику если не все, то очень многое. Наедине с собой он не мог бы с точностью определить, чего бы не сделал ради денег. Глубина его мыслей о богатстве, неразрывно соединяемом с независимостью, поражала. Но для чего Негретову нужны были деньги?

Если бы его спросили, как Шуру Балаганова: «Сколько вам нужно денег для полного счастья?» – он бы не нашелся, что ответить, и, скорее всего, скромно заметил бы, что не в деньгах счастье. Но этот ответ был только внешним фасадом. На самом деле в нем жил другой Негретов, который знал, зачем ему много денег: для независимости от таких же, как он, для роскоши, для влияния на других, для возможности помощи другим – именно в такой последовательности. Но признаться в этом можно было только такому же Негретову, как он сам; впрочем, найдись другой такой же Негретов, он бы без слов все понял.

Был лишь один способ отвлечь Негретова от цели обогащения – любовь.

Влюбленный Негретов растворялся в предмете своего обожания почти весь, без остатка, и пока чувство захватывало его – оно управляло им, часто даже во вред ему самому. Личная логика, определяющая, где вред, а где польза, уступала место непредсказуемости внутреннего влюбленного Негретова, на время затмевая всех остальных Негретовых. Самые значимые воспоминания своей жизни он неизменно связывал с женщинами. Память о событии с бурным всплеском чувств превращала реальность в волшебство.

Но как ни стремился Негретов к своей заветной цели, дезорганизованность его характера не позволяла достичь заметных результатов. Три страсти бушевали в нем, не давая какой-либо одной подняться над остальными: страсть к богатству, страсть к чувственному удовольствию и страсть к Бахусу. Каждая из них завладевала прапорщиком лишь на время, а потом происходило что-либо, восстанавливающее неписанный паритет.

Однажды его любовница сказала ему в шутку: «Сначала ты собираешь деньги, потом тебе становится стыдно от жадности и ты начинаешь их безудержно тратить». Негретов запомнил ее слова – это было правдой.

Если бы он мог задуматься о положении вещей, то увидел бы, что при такой организации ему не суждено добиться значительного успеха ни в одной из своих страстей. Бахус звал его время от времени, никогда не призывая надолго; это многих удивляло, как и то, что Негретов мог сегодня курить, а завтра уже не курить, сегодня выпить много или мало – неважно, а завтра демонстративно отказаться от рюмки. В этом, впрочем, как и во всем остальном, он казался себе несравненным, хотя знал, что встретит ту же исключительность, неповторимую музыку характера в душе или внутренних переживаниях каждого находящегося рядом с ним солдата. Чувство предрешенности судьбы всех этих никому не нужных людей в камуфляже, неудачников и одиночек, становящихся для него теперь роднее родных, накатывало до тошноты в животе, до комка в груди. Когда самолет попадал в воздушную яму,

Негретов отвлекался от страшных мыслей, но через несколько секунд они снова забирали его полностью. Мысли о том, что многим из этих контрактников, а может быть, и этому, рыжему, сидящему слева, получившему сегодня от прапорщика удар в грудь за непристойность, не суждено вернуться домой. «А что, если и меня там убьют? – думал прапорщик. – Ведь никто ничего не знает. Вот сидит Василевский, и видать, думает о том же – о жене, детях, родителях, сестре. Что он думает?.. То же, что и я? Отпустили ли домашние его в очередной раз подзаработать или смиренно приняли решение военного, согласного с присягой? Любят ли его или только терпят? Лишний или нужный?.. Что будет с нами, ненужными и неизвестными, лишними для всех? Надо гнать от себя эти мысли! Если меня убьют, кто отомстит Джавдету?.. Белое солнце пустыни...»

\* \* \*

**Н**а аэродроме Моздока все дышало войной. Громадные земляные насыпи с трех сторон закрывали каждую единицу боевой техники. Взлетные полосы на несколько сот метров, куда охватывал взгляд, были единственными прямыми линиями, вокруг них начинался рельефный пейзаж из высоких сопок и лунок-укрытий. Редкие десять минут проходили спокойно, без оглушающего шума взлетающего истребителя. Винты вертолетов, невидимые в вечерних сумерках, со звенящим треском распарывали воздух. На иссиня-черном небе зажглись редкие звезды, когда «транспортник», отстреляв тепловые ракеты-ловушки, выгрузил весь контингент команды Василевского на землю.

Летчики с возбужденными и красными лицами промелькнули перед строем и снова скрылись в чреве Ан-24 – у контрактников, впервые летавших на «дребезжащей посудине», создалось впечатление, что управлять таким самолетом четыре с лишним часа обычному человеку просто невозможно. Сразу же появился начальник пересылочной базы, от которого Негретов и Василевский, а затем все остальные контрактники узнали, что завтра поутру нужно быть готовыми к маршу до станицы Ассиновской, где стояла теперь боевая часть Н-ской бригады...

### *ЭПИЛОГ*

**К**апитан (полное невымышленное имя) Евгений Николаевич Василевский, командир мотострелкового взвода 138-ой Отдельной мотострелковой бригады министерства обороны погиб 8 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики.

**Валерий Нуйя**  
Valeri Nuja

*Поэзия*

*Вера*

**О**на не верила в любовь,  
Хотя имела имя Вера,  
И повторяла вновь и вновь,  
Что выше и важней карьера,

Листая ежедневник свой  
За столиком в кафе полночном  
И отмечая, что потом,  
А это надо сделать срочно.

И каждый день дела, дела.  
Уверенность напор и натиск.  
Давно б ребенка родила,  
Но ей такой расклад некстати.

А жизнь идет, а жизнь бежит,  
Без продыху и передышки.  
День на минуты весь разбит,  
И некогда читать ей книжки.

И некогда сходить в кино,  
И часа нет болтать с подругой,  
На подоконнике вино,  
Давно скучает вместе с мухой.

Но верится, – когда-нибудь  
Любовь к ней все же постучится,  
Проделав трудный долгий путь,  
Заставит и ее влюбиться.

И вот тогда ее глаза  
Наполнятся искристым счастьем,  
И в голубые небеса  
Взлетит сердечко в одночасье.

И все важнейшие дела  
Таковыми станут пустяками!  
Душа так долго в ней спала...  
Не верите – влюбитесь сами.



Родился в городе Торжке. После службы в армии переехал в Ленинград. Окончил факультет живописи Заочного университета искусств в Москве и рисовальные классы Института живописи, графики и архитектуры им. И. Репина. Работал художником-оформителем на Сталепрокатном заводе, в компании «Главзапстрой», на заводе «Красный выборжец», затем в Академии гуманитарного образования заведующим редакционно-издательского отдела. Участвовал во многих выставках в Твери, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Хельсинки. В 2011 году переехал в Финляндию.

## Юбилей

С березы за моим окном упал последний лист,  
И больше в шуме городском не слышен птичий свист,  
И грустен неба колорит – синь с серыми тонами,  
И мысль приходит: что потом? И кто идет за нами?

И верится уже с трудом в загробные миры,  
А ночью снится детство, дом и майские шары...  
Там я смеялся и любил Наташку из восьмого,  
Казалось, я счастливей был всех пацанов дворовых.

И небо было голубей, и птицы пели звонче,  
И из ладошки воробей ел семечки. Но впрочем,  
Сегодня я один сижу в своей родной квартире  
И мне сегодня шестьдесят, я будто на Памире.

С вершины лет своих смотрю на все, что было в жизни,  
И будто с Богом говорю, и он мне самый ближний.  
Кого любил, кто дорог мне, с кем жил, любовь ценя,  
Остались там, в другой стране, и им не до меня.

Листаю старенький альбом и смахиваю слезы –  
На фото я вхожу в свой дом, дарю супруге розы.  
Теперь сижу, пью сладкий чай, печаль с души гоня,  
В свой юбилей, где мы втроем – береза, Бог и я.



## Владимир По Vladimir Po

Поэт и декламатор. Живет в Финляндии с 1990 года. Автор книг «Сказки и были Вовочки стихоплета» (2007), «Палата № 6» (2011), «Город уснувших надежд» (2011). Подготовлена к печати книга «Плоды любви». Аудио-книги: «Палата №6», «Похититель снов», «Город уснувших надежд». Участник фестивалей авторской песни в Тарту и Хельсинки. Выступал с концертами в Клайпеде, Паланге, Вильнюсе.



Поэзия

### Полет души

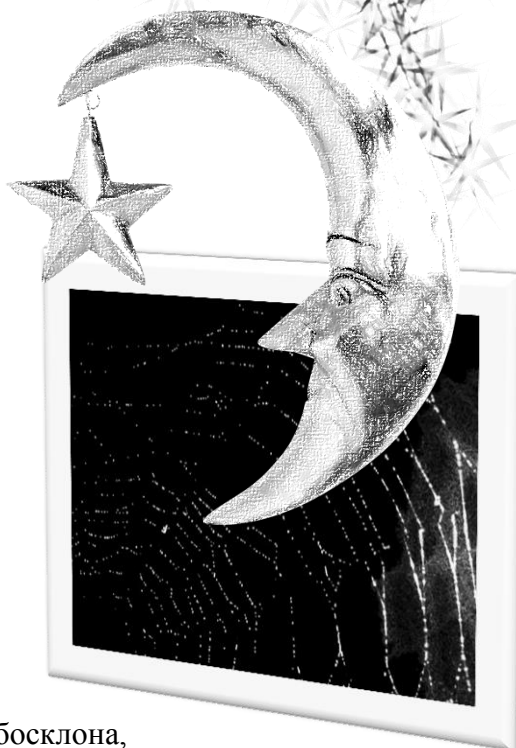
Я слышу звуки пролетающих комет,  
Я вижу то, что вам непостижимо.  
Для вас все звезды светят недвижимо,  
И оставляют полуночный след  
Чертой несказанных, таинственных желаний  
И сказочных несбыточных мечтаний.

Вы думаете, звезды все сгорают?  
Желания не сбылись, прока ноль?  
Нет, все не так! Поэты умирают,  
И яркою полоской сердца боль  
Несет их души к неизведанным мирам  
Что неподвластны и закрыты вам.  
Поэтов души бродят среди галактик  
И ловят звезд потусторонний свет.  
Из всех теорий, опытов и практик  
Вам не понять, что золотистый след,  
Полет души в загадочное царство  
Приносит нам несметное богатство, –

Богатство быть людьми среди людей,  
А не зверями выть среди зверей.

### Звезды-рыбы

Млечный путь расставил сети по заливу небосклона,  
Звезды-рыбы в эти сети угодили с головой.  
Трепыхаются и бьются в водах синего затона,  
Их бока в сетях искрятся серебристой чешуей.  
Он искусно водит невод между рифов и кораллов,  
Браконьерит ночью бойко в море лунных островов,  
Миллионы рыб огромных трепыхаются устало  
В паутине сновидений россыпями звездных снов.





Врач, кандидат медицинских наук. Работала в Ленинграде научным сотрудником в одном из ведущих научных медицинских учреждений, автор более сотни научных статей и книг. В 1991 году с семьей переехала в Хельсинки. В настоящее время является секретарем Объединения русскоязычных литераторов Финляндии.

Рассказы и переводы публиковались в журналах «Иные берега Vieraat gannat», «Родная Ладога», альманахе «Царицынские подмостки», малотиражной газете «Yhdessä». Автор книг «Человек, утративший надежду. Биография поэта Вадима Гарднера, рассказанная им самим» (2008), «Записки дамы элегантного возраста» (2009), «Моих странствий ветер...» (2010), «Три цвета времени. Дороги, которые нас выбирают» (2013).

## Людмила Яковлева

Ludmila Jakovleva

### Сашка

Проза

Каждый раз, когда вспоминаю этого доброго и хорошего парня, удивляюсь странной судьбе его. При всех положительных качествах, заложенных в нем, его жизнь сложилась нелепо и также закончилась.

Он был старшим сыном в семье наших ближайших соседей, с которыми мы познакомились еще в 1965 году, в том году, когда мы переехали на новую квартиру. Наш кооперативный дом был заложен в первых числах ноября 1964 года, а в июне следующего года мы уже праздновали новоселье. Родители Сашки – мама, Валентина Григорьевна, была преподавательницей музыки, а папа, Виталий Андреевич, морским офицером, капитаном второго ранга.

Они поселились этажом ниже. Это была среднестатистическая ленинградская хорошая и хлебосольная семья. Мне в то время было двадцать восемь лет, и я ничего толком не умела делать, ни готовить, ни заниматься хозяйством. Случалось, что, поставив в духовку пирог или, скажем, жаркое из мяса, я призывала «спасать» свое неудачное кулинарное начинание наших соседей. И хотя Валентина Григорьевна была старше только на одиннадцать лет, она терпеливо учила меня и никогда не отказывала в помощи. Поразительно, но моя нескладность и беспомощность в хозяйственных делах никогда не раздражали моих соседей. Я вполне допускаю, что наедине они подтрунивали надо мною, но наших отношений это нисколько не испортило.

Когда мы познакомились, Сашка был школьником. Как большинство мальчишек, он был драчлив и непослушен, учился неважно. На его беду в школе нашлся преподаватель, который всегда видел в нем только пло-

хое. Если что-то случалось, то преподаватель знал заранее, что виноват только Сашка и никто другой. Сашка же был добр и несчастен. Если Валя приходила с работы домой и видела, что все белье постирано и развешано на веревках в прихожей, это означало – Сашка получил очередную двойку или заработал замечание в дневнике. В этом случае Валя не знала, что делать, ругать его или благодарить.

Однако школу Сашке все-таки пришлось оставить. Он поступил в профессионально-техническое училище, потом – на работу. При этом он оставался таким же добродушным и сговорчивым парнем. Я долго чувствовала себя девочкой; иногда воображала себя пантерой и любила с разбега прыгать на него. В ответ он, легонько стряхивая меня, укоризненным баском говорил: «Ну тетя Мила!» Думаю, что со стороны это было очень смешно – я тоже не маленького роста. Еще во время обучения его в училище ему попался очень «добрый» наставник, который хорошо понимал психологию своих учеников, помогал им в трудные минуты, а в день полочки собирал с них деньги и доб-

росовестно всё с ними пропивал. Вот тут-то у Вали и началась бурная жизнь. Она все собиралась пойти в дирекцию училища и пожаловаться на «добряка-преподавателя», но и Сашка, и другие ученики так его обожали, что об этом и речи не могло быть. Сашка буквально в ногах у Вали валялся, обещал больше не пить, только не надо «вредить» их обожаемому наставнику.

Так все и продолжалось. А Сашка все больше пристрастился к спиртному. Тут в нем открылось новое качество: всегда тихий и покладистый, в подпитии он становился злым и неуступчивым, чего-то требовал, а если получал требуемое, начинал просить другое. Однажды я сама видела, как он нудно и бесконечно, как это умеют только пьяные, требовал от матери семьдесят пять рублей – эти деньги она ему была за что-то должна. Валя очень долго сопротивлялась, наконец, не выдержала и отдала ему долг. Получив требуемое, Сашка сразу ушел, а три купюры по двадцать пять рублей остались лежать на полу разорванными, на две части каждая.

До получения отдельной квартиры семья моих соседей жила в небольшой комнате в коммунальной квартире. Эту комнату, с обстановкой, посудой, холодильником и всем необходимым, отдали Сашке, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Скоро он женился. Я удивилась, как такая милая и симпатичная девушка пошла за него. Правда, Сашка был совсем не уродом, но пьянство уже начинало накладывать на него свой отпечаток. А девушка была на редкость хорошенькая – блондинка, с лицом и фигурой куклы Барби, тихая и безответная. Как-то она сказала мне, что любит животных и попросила принести ей белую крыску. При очередном поступлении в наш питомник новой партии крыс я принесла ей молоденькую чистенькую крыску-самочку. Крыска освоилась с новыми хозяевами, была умна и понятлива. Девушка сажала крыску на плечо и так ходила с ней повсюду!

Сашка же постепенно вернулся к прежнему своему занятию и стилю поведения. Но теперь в его власти оказалось беззащитное существо, и тут уж он развернулся. В конце концов, дело дошло до побоев. Как это обычно и бывает, молодая жена скоро забеременела. Сашка же продолжал пить, в пьяном виде буянил и избивал жену. Дело кончилось тем, что у нее случился выкидыш, она ушла от Сашки и стала жить у родителей. Скоро они развелись.

Как-то у себя дома я спокойно принимала ванну. Вдруг – настойчивые звонки в дверь. Вылезаю из ванной, смотрю в дверной глазок. На лестнице перед дверью стоит Лена, младшая дочь наших соседей. Впускаю ее в квартиру. Размазывая по лицу слезы и сопли, она рассказала мне, что прежняя жена Сашки решила начать новую жизнь. В данный момент она дома, который, кстати, находится на другой стороне улицы, с новым молодым человеком. Сашка же, узнав об этом, в порыве запоздалой ревности схватил отцовский морской кортик и собирается устроить разборку со своим «соперником».

– Тетя Мила, помогите, дома никого больше нет!

Прямо на голое, розовое от жара тело я надела халат и пошла вниз. Действительно, Сашка, пьяный и злой стоит в прихожей, зажав уже обнаженный кортик в руке, в позе, готовой к совершению колющих движений. Внутри себя я пришла в ужас – что будет его отцу, офицеру, за Сашкины «художества»?! Внешне же ничего не показала. Я толь-



ко протянула в сторону Сашки руку и сказала: «Давай сюда кортик!» Пожалуйста, не думайте, что я какая-нибудь героиня или обладаю необыкновенной смелостью. Ничего подобного. Но в данной ситуации я совершенно ничем не рисковала! Я знала, что уж мне-то Сашка ничего плохого не сделает. Ко мне Сашка относился очень хорошо и уважал меня, несмотря на то, что я прыгала на него, как дикая кошка. Как я и ожидала, он покорно отдал мне кортик. Я прижала холодный металл к голому телу под халатом и ушла в свою квартиру. Дальше меня Сашка уже не интересовал. Кулаками он много не навоюет, да и драчун-то он не очень ловкий. Кортик же я хорошо спрятала. Он потом лежал в моем тайнике еще долгое время.

Однако Сашка и далее продолжал пить и буянить. Все чаще он приходил на квартиру к родителям, скандалил, кричал, чего-то требовал. Жизнь его родителей стала сплошным кошмаром. Однажды Виталий Андреевич сказал мне, что Сашка арестован. Он убил человека... Я своим ушам не поверила. Ну, буян, ну, хулиган, но не убийца ведь. Потом выяснилось, что Сашка напился, в пьяном тумане отправился бродить, зашел в какой-то совершенно незнакомый дом, позвонил в какую-то чужую квартиру. Хозяева квартиры, весьма пожилые и больные люди, открыли ему дверь. Он пытался войти к ним, его не пускали. В процессе этой борьбы и Сашка, и хозяин квартиры, обнявшись, упали на пороге, а потом оказалось, что старик уже мертв. Сашку арестовали. Тут Валя сломалась. Я не знаю, смогу ли правильно объяснить, что произошло, однако попытаюсь.

Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки. Когда я была молодой и неопытной, то никак не могла постигнуть смысл этой поговорки. Мне казалось, что нет ничего неприятнее «троек», записей классного руководителя в дневнике и порванных штанишек. Вот теперь-то я поняла, что такое настоящая беда. Когда Сашка сел в тюрьму, Валя впала в истерику, начала кричать, что ненавидит его, что не хочет знаться с ним и видеть его не желает. И, действительно, с тех пор она с ним больше не встречалась. Многие осуждали ее и говорили, что мать не может отказываться от сына. Но я этого и слышать не хотела. Уже тогда внутренне я почувствовала, что говорила в ней не ненависть к сыну, а огромная любовь и бесконечное страдание матери. Вот и теперь, когда мой сын «взрослеет» и «отрывается» от меня, делая это неумело и грубо, я также испытываю несказанную боль и полностью понимаю Валю, больше того, я даже могу сформулировать ее чувства. Ее сын Сашка и все, что с ним произошло, причинили Вале такие неисчислимы муки, такие нечеловеческие страдания, что нестерпимая боль за несчастья сына «зашкалила». В своей беде она дошла до самого апогея, когда дальше терпеть уже нет сил, и, чтобы хоть немного облегчить страдания, Валя отказалась от встреч с сыном. Она превратилась в сосуд, переполненный болью и любое колебание этой боли было бы для нее невыносимым. Поэтому она как бы замерла в своих переживаниях. Встреча с сыном всколыхнула бы этот сосуд страданий, боль ужесточилась снова и захлестнула бы ее целиком. Она с первых слов прерывала все разговоры о Сашке. Валя так и не смогла пересилить свою муку и встретиться с ним до самой его смерти.

Виталий же Андреевич навещал заключенного, был и на суде, а также проводил его на отсидку. Позднее Сашка рассказал отцу, что во время совершения своего «преступления» был пьян и ничего не помнит. Как и зачем попал в этот дом, по планировке ничем не напоминавший дом родителей, почему ворвался в чужую квартиру? Помнит только – был настолько пьян, что и стоять-то на ногах не мог, а потому и не мог никого убить. Следствие установило, что старик умер своей смертью в тот момент, когда на пороге его квартиры появился Сашка; так они вместе и повалились. Суд Сашкины действия расценил как хулиганство. Однако то, что он был в состоянии алкогольного опьянения, явилось отягчающим обстоятельством и ему дали наибольший по данной статье срок – пять лет. Это решение судьбы удивило даже государственного обвинителя,

он не требовал так много. Последнее слово заключенного состояло в том, что он попросил прощения у всех, и у своих родных, и у родных покойного.

Сашка отсидел все пять лет, от звонка до звонка. В тюрьме встретил каких-то знакомых «воров», которые помогали ему и опекали его, и над ним тюремная братия не издевалась. Так что тюрьма, несмотря на все страшные ее обстоятельства, не сломила его. Однако пятилетнее отсутствие привело к тому, что соседи коммунальной квартиры, где ранее жил Сашка, разграбили и захватили его комнату. В те времена действовал закон о том, что если человек не живет постоянно в месте прописки, он должен появляться там каждые полгода, иначе право на жилье теряется. Совершенно очевидно, что, сидя в тюрьме, такое условие выполнять невозможно. По этой причине, после возвращения из тюрьмы, жить ему стало негде. Семья собрала денег, продуктов и одежды. Виталий Андреевич неоднократно встречался с Сашкой, но говорить на эту тему в их доме было трудно: Валя сразу начинала плакать и кричать, а потому я не лезла в их дела.

Скоро я узнала, что Сашка оказался на работе где-то в Красноярске. И опять не удалось ни о чем поговорить и ни о чем расспросить. А через некоторое время мне сказали, что Сашка погиб. Началась перестройка, цены взлетели на недосягаемую высоту, а пенсии упали вниз. Билеты на самолет стоили очень дорого, и подобные путешествия пенсионерам были не по карману, – родные собрали и отправили деньги на его похороны... Так трагически закончилась история Сашки, симпатичного парня, слабого, доброго и покладистого.

Лет через пятнадцать, когда уже не было в живых Вали, – она скончалась скоропостижно от инсульта, – Лена рассказала мне, что, находясь в заключении, Сашка работал на «химии». Прораб предложил ему свободное поселение, но за это ему пришлось бы отдавать «добряку» почти всю свою зарплату. Сашка отказался по двум причинам. С одной стороны, его задела наглая форма шантажа. Вторая причина была весьма обыкновенной, экономической: если всю свою зарплату он станет отдавать прорабу, на что же будет жить? Как, все-таки, ему везло на «добряков»!

*2002, 21 июня*



## Наталья Мери

Natalia Meri

Живет в Хельсинки с 1992 года. Член Объединения русскоязычных литераторов Финляндии с 2000 года. Автор поэтического сборника «Я – везде, я – нигде». Публикации: журнал «Иные берега Vieraat rannat» (Хельсинки), альманах «...На каменистых финских берегах» (Тампере), подписное издание «Личность и культура» (Санкт-Петербург). статьи об истории и значении православных икон, опубликованные в газетах «Kamppi», «Kirkko ja kaurunki» на финском языке.

Поэзия

### Нью-Йорк

1

Чудо модерна – камнестеклянный,  
выросший ввысь а не вширь,  
быстродвижения ритм постоянный  
пьет естество, как упырь.

Как в нереальности, мареве, дреме  
свет быстроглазых реклам  
дарит горенье энергоподъема  
нашим усталым глазам.

В монстровом чреве – по плацу Бродвея  
девочка смуглая шла  
и, неуверенно, словно робея  
тачку с цветами везла.

Как же ты, девочка, яркая птица –  
в каменный этот капкан?  
В дальние дали уж не возвратиться,  
в рай, где шумит океан...

Яркий зрачок первобытного глаза  
к стенам крутым не привык.  
«The» не читается с первого раза,  
неповоротлив язык.

Дни без размера, без веса и цвета  
высветят ночь твоих глаз...  
Радуйся, дочь океана и лета,  
радуйся, как в первый раз.



II

Музей искусства в тесноте Нью-Йорка...  
От «Звездной ночи» глаз не оторвать...  
Кандинский же – толпы не собирает,  
американцам чужд мужик с косою,  
корова, баба, свечка, самовар...  
Их взоры привлекают итальянцы,  
испанцы, Сальвадор Дали.  
Но тут, смотрю – Наталья Гончарова!  
Наталья Гончарова, да не та.  
Она писала пальмы в топ-модерне  
и нас покинула в шейсят втором году.  
Но как же ты, Наталья Гончарова,  
почти племянница жены поэта,  
в далеком и чужом Нью-Йорке  
себя в искусстве обрела?

*Волшебный танец\**

Древняя магия в прорезях масок  
заморозила на миг...  
Не умаляет старение красок  
силу волшебную их...

Взгляд зацепляют неровные формы,  
идолов сонных глаза...  
Может, от запахов пряностей черных  
видятся здесь чудеса?

Видится танец ритмичный и звонкий,  
длящийся долгую ночь...  
Видится ибис на веточке тонкой,  
не улетающий прочь...

В длинных одеждах, особенным зельем  
вас окуряют жрецы,  
кружатся головы, словно с похмелья,  
льется энергия Цы.

Идол огромный глазами-углями  
смотрит пронзительно... Ра  
всходит на свод золотыми стопами  
и – затихает игра...



*2012, 16 декабря*

\* Написано после посещения музея Новой Гвинеи и Океании в Нью-Йорке.



Поэт, литературный критик и литературовед из Казани. Родился в 1975 году в селе Калда Барышского района Ульяновской области. В 1998 году окончил филологический факультет Ульяновского государственного педагогического университета по специальности «русский язык и литература». В 2006 году там же защитил кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству поэта Николая Благава. Является автором поэтических сборников «Стихотворения», «Возвращение», «Цветоповал» и монографий «Поэтический мир Николая Благава», «Николай Благов», «Лирика И.Л. Лиснянской в контексте Русской поэзии».

## Рамиль Сарчин

Ramil Sarchin

### «Я – везде, я – нигде...»

(О стихах Натальи Мери)

## Критика и публицистика

«Тоска по родине! Давно // Разоблаченная морока!» – с горькой иронией и в то же время с неизбывной тоской произнесла Марина Цветаева, после тяжких мытарств и потерь вынужденная оставить Россию. А вот как быть, если ты в ней только родился и уже в полугодовалом возрасте был лишен возможности жить здесь, как случилось это с поэтессой Натальей Мери? Что же, получается, тогда и тосковать не по чему, раз, по ее признанию, «незнакомо мне чувство отчизны». Но читая ее книгу «Я – везде, я – нигде...», убеждаешься, что даже при таком раскладе судьбы чувство Родины и тоска по ней удивительно парадоксальным образом живут в человеке, ничуть не утихая в даях времени и пространства. Наоборот, словно прямо пропорционально им, только усиливаются. Видимо, оно, это «чувство отчизны», впитано нами с молоком матери, заложено в наших генах. Но проступает и живет в душе и в судьбе каждого по-своему.

Итак, по не зависящим от нее обстоятельствам жизни Наталья Мери совсем младенцем покинула Родину. Далее были Алжир, Каир, Эстония, Финляндия... И всегда, еще, наверное, неосознанно, и тем более верно, в душе была Россия. Это с годами придет осознание, что забыть ее нельзя, равно как нельзя отречься от заведенной свыше судьбы. Россия – это судьба. В таком измерении она мыслится поэтессой. Поэтому куда бы ни повернул ее жизненный путь, она «собирала повсюду частицы // размельченной судьбины» своей. И «чувство отчизны» становится равным формуле «я – везде, я – нигде». Так через весь мир происходит приобщение к России, а через нее – ко всему миру. Таковы дали Родины.

Их необозримость приводит автора к обращению к поэтике «невыразимости», в свое время блестяще явленной Тютчевым. Его имя в разговоре о поэзии Натальи Мери не случайно. Он, как мы помним, тоже долгое время провел за пределами своей родины, что дало ему в полной мере прочувствовать истинную бездну тоски по ней и духовным зрением прозреть ее безграничные пространства. Ее – и Родины, и тоски. Не тоски по родине, а именно Родины-тоски. И кому, как ни Тютчеву, с полным на то правом было дано выразить всю «невыразимость» этого «чувствопонятия»:

Умом Россию не понять,  
Аршином общим не измерить:  
У ней особенная стать –  
В Россию можно только верить.

Возвращаясь к Наталье Мери, отмечу, что ее образ Родины романтически идеализирован. На пути к ней душа поэтессы всегда устремлена ввысь. Корни этого порыва следует, видимо, усматривать в ее детстве, когда, кстати, и пошли первые стихи – в восьмилетнем возрасте. «В школе, на уроке музыки, под нежную мелодию стихи сами полились на бумагу», – как пишет о том во вступительном слове к книге «Я – везде, я – нигде» Н.Б. Покровский, приводя эти самые первые стихи Мери: «...Как хорошо сейчас где-то в саду сидеть // и под ночные звуки нежную песню петь...». Детскому сознанию вообще свойственно восприятие действительности как некоего мифа, окрашенного в цвета идеала, окруженного ореолом мечты. В сонете «Голубая кровь» Наталья Мери, словно определяя истоки своей жизни и творчества, пишет:

Девчонкой светлоглазой, златокудрой  
парить любила в облаке мечты:  
принцессой небывалой красоты  
хотела стать, а не монашкой мудрой.

Разговор об образе Родины в стихах Мери напрямую связан с определением особенности ее мироощущения: при всей романтизации-идеализации действительности, идущей из детства и укорененной во «взрослой» жизни художника, ему свойственна крепкая связь с земной реальностью. Нежелание отрываться от земли идет, на мой взгляд, от постоянного ощущения своих корней, почвы, от памяти родины и надежды ее обретения – не в мире мечты, а в реальной жизни, от нежелания окончательной утраты светлого образа, сопротивлением чему проникнуто все творчество поэтессы. Мери пытается связать, «примирить» «земную» родину, с которой утрачена связь, с родиной «небесной», созданной воображением художника и откристаллизовавшейся в идеал. Наиболее ярко этот порыв явлен в стихах: «Душа к березам приросла, // в их кронах разметалась». Но ощущение внутреннего противоречия, душевного надлома, некоего разрыва между мечтой и действительностью, «небом» и «землей» остается: «Я попрощалась и ушла, // а сердце там осталось...».

Терзания души, обремененной земным, конфликт между тем, что есть, и тем, что должно быть, постоянные размышления о смысле, точнее, о бессмысленности существования вне родины, минор, тоска – все это не от чувства ли утраты корней с Родиной, с родиной изначальной, от отлученности с ней? Хотя при этом следует подчеркнуть, что ни малейшей зазоринки между «небом» и «землей», тем, что есть и чего желается всем усилием воли, – нет: «кажутся бессмысленными время // и расстояние между мной и мной». То есть тем что «мною» «во мне» (созданный воображением, мечтой идеал, образ «небесной» родины) и «мною» «во всем» (земная реальность).

Конфликт между «тем» и «этим» чувствуется больше на уровне подсознания. Физически ощущаешь трудности от того, что это подсознательно чувствуемое, едва осознаваемое столь же едва поддается словесному оформлению, выражению. Оно больше видится духовным зрением и, из-за почти лишенности реальных, земных примет, мыслится лишь на уровне отвлеченностей. Выше, в размышлении о Родине-тоске Тютчева, у меня возникло слово «чувствопонятие». Оно очень уместно и в разговоре о духовных устремлениях Натальи Мери: «Пытаясь выразить то, // что невыразимо» (читай: в надежде обрести утраченное земно-реальное, почву) – «смотрю на прошлое», – пишет автор в стихотворении «Невыразимое». Напряжение духовного зрения автора, пытающегося прозреть мрак, туман, дымку прошлого, глубоко скрытого в памяти, прозреть бездны души, хорошо отражает удачно найденная метафора светотени, давшая название циклу из четырех стихотворений.

Романтизация-идеализация образа Родины и шире – жизни вообще ведет автора к обращению к арсеналу образно-художественных средств периода романтизма. Так, у нее часты сочетания словосочетаний «существительное + существительное в родительном падеже», как, например, жизни срок, печаль утраты и др. Для поэта важна

понятийность, «знаковость» в смысле обозначения реалий-понятий, а не признаковость. Отсюда стремление к обобщенности, причем в такой степени, которая уже граничит с отвлеченностью и то и дело переходит в ее качество.

Чувством лишенности почвы, опоры, разрыва с родиной продиктовано, как мне представляется, обилие отвлеченных метафор в стихах Натальи Мери: мировая вода, жизни утро и др. Эти метафоры – романтико-символического характера. Они лишены своей материально-зримой сущности, реалистичности, а мыслимы на языке понятий-чувств, становясь некими «знаками» родины.

Такой же «знаковый» характер обретают в стихах поэтессы даже, казалось бы, самые же что ни на есть конкретные образы: «Россия. Осень. Лопухи. // Репейники в два метра». Но они в контексте стихотворения и в свете всей книги воспринимаются не столько как реальные приметы действительности, сколько как «знаки» Родины – идеальной по своей сущности. Отсюда в процитированных строках перечислительно-номинативная структура стиха: реалии только обозначаются, но для возникновения и реализации «чувства отчизны», мечты этого вполне достаточно. Эти реалии оказываются наиболее «зримыми» понятиями, на которых зиждется память о родине со всем связанным с ними комплексом чувств, представлений.

Их зримость поддержана и звукообразами: «Писала первые стихи // под шум листвы и ветра». Они отражают музыку души поэтессы, окрашивающую все в «чувственные» краски и тона: «далеко безмятежное лето, // что сердцами, сердцами согрето». Вспомним, что под музыку было написано и первое стихотворение поэтессы. Музыка вывела юную душу из земной реальности в мир воображения, духа. Здесь нужно искать еще один исток порыва ввысь и вдаль. Может быть, еще и поэтому, вкупе с чувством утраты родины, Россия познается, прежде всего, чувством, где-то даже интуитивно, и само это чувство приобщает поэта к ней: «Я сегодня пьяна ностальгией // по тебе, дорогая Россия».

Обращение к поэтике романтизма, особенно – раннего, выражается у Мери и в многообразии романтических мотивов в ее стихах. «Сквозным» мотивом антитетичного сопряжения духа и тела, «неба» и «земли» пронизано стихотворение «Я – дух, томящийся в застенках тела...» – и по стилистике, и по интонации, по образности, по настроению воскрешающее в памяти стихи первых русских романтиков:

Я – дух, томящийся в застенках тела,  
мне скучно и темно в моей тюрьме.  
Я б эти цепи разорвать хотела,  
не покорившись жизни и судьбе!

Я – пламень в ледяном дворце приличья –  
сгораю, толщу льда не растопив,  
тоскую от людского безразличья  
и угасаю, срок свой искупив.

Но – в конце – прорыв в сугубо свое, «судьбинное», в сердце выношенное:

Я – плоть от плоти крошечной вселенной,  
сливаюсь с каждым камнем и цветком,  
почувствовав на краткое мгновенье,  
что я нашла долго желанный дом.

Мотивами романтического томления по идеалу, тоской проникнуты многие стихи Натальи Мери. Порой они приводят поэтессу к столь же «романтической» эсхатологии – мыслям о конце света:

Неизмерима и непрерывна  
цепь заблуждений,  
проблесков сознания,  
страх, ненависть и созиданье  
будущего в ожидании замедленной  
кончины мироздания.

Но не скатиться в бездны крайнего пессимизма помогает свет того самого «чувства отчизны», согревающего душу человека, – его веры, его опоры, его божества. Поэтому в своей «Молитве», посвященной матери (!), Наталья Мери и обращается к Родине. Стихотворение очень показательно в свете всего сказанного о книге «Я – везде, я – нигде...», поэтому остановлюсь на нем особо.

Начинается оно с обозначения идеально-идиллического мотива, являющегося отражением детского ощущения Родины, какой-то чуть не генетической памяти о ней: «В розово-сиреневом, летнем палисаднике // пить бы чай малиновый с милыми детьми». И – следом, сразу же – столкновение с реальностью, с судьбой: «А Судьба назначила быть бездомной странницей, // Ею уготованы пасмурные дни», где «пасмурные дни», при всей своей, казалось бы, конкретности в связи с «летним палисадником», становятся отвлеченной метафорой тоски, утраты, обреченности. Но вот возникает «знак» Родины: «зябнущие березы» (почти совсем как у Цветаевой, хотя у той – рябина: «...если по дороге – куст // Встает, особенно – рябина...») – и полилась молитва:

С наступленьем вечера – к Ангелу с молитвою,  
пусть коснется бережно трепетным крылом.  
Голосочком ласковым, убаюкав сказкою,  
успокоит душеньку долгожданным сном...

Так избывается боль-тоска, и душа приобщается к Родине – к самой заветной Истине.

2010, 9 ноября  
Казань





Родился в Подмосковье, в городе Коломне, где и живет. Печатался в газетах «Куйбышевец», «Северная магистраль», «Ярославский строитель», «Коломенская правда», «Вопрос-ответ», «Советская Коломна», «Грань», журналах «Край городов», «Молодая гвардия», «Великороссь», «Клаузура», в «Коломенском альманахе».

В 2008 году вышла книжка избранных произведений «Лабиринт чувств», а в 2011 году – сборник эссе «Спорные мысли» и сборник фантастики «Тайные хроники». Лауреат Третьего Всероссийского фестиваля «Господин Ветер» в номинации «Проза» (2012).

## Сергей Калабухин

Sergey Kalabuhin

### Битва за Прибалтику

Размышления над страницами исторического романа Ивана Лажечникова «Последний Новик»

#### *Критика и публицистика*

В 2010 году моя родная Коломна и, уверен, не только она, отметила 220 лет со дня рождения замечательного писателя, «русского Вальтера Скотта», как называли его современники, Ивана Ивановича Лажечникова. Ранее, как это ни прискорбно, я читал только его исторический роман «Ледяной дом», которым некогда восхищался сам великий Александр Дюма. И не только восхищался, но и даже самолично перевел этот интереснейший роман на французский язык!

Иван Лажечников – мой земляк, родом из нашей древней подмосковной Коломны. Поэтому знаменитый «Ледяной дом» всегда был в любой городской библиотеке. А вот «Последний Новик» я смог найти только сейчас.

«Последний Новик» просто насыщен интересными для любого читателя персонажами и событиями. В нем несколько сюжетных линий, переплетающихся между собой. Масштабные батальные сцены сменяются любовными интригами, примеры пламенного патриотизма и верности соседствуют со сценами преда-

тельства. Любовь в романе Лажечникова присутствует во всех своих проявлениях: платоническая, взаимная, безответная, преступная страсть, любовь братская, материнская, к Родине и т.д.

Лажечников описывает в своем романе времена более чем столетней (для него и тогдашнего читателя) давности. Поэтому он ненавязчиво разъясняет читателю подоплеку исторических событий в авторских отступлениях и ремарках, органично вплетенных в повествование. Роман исторический в полном смысле этого слова. Сам Иван Лажечников пишет: «Началу работы над романом предшествовала полоса исторических изучений... Чего не перечитал я для своего «Новика». Могу прибавить, я был столько счастлив, что мне попадались под руку весьма редкие источники. Самую местность, нравы и обычаи страны списывал я во время моего двухмесячного путешествия, которое сделал, проехав Лифляндию вдоль и поперек, большею частью по проселочным дорогам».

Эта насыщенность «Последнего Новика» историческим материалом и авторские ремарки, возможно, были вполне достаточны для современников Лажечникова. Но мне их не хватило. Уж больно поверхностно преподавали нам описываемые в романе времена и события в советской школе. Да и в нынешней вряд ли дело преподавания русской истории обстоит лучше. Я читал «Последний Новик» и не находил ответов на возникающие у меня вопросы.

Во-первых. Действие романа происходит триста лет назад в Ливонии, Ингерманландии и Финляндии. То есть, на территории нынешних Латвии, Эстонии и Карелии. А где же в романе латыши, эстонцы, финны? Одни немцы и шведы! И эта ситуация, судя по ремаркам автора романа, сохраняется и через сто тридцать лет после описываемых в «Последнем Новике» событий!

Во-вторых. Почему русский царь Петр Первый считает Ингерманландию своей вотчиной? Как само собой разумеющееся в одной из авторских ремарок Лажечников пишет: «В Лифляндии места имеют иногда по три и четыре названия: немецкое, латышское, чухонское и русское». Как такое получилось?

И я тоже полез в исторические источники.

Европейские страны, а вернее их короли и императоры, постоянно воевали друг с другом. Войны длились годами, десятилетиями, была даже Столетняя война! Но все распри немедленно откладывались, стоило лишь России сделать малейший шагок в сторону Европы. Вчерашние враги тут же объединялись и общими усилиями старались «загнать русского медведя в его берлогу». Европа не желала, да и сейчас не желает признавать «северных варваров» равноправными членами «западной цивилизации».

Когда внутри европейские разборки стихали, папа Римский старался организовать какой-нибудь крестовый поход и сплавить большую часть освободившейся вооруженной массы подальше от себя. Во время одного из таких походов крестоносцы попутно разгромили и уничтожили самого главного врага папы и католической церкви вообще – православную Византийскую империю, место которой в духовном мире с тех пор заняла Русь.

Русь росла, мужала и все активнее заявляла о себе. А это значит, что уменьшалось влияние папы Римского и формально подвластных ему европейских монархов на сопредельные Руси территории и населяющие их народы. В первую очередь это касается Украины и Прибалтики. Московская Русь усиливалась, а крестоносцы слабели и теряли «Святую землю».

Папа Римский решил «одним ударом убить несколько зайцев»: он организовал крестовый поход не в Палестину, а в Прибалтику, тогдашнюю Ливонию, населенную племенами латышей и эстонцев. Официальной целью крестоносцев было объявлено обращение ливонских язычников в католическую веру. Разумеется, это был лишь предлог для удаления из Европы большой массы вооруженных людей, захвата новых территорий и усиления религиозного натиска на православную Русь.

Для реализации поставленных задач был создан рыцарский Ливонский орден, костяк которого составляли германцы. Рыцари с воодушевлением кинулись огнем и мечом крестить несчастных латышей и эстонцев. Захватив Ливонию, орден не остановился, а двинулся на Русь. Ведь именно православная Русь была главной целью папы Римского, он хотел уничтожить наследие Византии и обратить русских в католическую веру. Собственно, эти надежды и по сию пору не покидают Римских пап.

Всем нам известно имя князя Александра Невского, разбившего войска Ливонского ордена на Чудском озере во время Ледового побоища. А ведь был момент, когда новгородцы всерьез решали, не принять ли им католическую власть! К счастью, орден был остановлен, хоть и сумел занять некоторые русские земли. Князь Александр до конца своих дней яростно и смело воевал с Ливонским орденом, но в то же время подавил несколько русских восстаний против монголов. Почему такая двойственность? Да потому, что война с орденом была войной не только за землю, но и за веру, за сохранение православия! Монголы были веротерпимы, они лишь брали дань, не претендуя на духовные ценности и местную власть покоренных ими народов.

Другое дело – католический орден! Русские наглядно видели, какая судьба постигла эстонцев и латышей. Фактически, Ливония так и не стала полноценным государством. Это была территория, полностью подвластная католическому военному рыцарскому

ордену, который построил здесь около пятидесяти замков и постоянно подпитывался кадрами из Германии. Местному населению изначально было определено место бессловесного и бесправного рабочего скота. Так что «ливонцами» в Европе всегда называли лишь правящую верхушку, говорившую и писавшую на немецком языке.

Латыши и эстонцы часто бунтовали против своего тяжелейшего рабского положения. Русь всегда, как могла, помогала восставшим и принимала беженцев. По этому поводу между Русью и Ливонским орденом не раз возникали, как сейчас бы сказали, дипломатические конфликты. Орден требовал от Руси возвращения бежавших рабов, так как все его благополучие было основано на эксплуатации коренного населения.

Быстро росшей Руси остро требовались квалифицированные специалисты во всех областях: архитекторы, строители, оружейники, металлурги, книгопечатники и т.д. Русские купцы хотели напрямую выйти на европейские рынки. Но Европу категорически не устраивало усиление Руси. Против нее была установлена настоящая культурная, технологическая и экономическая блокада. Специальным декретом германский император запретил пропускать через подвластные ему земли в Россию европейских квалифицированных работников и уж тем более отпускать своих, а в Ливонии за подобное деяние вообще грозила смертная казнь! Это был первый «железный занавес», которым Европа отгородилась от Руси.

Во времена правления царя Ивана Грозного значительно окрепшая и заметно расширившая свои границы Русь, наконец, накопила достаточно сил, чтобы бросить вызов Ливонскому ордену. За несколько лет тяжелейшей войны Русь фактически полностью разгромила орден, большая часть Ливонии была захвачена русскими войсками, которым оказывало всяческую помощь местное население – латыши, эстонцы, русские. И тогда Европа впервые открыто объединилась против Руси. Вчерашние враги – Польша, Литва, Дания, Саксония и Швеция объединили свои усилия. Не для того, чтобы спасти Ливонский орден, а для того, чтобы отбросить Русь от Балтики и торговых европейских путей! Им это удалось, тем более что Русь к тому времени была ослаблена не только войнами, но и внутренними раздорами, сопровождавшимися прямым предательством национальных интересов представителями высших кругов русской знати. Одна только измена главы русских войск в Ливонии князя Андрея Курбского чего стоила! Не говоря уж о тяжелейшем экономическом положении Русского государства. Люди нищали и покидали города. Коломна опустела на 91,5%, Можайск на 89%, Муром на 84%. В Пскове из семисот дворов осталось тридцать, под городом были заброшены мыльные варницы и трепальни.

Русские войска были вынуждены оставить Ливонию, которую тут же поделили между собой победители: Польша, Литва, Дания и Швеция.

Позднее ослабление Речи Посполитой, России и война в Германии привели в середине XVII века к возникновению в Европе нового сильного шведского государства, захватившего почти все земли вокруг Балтийского моря, которое даже стали называть «Шведским озером».

В романе Ивана Лажечникова «Последний Новик» мы видим Ливонию под властью Швеции. От могучего когда-то Ливонского ордена остались только рыцарские замки и властная элита. Положение же латышей и эстонцев значительно ухудшилось. К обычным податям добавились тяготы содержания шведских гарнизонов и налоги на войны, которые практически непрерывно вел шведский король. В романе описаны события, связанные со второй попыткой России присоединить к себе Ливонию. И эта попытка объединена, разумеется, с именем следующего, после Ивана Грозного, реформатора Руси – Петра Первого. Иван Грозный был первым русским царем, Петр Первый стал первым русским императором. А что мы знаем о Швеции?

Со времен своего государственного становления Швеция зарилась на прибалтийские земли и северо-запад Руси. Уже с середины XII века шведы пытаются оторвать от Руси Финляндию. Еще до знаменитого Ледового побоища новгородскому князю Александру

пришлось сразиться со вторгнувшимися на нашу землю шведскими захватчиками. Это произошло в 1240 году в устье Невы. За победу в этом сражении князю Александру и присвоили почетное прозвище «Невский». И только в XIV веке шведы добились своего. В 1323 году в Орехово между Швецией и Русью был заключен мир, по основному условию которого Финляндия признавалась составной частью Шведского королевства.

В описываемые в романе Лажечникова времена Швеция находилась в зените своей славы. Она – сильнейшее государство Европы, обладающее талантливым полководцем в лице своего короля Карла XII и не победимой пока никем армией.

Царь Петр прекрасно понимает, что Россию ждет неизбежная война с могущественным соседом. Он лихорадочно строит армию и флот, приглашает в Россию иностранных специалистов, старается как можно быстрее побороть внутреннюю оппозицию и инертность. Несколько таких иностранных специалистов изображено на страницах романа «Последний Новик». Это, конечно, ливонец Иоган Рейнгольд Паткуль, венецианец полковник Лима, француз полковник Дюмон, полковники фон Верден и фон Шведен.

Более того, Петр делает на первый взгляд самоубийственный шаг: он сам нападает на шведов! Уже с детско-юношеских игр с «потешными войсками» Петр прекрасно понимал, что армию надо обучать в боях с сильным противником. Слабый противник ничему научить не может, он только расслабляет своего победителя, внушает тому ложную уверенность в себе.

В 1700 году русские войска осадили Нарву. Ими командовал французский герцог де Сент Круа. Нарву защищал немногочисленный гарнизон. Осада затянулась, и к Нарве успел подойти Карл XII, у которого было всего восемь тысяч человек и тридцать семь орудий. У русских было сорок две тысячи человек и сто сорок пять орудий. Армия Петра сумела отразить только первую атаку шведов, а затем побежала. Шведам досталась вся русская артиллерия и обоз. Потери русской армии составили шесть тысяч убитыми и ранеными. Шведы потеряли две тысячи.

Лажечников пишет в своем романе о нарвской катастрофе: «Здесь-то преобразователю России определено было получить от царственного учителя своего жестокий урок и здесь же показать, с каким успехом он им воспользовался.

– Я знаю, – говорил он после нарвской потери, – что шведы будут бить нас еще раз несколько, но теперь мы ученики их, придет время, что мы их побеждать будем».

Царь Петр не стал предаваться унынию. По его приказу развернулось лихорадочное строительство новых заводов. В 1701-1704 годах на Урале четыре крупнейших металлургических завода начали выпуск железа, чугуна, ядер и пушек. В районе Белозерских и Олонецких рудных месторождений было построено пять металлургических и оружейных заводов. Одновременно строились мануфактуры, которые обеспечили армию обмундированием и снаряжением, кожевенный и портупейный заводы и т.д. По приказу царя Петра из церковных и монастырских колоколов было отлито 270 орудий. Петр в кратчайшие сроки формирует новую армию, вооружает ее, одевает, реформирует и обучает.

Почему после Нарвы Карл XII не пошел на Россию? Потому что он был молод и мечтал о славе. Швеция уже отторгла у России те прибалтийские земли, на которые зарилась еще в XII веке. Легкий разгром огромной, но плохо обученной русской армии мало что мог добавить к славе Карла. Захват России распылит бы шведскую армию на гарнизоны в российских городах, и на этом военные походы Карла могли закончиться! А шведский король рвался именно к европейской славе непобедимого полководца. Он мечтал диктовать свою волю европейским монархам, а не русским варварам.

Разгромив армию Петра, Карл XII посчитал, что надолго вывел Россию из игры, что тылы у него в полной безопасности, и всеми силами ринулся в Европу. Он даже оголил

в военном плане Ливонию и Финляндию, оставив в них только небольшие гарнизоны. И это при том, что ливонцы были явно недовольны своим шведским повелителем, по сути ограбившим и унижившим их, что и породило Паткуля. Еще предыдущему шведскому королю, Карлу XI, нужны были немалые средства для ведения войн. Вот он и отнял у ливонцев их исконные владения: земли и рабов. Как пишет в своем романе Лажечников: ливонские «отчины, без всякого уважения давности и законности, были отрезаны и отписаны на короля. Из шести с лишком тысяч гаков, бывших во владении частных лиц, с лишком пять тысяч были взяты в казну, тысяча с небольшим оставлены владельцам и при церквах».

Теперь эстонцы и латыши работали на короля, выручка от продажи всего, что они производили, шла в королевскую казну. Большинство ливонцев в одночасье лишилось и своих рабов, и доходов. Ливонские мужчины были призваны в шведскую армию и гибли в походах уже нового шведского короля – Карла XII, который в полной мере осуществлял свою мечту: громил армии европейских монархов, свергал и сажал на трон королей. Надежды ливонцев на то, что Карл XII отменит решение своего отца и вернет им их владения и привилегии, не оправдались.

Лучшего момента для захвата Ливонии Петру ждать было нечего.

И вот начинаются «тренировки» русских войск на оставленных в Ливонии и Финляндии шведских гарнизонах. Военные тактика и стратегия царя Петра прекрасно показаны в романе на примере действий графа Шереметева. Поначалу это мелкие стычки со шведскими отрядами, в которых русские солдаты и офицеры постепенно набираются военного опыта и преодолевают страх перед непобедимым противником. Лажечников пишет: «Схватками с малочисленными отрядами неприятеля знакомил он понемногу русского солдата с его силами, с потехою военных удач и воспитывал дух его к будущим победам. Уже зародыши русского флота брали смелость выходить из заливов Чудского озера.

...Под мызою Рапин, волонтер Михайла Борисович Шереметев разбил четвертого сентября 1701 года передовой отряд шведов. Потом сам фельдмаршал – в ответ на упрек своего государя: «Полно отговариваться, пора дела делать!» – отпраздновал первый день 1702 года первою знаменитою победой при Эррастфере, заставившей Петра I сказать: «Благодарение богу! мы уже до того дошли, что шведов побеждать можем».

Автор не скрывает, что русские поначалу одолевали шведов количеством, а не умением. Но вот Полтава уже была вполне заслуженной победой русской армии в битве почти равных противников. Погнавшись за европейской славой, Карл XII недооценил Россию, оставив ее напоследок, а главное, он недооценил царя Петра и в результате потерял все! К тому же Карл отвлек на себя, измотал и обескровил в боях те традиционно антирусские силы, что веками не пускали Россию на европейский театр действий.

Россия получила, наконец, Ливонию, вернула потерянные ранее земли в Прибалтике и Финляндию. На этот раз Европа не смогла ничего сделать военным путем, ибо у России появились армия и флот, способные разбить сильнейшую военную европейскую державу. Петр Первый прорубил в «железном занавесе» окно в Европу, которое в дальнейшем только расширялось, а во времена Екатерины Великой уже «ни одна пушка не смела выстрелить в Европе без разрешения России». И даже Пруссия, это тевтонское гнездо немецкого военного рыцарства, сама попросится в состав России и будет принята!

Вернемся к роману Ивана Лажечникова «Последний Новик». В нем есть все: исторические факты и личности, прекрасные описания природы, которым позавидовали бы и нынешние рекламные агентства турфирм, колоритные герои и персонажи, военные баталии, семейные и политические интриги, шпионы, раскольники и, разумеется, любовь. Прекрасно изображен героизм как русских, так и шведских войск.

Одной из основных линий романа является описание ливонского периода жизни Катерины Рабе (Кете), будущей любимой жены российского императора Петра Первого, известной нам в качестве императрицы Екатерины Первой. Разумеется, образ Екатерины в романе романтизирован и идеализирован. Однако, страницы, посвященные ей, читаются с огромным и нарастающим интересом. Особенно, если читатель быстро догадается, о ком автор ведет речь. Потому как лично мне как-то не посчастливилось столкнуться с описанием детства и девичества Екатерины Первой в исторических романах других авторов.

Все есть в романе Лажечникова, что может привлечь читателя. Нет только местного коренного населения в лице эстонцев и латышей. Они присутствуют где-то «за кадром» в качестве работников на полях и прислуги в замках. Тут уж ничего не поделаешь: Лажечников был сыном своего времени. В крепостнической России рабы тоже были наравне с рабочим скотом. Но мы должны понимать, что шпионажем в пользу русских занимались не только Последний Новик и подкупленные ливонцы в окружении шведских властей и местных магнатов, но и не считаемые за людей латыши с эстонцами. В реальной жизни, скорее всего, именно латыши с эстонцами снабжали русских оперативными сведениями о передвижениях шведских войск и гарнизонов, а также продовольствием, указывали дороги и тайные тропы в лесах и болотах. Они мечтали, что в составе России их жизнь станет легче. О создании собственных национальных государств, тем более независимых, ни латыши, ни эстонцы в то время даже задумываться не могли. Речь могла идти только об облегчении рабского ярма. К сожалению, даже эти скромные надежды и мечты не оправдались, и в этом корень наших нынешних бед в отношениях России и прибалтийских государств.

В романе Лажечникова есть жуткие страницы о зверствах, чинимых русскими войсками в Ливонии. Автор откровенно пишет о применяемой русскими азиатской тактике «выжженной земли»: «Новый, красноватый свет разлился по земле, и кругом небосклона встали огненные столбы: это были зарева пожаров. Из тишины ночи поднялись вопли жителей, ограбленных, лишенных крова и тысячами забираемых в плен. Таков был еще способ русских воевать, или, лучше сказать, такова была политика их, делавшая из завоеванного края степь, чтобы лишить в нем неприятеля средств содержать себя, – жестокая политика, извиняемая только временем!»

Даже Паткуль, сам убеждавший царя Петра побыстрее начать войну за присоединение к России Ливонии, не выдерживает зрелища военных зверств и покидает армию Шереметева. Он с негодованием говорит: «Холодная математическая политика Шереметева делает из моего отечества степь, чтобы шведам негде было в нем содержать войско и снова дать сражение, как будто полководец русский не надеется более на силы русского воинства – воинства, которого дух растет с каждой новой битвой. Я не мог смотреть на это обдуманное, цифирное потворство грабежу и зажигательству... я видел пожар моего родного края – и не видал ничего более!»

Но и Шереметева можно понять. Никто пока не побеждал шведов. Разгром под Нарвой еще саднил незаживающей раной. Карл мог в любой момент вернуться в Ливонию со всей своей армией, и что тогда? Результат не трудно предсказать. Поэтому Шереметев делает все, чтобы армия Карла не нашла никакой опоры и поддержки в Ливонии. Ни одна армия не может воевать без снабжения продовольствием и снаряжением. И Шереметев пишет царю Петру: «Посылал я во все стороны полонить и жечь. Не осталось целого ничего: все разорено и пожжено; и взяли твои, государевы, ратные люди в полон мужеска и женска пола и робят несколько тысяч, также и работных лошадей и скота с двадцать тысяч или больше, кроме того, что ели и пили всеми полками, а чего не могли поднять, покололи и порубили...»

Шведы, захватив Ливонию, установили там свои порядки и законы. И это правильно! В государстве должны действовать единые законы. Ливонцы, несмотря на

сильнейшее недовольство ущемлением своих исконных прав и привилегий, установленных еще во времена ордена, все же остаются верными шведскому королю. По крайней мере, так изображено на страницах романа Лажечникова. Взять хотя бы судьбы братьев Густава и Адольфа фон Траутфеттер. Один из них погибает в битве под Полтавой, прикрывая спасение шведского короля Карла XII, другой попав раненым в русский плен, только после фактической смены власти в Ливонии присягает на верность новому правителю – российскому императору Петру Первому. И честно служит России, закончив жизнь русским генералом!

Итак, Петр Первый присоединил к Российской империи Ливонию и Финляндию. Но он сделал это не так, как пытался сделать Иван Грозный. Царь Иван снимал с эстонцев и латышей ненавистное им рабское иго ливонских немцев. Те либо гибли в боях, либо бежали со всем семейством. Поэтому коренное население Ливонии воспринимало русских как освободителей. И помня это, латыши с эстонцами всеми силами и средствами помогали армии Петра, надеясь, что тот изгонит ливонцев с их земли, как это делал некогда Иван Грозный.

Но Петр поступил по-своему. Он вернул присягнувшим ему на верность ливонцам и финляндским шведам все их владения и власть! Все осталось по-прежнему: немцы и шведы правили, а финны, латыши и эстонцы рабски трудились на них. Почему Петр так поступил? Неужели, «прорубив окно в Европу», он сам не очень-то верил, что оно не захлопнется в скором времени, как это случилось при царе Иване Грозном?

Россия получила, наконец, выход к Балтийскому морю, несколько прекрасных городов-портов, Ригу и Таллинн. Но Петр зачем-то начинает строить на болотах Санкт-Петербург! Тратит на это огромные силы и средства! Тысячи российских мужиков сгинули на этой стройке, в том числе и новые подданные Петра – латыши и эстонцы. Вот что пишет из Ливонии Шереметев царю: «Указал ты, государь, купя, прислать чухны и латышей, а твоим государевым счастьем и некупленных пришлю. Можно бы и не одну тысячу послать, только трудно было везти, и тому рад, что ратные люди взяли их по себе».

Бывшие ливонские рабы легли костью рядом со своими русскими братьями на стройке новой столицы, возникшей на картах мира Российской империи.

Почему император Петр Первый ограничился лишь формальным присоединением к России Ливонии и Финляндии, предоставив им довольно широкие автономии? Да потому что ему позарез нужны были европейски грамотные и обученные кадры! Своих-то пока не было. Прибалтийские немцы и финляндские шведы в полной мере соответствовали нужным требованиям. Но как заставить их служить России, а тем более приобрести их верность? Ту самую верность, с каковой они совсем недавно так доблестно сражались за шведского короля?

Пример Иогана Рейнгольда Паткуля наглядно показал Петру, что лучшие и талантливые из ливонцев готовы на все ради сохранения их привилегий и владений. Шведский король в зените своей славы и силы покусился на них и получил такого врага как Паткуль. А сколько таких паткулей меньшего масштаба появилось тогда в Ливонии? Европа будет просто счастлива, если Россия своими руками создаст столь мощную «пятую колонну» в собственных пределах.

Да, Петр Первый сознательно пошел на беспрецедентный шаг, оставив в присоединенных с таким трудом к России Ливонии и Финляндии их прежние порядки и административную систему. Он даже не стал «русифицировать» столь необходимые ему прибалтийские города-порты, а построил в устье Невы свой – Санкт-Петербург. Окно в Европу было прорублено, и закрыть его в дальнейшем уже никому не удалось. А прибалтийские немцы с тех пор верой и правдой служили Российской империи до последнего дня ее существования. Давайте вспомним несколько имен.

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (при рождении Фабиан Готлиб Тадеус фон Беллинсгаузен) – знаменитый российский мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды, участвовал в первом кругосветном плавании русских судов.

Иван Федорович Крузенштерн (при рождении Адам Иоганн фон Крузенштерн) – российский мореплаватель, адмирал, начальник первой российской кругосветной экспедиции, один из основоположников отечественной океанологии, почетный член петербургской Академии наук. Член-учредитель Русского географического общества. Иван Крузенштерн впервые нанес на карту около тысячи километров восточного, северного и северо-западного берега острова Сахалин. Автор «Атласа Южного моря».

Барон Фердинанд (Федор) Петрович Врангель – российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал. Мичманом участвовал в кругосветной экспедиции Василия Головнина на шлюпе «Камчатка». В 1820-1824 годах возглавлял экспедицию по исследованию северо-восточного побережья Сибири (отрядом в семь человек). В ходе экспедиции было описано побережье Сибири от реки Индигирка до Колочинской губы, нанесены на карту Медвежьих островов. В 1824-1827 годах возглавлял кругосветное плавание на военном транспорте «Кроткий». В 1829 году в чине капитана Первого ранга назначается главным правителем Русской Америки. За время нахождения на этом посту лично обследовал все западное североамериканское побережье от Берингова пролива до Калифорнии, создал магнитно-метеорологическую обсерваторию Ситка. В 1855-1857 годах является управляющим Морским министерством (то есть морским министром). С 1857 года член Государственного совета. Известен как активный противник продажи Аляски Соединенным штатам Америки. Именем Врангеля назван ряд географических пунктов Северного Ледовитого и Тихого океанов.

136 Михаил Богданович Барклай де Толли (при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли) – российский полководец, генерал-фельдмаршал, военный министр, князь, герой Отечественной войны 1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия. В историю военного искусства, по мнению западных авторов, он вошел как архитектор стратегии и тактики «выжженной земли» – отрезания основных войск противника от тыла, лишения их снабжения и организации в их тылу партизанской войны.

Достаточно? Я могу протянуть цепочку имен знаменитых российских немцев из бывшей Ливонии вплоть до наших дней и закончить ее Патриархом Всея Руси Алексием II (Алексей Михайлович Ридигер). А теперь попробуйте вспомнить кого-нибудь из знаменитых латышей, эстонцев, карелов или финнов, прославившихся до краха Российской империи в 1917 году.

Так что решение Петра, поддержанное всеми последующими российскими императорами, себя оправдало. А судьба и положение латышей, эстонцев, финнов, и всех прочих «инородцев» императоров ни тогда, ни позднее не волновала.

Но для самих народов их судьба и положение имели огромное значение! Русские прошли все стадии развития: от родо-племенного строя до империализма. Латыши, эстонцы и финны были лишены этой возможности. Прямо из родо-племенного язычества они шагнули в христианское рабство. И прожили в этом рабстве до начала XX века, когда большевистская революция неожиданно принесла им свободу.

Прибалтийские народы веками мечтали об этой свободе, и вот, получив ее столь неожиданно и незаслуженно, то есть без борьбы, они растерялись. Так же, как впадали в растерянность многие крестьяне после отмены крепостного права. Они не знали, как жить дальше. Кроме того, молодые прибалтийские государства не понимали, что мало просто получить свободу, ее еще нужно суметь удержать, а маленькому государству это не под силу. Маленькое государство может существовать только под защитой большого. Данную истину пришлось в полной мере испытать на собственной шкуре и Финляндии, и Латвии, и Эстонии.



У Финляндии выбор был, прямо скажем, не велик. Мощной России больше не существовало, назад в Швецию, тоже не очень-то могучую к тому времени, вливаться не хотелось. И финляндские олигархи пригласили на трон немецкого принца Фридриха Карла Гессенского! Германия на тот момент была сильнейшим государством Европы и практически в одиночку вела войну со странами Антанты и Советской Россией. Но принц не успел даже добраться до предложенного трона, так как в Германии тоже грянула революция и кайзер отрекся от престола. И тогда бразды правления Финляндией были вручены бывшему российскому генералу, участнику русско-японской войны, шведу по национальности Карлу Маннергейму. Финляндия вновь попала под влияние Швеции.

Латвия и Эстония тоже были вынуждены склонить головы перед волей сильнейших европейских держав – Англии, Франции, а позднее нацистской Германии. Бывшим ливонцам не дали вырваться за рамки, изначально определенные им папой Римским и антирусскими силами Европы. И после неожиданного обретения «независимости» «ливонцам» не замедлили напомнить об их обязанностях перед Европой.

Вот почему новообразованные Финляндия, Латвия и Эстония почти сразу же вновь стали плацдармом всех враждебных России сил, хотя по логике должны были бы целовать большевикам ноги за то, что те дали им свободу. А куда было деваться бедным и слабым прибалтам? Шла первая мировая война, передел мира, и непокорные воле победителей страны могли в любой момент исчезнуть с карты мира. Тем более что Россия никак не могла их защитить. И вместо благодарности начались с территорий прибалтийских государств террористические вылазки в Советскую Россию всяческих белогвардейских банд, а в Карелии вовсю начали бесчинствовать белофинны.

Нынешние прибалтийские «историки» заявляют, что ничем не обязаны большевистской России, что Латвия и Эстония завоевали свою свободу с оружием в руках. Это переписывание истории не выдерживает даже малейшей критики. Да, первоначально большевистская Россия потеряла многие территории. Но, набравшись сил, вернула все, которые хотела вернуть. Были разгромлены или изгнаны как белые, так и оккупационные армии. Неужели Советская Россия, если бы действительно этого захотела, не вернула бы Прибалтику и Финляндию?

Итак, западные страны, особенно Швеция, усиленно строили в Финляндии на границе с Россией защитные сооружения, так называемую линию Маннергейма. Организовывали и вооружали финскую армию, практически все офицеры которой были шведами. Вся документация велась на шведском языке. На территории Финляндии было построено столько аэродромов, что они могли принять самолетов в десять раз больше, чем имелось в стране. Государственным и литературным языком был объявлен шведский. Финнам оставлен был только фольклор. Вот такая свобода и независимость!

А в «тюрьме народов» – Российской империи – у Финляндии была широкая автономия. Многие революционеры, в том числе и Владимир Ленин, чувствовали себя в Финляндии, как за границей, спокойно в ней «работали» и не боялись русских жандармов.

В России с огромным трудом добивались от царя создания русского парламента. Николай Второй то открывал Думу, то распускал. Даже бомбы и пули террористов не заставили царя дать России конституцию. А в Финляндии вполне спокойно работал сейм, принявший в 1905 году самую передовую на тот момент в Европе конституцию! По ней женщины имели равные права с мужчинами, чего не было тогда ни в одной стране мира! И вот из такой «тюрьмы» Финляндия «вырвалась на свободу». Чего ей не хватало?

Официально нейтральную Финляндию явно готовили в качестве плацдарма для нападения на Россию. И, как всегда, мнение самих финнов, так же как и мнение латышей с эстонцами, никого на Западе не интересовало. По-прежнему, Европа старалась изолировать Россию, окружив ее демонстративно враждебными буферными

государствами, на территориях которых готовились плацдармы для будущих вторжений.

Как только СССР стал на ноги, Сталин тут же принялся за разрешение возникшей на западной границе Советского Союза прибалтийской проблемы. Он все прекрасно понимал и поначалу неоднократно (!) пытался решить все мирным путем. Сталин начал переговоры с Финляндией, попросив отодвинуть границу от Ленинграда, предлагая взамен почти вдвое большие территории в другом месте. Сам маршал Маннергейм, которого трудно заподозрить в симпатиях к большевикам, был за то, чтобы принять советские условия. Но Европа, предвкушая скорый разгром и раздел СССР руками гитлеровской Германии, разумеется, заставила Финляндию отвергнуть предложения Сталина. Так СССР пришлось начать не нужную ни русским, ни финнам войну, в результате которой Финляндия потеряла даже больше, чем у нее просила Россия. Граница была отодвинута от Ленинграда, что впоследствии позволило городу пережить блокаду. Заметьте, Сталин только отодвинул границу, хотя мог бы захватить всю Финляндию!

Наученный финским опытом Сталин не стал обращаться к правительствам Эстонии, Латвии и Литвы. Он продолжил решать прибалтийский вопрос не с марионетками, а с кукловодом. В конце тридцатых годов XX века за ниточки дергал Гитлер. Есть документы, подтверждающие это. Прибалтика должна была стать плацдармом германского наступления на СССР. Прибалтийские немцы, «ливонцы», были только счастливы попасть под крыло могучего фатерлянда и избавиться от унижительного диктата Англии и Франции.

Сталин обо всем этом прекрасно знал. Поэтому он начал переговоры с Германией и заключил с ней до сих пор вызывающий у Европы злобную истерику пакт о ненападении, предварительно настояв на том, что Германия в дальнейшем отказывается от всяческих притязаний на Прибалтику и не будет мешать Советскому Союзу присоединить ее, если возникнет такая необходимость. Гитлер легко принял это условие и даже сдержал его, бросив своих ливонских марионеток на произвол судьбы. Он был уверен, что без особого труда свалит русского колосса на глиняных ногах и с другого плацдарма. В этом убедила его неудачная на первых порах война СССР с Финляндией.

В преддверии войны Германии с Советским Союзом прибалтийские немцы стали массово переселяться из Прибалтики в Германию. Особенно после заключения пакта о ненападении между Германией и СССР. Видимо, секретные протоколы к пакту не были тайной для прибалтийских немцев. В Эстонии, Латвии и Литве были только рады этому исходу, ведь теперь никто не мешал коренным национальностям этих стран в полной мере ощущать себя настоящими нациями. В результате до начала Великой Отечественной войны в Германию отбыло 131,2 тысячи прибалтийских немцев.

Сталин ввел войска в Прибалтику, Европа и США бились в истерике, но Гитлер выполнил принятые вместе с пактом секретные условия и забыл про ливонский плацдарм, что обезопасило СССР от нападения с этого направления.

Тем не менее, война с Германией была неизбежна, и Сталин попытался в кратчайшие сроки очистить вновь приобретенные территории от всех враждебных СССР сил и элементов. К сожалению, эта поспешно и жестоко проведенная советизация вместо одних удаленных врагов породила новых, оказавшихся еще опаснее старых, так как они опирались на помощь местного населения – националистов.

Прибалтика вновь стала частью России, пусть она и называлась Советским Союзом. Ливонцы были ликвидированы как класс. На их место пришла партийная номенклатура. Коренное население по-прежнему пребывало в фактическом рабстве уже у новых хозяев, пусть в основном и из местных выходцев. И после очередного «освобождения», теперь уже при крахе Советского Союза, латыши и эстонцы начали называть русских не иначе как оккупантами.

Проведя века под жесточайшим игом ливонцев, латыши и эстонцы не имеют никаких претензий к немцам. А несколько равноправных с другими народами десятилетий в составе СССР для них – русская оккупация! И это при том, что в России во все времена Прибалтику воспринимали как внутреннее зарубежье, а так называемые латышские стрелки в дни лево-эсэровского мятежа спасли власть большевиков и самую жизнь их лидеров, в том числе и председателя ВЧК Феликса Дзержинского! Парадокс? Нет. Все то же извечное наступание на грабли, то бишь – игнорирование уроков истории.

С развалом Российской империи «освободившиеся» прибалтийские государства немедленно были вынуждены плясать под дудку сильнейших на ту пору европейских держав и, соответственно, проводить антирусскую политику. С развалом СССР история повторяется. Прошлый опыт не научил прибалтов, что любая свобода условна для маленьких государств. В составе сильной России они были более свободны, чем в прошлое и нынешнее состояние «независимости». Выйдя из СССР, прибалтийские страны немедленно попали в полную власть Западной Европы и вынуждены проводить все ту же антирусскую политику. Конечно, они громко твердят, что сами стремились «вырваться из тисков русской оккупации в свободный мир Евросоюза». Но о какой свободе они говорят? На их территории стоят иностранные войска – НАТО. Европа диктует прибалтам внутреннюю и внешнюю политику, требует закрытия неудобных ей предприятий, указывает какую продукцию производить, и по каким ценам ее продавать и т.д. и т.п. Разве это свобода и независимость? Прибалтика по-прежнему нужна Западной Европе как источник сырья, продовольствия, пушечного мяса и в качестве плацдарма антироссийского натиска. И в этом качестве она останется до тех пор, пока Россия вновь не поднимется с колен и не станет сильной мировой державой.

Возможно, Прибалтика вновь станет частью России, если сама этого захочет. России это уже не нужно. Уже сейчас, одной рукой формируя между собой и Россией новый железный занавес из буферных государств, другой рукой Европа помогает России строить обходные пути вокруг этого занавеса: газопроводы по дну Балтийского и Черного морей.

Так что все зависит от того, изменит ли, наконец, Европа свою антироссийскую политику или нет. Если да, то исчезнет разделение на Европу и Россию, а с ним и вековая вражда. Если нет, то маленькие приграничные с Россией государства и далее обречены быть буфером между Россией и Европой и переходить из рук в руки по мере усиления одной стороны и ослабления другой. Если не административно, то политически.

Есть и третий путь для прибалтийских государств: отказаться от средневекового национализма и окончательно слиться с одной из сторон. Но этот путь наименее вероятен. Потому что прибалты не проходили самостоятельно весь путь становления нации и национального государства, как это сделали русские в России и народы Европы. Эстонцы и латыши не сами создали свои государства, не отстаивали их свободу с оружием в руках от иноземных завоевателей, их экономики, национальные культуры и интеллигенция создавались и взращивались теми, кого они сейчас называют оккупантами. Они практически всем обязаны тем «оккупантам», кроме разве что национального фольклора. Свободу и ту они оба раза приняли из рук России. Для прибалтов Средневековье только началось, они жили и продолжают жить в рабстве, и что такое настоящие свобода и независимость, им пока неизвестно, хоть они и уверены в обратном.

Как известно, для быстреего сплочения нации нужен сильный внешний враг. А где прибалтам взять его сейчас? Фактически грабящая и эксплуатирующая их Западная Европа провозглашена правящей элитой прибалтийских государств образцом для подражания. Остается Россия! Так цели Европы и националистов буферных государств совпали. Отсюда и оголтелое русофобство последних, вопли о «русских оккупантах»,

переписывание истории, восхваление фашистских преступников – ведь те «боролись с русской оккупацией»!

Но русофобская истерия – это не борьба за становление нации и тем более не война за выживание. Бывшие рабы в очередной раз обрели новых хозяев и отрабатывают свою «похлебку и крышу над головой», которые грубо прикрыты красивыми фантиками «свобода», «независимость», «равноправие».

Историю можно переписать. В отдельно взятой стране, в отдельно взятое время. Но историю невозможно изменить! Многие пытались. И где они теперь?

Поэтому, чтобы вновь и вновь не наступать на грабли, читайте книги, господа и дамы, юноши и девушки, мальчики и девочки! Читайте, а главное – размышляйте над ними. Не пожалеейте! Начните с романов Ивана Лажечникова. Я убедился, что не зря его «Последний Новик», как только вышел из печати, сразу же был провозглашен «лучшим из русских исторических романов, донныне появившихся» (Журнал «Северная пчела», 1833, 19 января, рецензия О. Сомова).



מואר סתו

המגבעת רחפה  
שוק ברוח.  
הגבהת גבותיים  
נשוק כגן.  
הגבהת גבותיים,  
טפוף עברת,  
בהט על שמש כמו,  
טוף על כשיר  
ויין פרי במסעי  
אסיף להט  
כפיים לח וישטח  
הוסיף ולא  
ריסוך רעד ועל  
גתו דמעה.  
כסוך בו עברת כי

Черной бабочкой шляпа  
Порхает над рынком,  
Вслед ей – выстрелы взглядов  
И брови – горбинкой.  
Вслед ей – брови горбинкой:  
Походкой изящной  
Промелькнула с улыбкой,  
Как солнечный зайчик.  
Урожай небывалый –  
Подставлю ладони –  
Вин и фруктов немало,  
Устрою застолье.  
На дрожащих ресницах  
Сверкают слезинки –  
Виноград кровянится,  
Кинжальные блики.

Блики осени

Натан Альтерман

Natan Alterman



Родился в Варшаве в семье с ярко выраженными сионистскими настроениями. С самого детства говорил на иврите и на идиш. Некоторое время семья Альтерман жила в Москве, но в 1925 году переселилась в Палестину, обосновавшись в Тель-Авиве. В поэзии Альтерман примкнул к кружку А. Шлёнского, привнесшего в ивритские стихи приемы русского стихосложения, русскую ментальность, необыкновенную «живость» поэтической речи. За огромные заслуги перед ивритской литературой Натан Альтерман был удостоен Литературной Премии имени Бялика (1957) и Премии Израиля (1968). Стихи Альтермана переведены на многие языки мира, в том числе и на русский.

היציאה מן העיר

חדריו בא אחד בית-בעל,  
אחריו הדלת סגר.  
כספו מנה המנורה לאור  
ליבו לוח מעל. שונאיו מנה  
כולם השמות את מחה כך-אחר  
לעולם לשמרו אחד שם השאיר.  
האור וכיבה עמד כך-אחר  
ומקור כנפיים, נוצה צימח  
עלה ניתר החלון אדן על  
גדולה בציפור העיר על חלף

Уход из города

Он ночью в дом вернулся свой  
И дверь захлопнул за собой.  
Счел серебро и счел врагов,  
И – с кем делил и хлеб, и кров.  
Все имена стер без следа,  
Одно оставив навсегда.  
Он перья отрастил и клюв  
И, мощно крыльями взмахнув,  
Как птица, взмыл под облака,  
Оставив город на века.

## ניגון עתיק

דמעוטייך בליל תרדנה אם,  
תבן כצורור אבעיר לך שמחתי  
עצמותייך מקור תרחפנה אם,  
אבן על ואשכב אכסך  
לרדת מחול אל תאמרי אם,  
לך אנגן מיתרי אחרון על  
הולדת מתנת לך תחסר אם,  
לך אתן ומותי חיי את  
יין או תאבי לחם ואם,  
שכם כפוף אצא הבית מן  
השתיים עיני את ואמכור  
לחם גם יין גם לך ואביא  
צוחקת תהיי פעם אם אך  
מרעייך במסיבת בלעדי  
שותקת קנאתי תעבור  
עלייך ביתך את ותשרוף

## *Старинный напев*

Если темную ночь окропишь ты слезами,  
Моей радости пламя растопит кручину.  
Если вдруг ты продрогнешь, как в зябком тумане,  
Покрывалом укрою, сам лягу на камень в мерцанье лучины.  
А нахлынет желанье отдаться стремительной пляске,  
Подыграю тебе на последней струне моей лиры.  
Если в день именин ты получишь подарок не царский,  
Все отдам – жизнь и смерть – все, что есть у меня в этом мире.  
Возжелаешь ли хлеба, возжаждешь хмельного вина,  
Мне не жалко продать оба глаза: и правый, и левый.  
Ничего, что согбенна под тяжестью ноши спина, –  
Я тебе принесу и кувшины вина, и краюхи румяного хлеба.  
Если ж только лишь раз среди шумных друзей  
Ты зайдешься от звонкого смеха – одна, без меня, –  
Свою тихую ревность не стану топить я в потоке речей,  
Но спалю и себя, и тебя, и твой дом в бурном вихре огня.

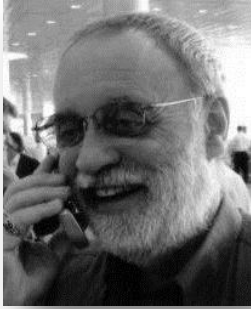
\* \* \*

עוד חוזר הנגון שזנחת לשוא  
והדרך עודנה נפקחת לאורך  
וענן בשמיו ואילן בגשמיו  
ארה-עובר, מצפים עוד לך  
והרוח תקום ובטיסת נדנדות  
יעברו הברקים מעלך  
וכבשה ואיילת תהיינה עדות  
—שלטפת אותן והוספת לכת  
שידיך ריקות ועירך רחוקה—  
ולא פעם סגדת אפיים  
והורשה ירוקה ואשה בצחוקה  
עפעפיים גשומת וצמרת

\* \* \*

Снова слышен, казалось, забытый напев,  
И дорога зовет в дальний путь за собой.  
Облака и дождями омытые кроны дерев  
Охраняют в пути твой безмолвный покой.  
Вслед за ветром качели взлетят к небесам,  
Грохот грома и молний янтарных сверканье,  
И овца с оленихой расскажут лесам и полям,  
Что их гладил и нежил задумчивый странник.  
Твои руки пусты и дорога, как память, длинна,  
Сколько раз приводили тебя в восхищенье  
Женский смех, зелень роц и небес глубина,  
И слезинки дождя на дрожащих ресничках деревьев.

Перевод с иврита Марка Польшковского



## Марк Польшковский Mark Polykovski

М. Польшковский родился в 1946 в городе Петрозаводске, окончил физико-математический факультет Петрозаводского университета и институт патентования в Москве. Работал в Институте целлюлозного машиностроения, заведовал патентным отделом в Карельском филиале Академии наук. В 1991 году переехал в Израиль. Живет в городе Ашдод, преподает математику в технологическом колледже. В 2009 году в Израиле выпустил сборник стихов «Ашдодский дневник». Стихи публиковались в журналах «Начало» и «Русское литературное эхо» (Ашдод), периодических изданиях Петрозаводска.

143

## Переводы с финского языка

### *Mä metsän polkua kuljen*

Mä metsän polkua kuljen  
kesä-illalla aatteissain  
ja riemusta rintani paisuu  
ja ma laulelen, laulelen vain.  
Tuoll' lehdossa vaaran alla  
oli kummia äskettäin,  
niin vienoa, ihmeellistä  
all' lehvien vehreäin.  
Minä miekkonen vain sen tiedän,  
minä vain sekä muuan muu  
ja lehdon lempivä kerttu  
ja tuoksuva tuomipuu.

1896

### *Лесною тропинкой иду я*

Лесною тропинкой иду я  
под вечер в родимом краю.  
Грудь полнится счастьем. Ликуя,  
пою себе, знай, да пою.  
В той роще под сопкой недавно  
открылось таинственно мне,  
как страсть разгорается плавно  
в черемушной пышной листве.  
Она, как и я, понимает,  
что стало и с ней, и со мной.  
Про нас лишь малиновка знает,  
черемуха пахнет судьбой.

2008

## *Me kuljemme kaikki kuin sumussa täällä*

Me kuljemme kaikki kuin sumussa täällä  
me kuulemme ääniä kuutamoyön,  
me astumme hyllyvän sammalen päällä  
ja illan on varjoa ihmisen syön.

Mut ääntä jos kaksi yhtehen laulaa  
yön helmassa toistansa huhuilevaa  
ja varjoa kaksi jos toistansa kaulaa –  
se sentään, se sentään on ihanaa!

1898



Г. Михлин окончил Санкт-Петербургскую морскую академию (ранее ЛВИМУ), работал в Балтийском пароходстве инженером, затем в рыболовецких организациях в Мурманске. С 1990 года живет и работает в Хельсинки. Ведущий литературной интернет-газеты «Северная широта» (<http://www.sever-fi.org>).

Публиковался в советском юмористическом журнале «Крокодил», в журнале «Аврора», в мурманской периодической печати. В Финляндии печатался в газетах «Спектр», «Русский свет», «Провинциальный интеллигент», «Горцы», «Чего хочет автор», в журналах «Иные Берега Vieraat rannat», «Ямальский меридиан», «Обложка», в альманахе «Русский мир». Дипломант трех международных поэтических конкурсов.

## **Эйно Лейно** Eino Leino



Классик финской литературы (1878-1926), поэт, прозаик, драматург и переводчик, реформатор финского литературного языка.

## *Вместе мы ходим как будто в тумане*

Вместе мы ходим как будто в тумане,  
слушая гулкую лунную ночь,  
мы, – на податливый мох наступая, –  
тени людей, уходящие прочь.

Если две тени, сплетенные прочно,  
вместе в два голоса вдруг запоют,  
значит, в пространстве отзывчивой ночи  
им уготовлен желанный приют.

2012

Перевод с финского Геннадия Михлина



## *Rauha*

Mitä on nää tuoksut mun ympärillän?  
Mitä on tämä hiljaisuus?  
Mitä tietävi rauha mun sydämessäin  
niin suuri ja outo ja uus?

Minä kuulen, kuin kukkaset kasvavat  
ja metsässä puhuvat puut.  
Minä luulen, nyt kypsyvät unelmat  
ja toivot ja touot muut.

Kaikk' on niin hiljaa mun ympärillän,  
kaikk' on niin hellää ja hyvää.  
Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin  
ja tuoksuvat rauhaa syvää.

1898



## *Покой*

Ах, как странны вокруг ароматы и запахи,  
что же значит сия тишина?  
Может, в сердце сердечными каплями капает  
неосознанная новизна?

Вижу я и цветов, и деревьев цветение,  
слышу многоголосье листвы.  
Все исчезли тревоги, и нету сомнения,  
что сейчас созревают мечты.

Все так тихо в округе в минуты прозрения,  
мне спокойно, и мне хорошо.  
В сердце розы цветут, отмечая рождение,  
новизну эту принял душой.

2012

## *Mieron nuotioilla*

Yksi tuli sieltä ja toinen tuli täältä,  
idästä, lännestä, pohjan päältä.

Yksi tuli hevosin ja välkkyvin valjain,  
toinen tuli kävellen ja kyynärpäin paljain.

Eri oli matka ja eri oli määrä,  
kellä oli oikea, kellä oli väärä.

Maantien varteen me yhdyimme yössä,  
siinä oli toiset jo tulenteon työssä.

Kohta me istuimme veljien lailla  
ympäri valkean, huolia vailla.

Sanaleikit lensi ja eväsviinat kulki,  
toisen suu jo odotti, kun toinen suunsa sulki.

Yksi tiesi kertoa kevättuulten mailta,  
toinen taisi tarut Lapin tunturin lailta.

Tuo tiesi lännestä sotasanat uudet,  
tämä idän impien kuvas ihanuudet.

Toisen suu jo odotti, kun toinen suunsa sulki.  
Otava se kääntyi ja yön hetket kulki.

Metsä oli pimeä ja tie sumuvyössä.  
Ääneti tulehen me tuijotimme yössä.

Minkä tuli mielehen vielä emovainaa,  
minkä mieltä yhä muisto murhien painaa.

Yksi mietti kavaluutta ystävän armaan,  
toinen suri syksyä sydämensä harmaan.

Orpo itki emoa ja murhamies rauhaa,  
kaikki kaipas kotia ja lapsuutta lauhaa.

Ei ole suuri apu mieron nuotioista,  
toista puolta polttaa, kun jäätää jo toista.

Metsä oli pimeä ja tie sumuvyössä.  
Ääneti tuhkaan me tuijotimme yössä.



## Костры нищих

Один пришел оттуда, другой пришел отсюда,  
кто с запада, кто с севера, с востока или с юга.

Один верхом, – хоть нищий был, – на дорогом коне,  
другой пешком, оборванный, с печалью в голове.

Различные дороги их, но легкой – ни одной,  
кто прямо шел и правильно, а кто-то по кривой.

И вот, все к ночи встретились и разожгли костры,  
и было много нас таких, чьи языки остры.

Сидели мы компанией, подобные друзьям,  
болтали беззаботно мы, и Бог нам был судьба.

Вино рекою – с шутками, и вовсе неспроста  
одни уста спешат сменить уставшие уста.

Один поведал о ветрах. Рассказывал другой  
легенды, басни о горах Лапландии родной.

Один немало слов с войны принес в наш обиход,  
другой – красой восточных дев разволновал народ.

Одни уста спешат сменить уставшие уста.  
Звезда Полярная взошла, настало время сна.

Во мраке лес, туман накрыл, увел дорогу прочь.  
В молчании задумчиво мы созерцали ночь.

Один сиротство вспомнил, мать убитую свою  
и сад, и огород, и дом, где жил он, как в раю.

Кто вспомнил о предательстве подруги – эх, дела!  
А кто – про грусть сердечную, что осень принесла.

А кто-то маялся в ночи от тяжести иной:  
убийца мир искал душе, вымаливал покой.

Не слишком много помощи для нищих от костра,  
он греет не со всех сторон – замерзнешь до утра.

Во мраке лес, туман накрыл, увел дорогу прочь.  
В молчании задумчиво мы созерцали ночь.

**Василий Пурденко**  
Vasiliy Purdenko

*Документалистика*

**Исповедь нелегала**

Журнальный вариант



Родился в 1953 году. Окончил мореходное училище, затем МГУ по специальности «демография». Работает журналистом. Член Союза российских писателей, Союза профессиональных литераторов России, Союза журналистов России, автор семи поэтических сборников: «Цветное пламя» (1997), «Дикое поле» (2003), «Из меня плохой попутчик» (2007), «Гармония нуля» (2008), «Поток бесконечного времени» (2011), «Русский кураж» (2012), «Сталкер» (2012); соавтор девяти поэтических книг. Живет в Адыгее, в городе Майкопе.

...**П**реодолев все мыслимые трудности денежного плана, я, наконец, попал в объятия одной из туристических фирм, укомплектованной златоустами-прохиндеями и проходимцами высокого класса, которые за баксы готовы были отправить меня хоть к черту на кулички. Конечно, эти аферисты почти ничего не знали о реалиях обстановки в Израиле и были практически бесполезны в качестве источника достоверной информации. Однако надо отдать им должное, они были весьма расторопны и оперативны, благодаря чему уже через пару недель у меня в кармане лежал заграничный паспорт с израильской визой, билет на рейс Санкт-Петербург – Тель-Авив и четкие инструкции моих дальнейших действий. Поездка в город на Неве была ничем не примечательной, фирма обеспечила проживание в недорогой гостинице на окраине Питера, до вылета оставалось два дня.

Надо признать, что в питерском отделении «синдиката» работают настоящие профессионалы, делающие все возможное для того, чтобы «клиент» прошел за кордон чисто. Каждый выезжающий проходит инструктаж, дающий емкую информацию о способах преодоления всевозможных преград, возникающих на пути пересечения границы. Разрабатывается легенда поведения на случай перекрестного допроса службой секьюрити в аэропорту Бен-Гурион, прорабатываются возможные вопросы и ответы о целях и сроках пребывания в Израиле, фирме, организовывавшей тур, времени и месте встречи с представителями конторы на территории Израиля. И если ты не хочешь прокола, который грозит немедленной высылкой в Россию, если у службы безопасности возникли подозрения по поводу твоих истинных намерений, шевели мозгами, отработай версии поведения, готовься к будущей словесной дуэли с агентами миграционного контроля. На моей памяти заворачивали суда и самолеты с сотнями людей, а число сгоревших по своей собственной дурости просто не поддается учету.

Уже в Пулково-2 начинается полоса ЕСЛИ: если вас пропустит секьюрити еще здесь, в России; если служба безопасности Бен-Гуриона после перекрестного допроса поверит вашей легенде и даст вам зеленый свет; если в условленном месте вас встретит связник (работорговец-дистрибьютор, о котором будет сказано ниже), то вы, в конце концов, все-таки попадаете в Тель-Авив, в район Тахана-Мерказит (центральная автобусная станция Тель-Авива), в паршивую общагу на Левински-рехов (улица), набитую как тараканами под завязку такими же искателями зелени.

Так как никто из обитателей прибежища до этого в Израиле не был, то, пытаясь доказать свою значимость, каждый потчует соседей фантастическими байками самого низкого пошиба. Мелькают названия надежных и липовых фирм по трудоустройству туристов, имена шакалов-балабаев (балабай – непосредственный руководитель, от которого зависит место работы, кесив – заработок и многое другое), которые месяцами не платят денег, а потом сдают ребят в полицию. Рассказывают, какие облавы бывают на пьяной Тахане (три улочки, примыкающие к автостанции, где сосредоточена масса питейных заведений и бардаков), как можно бесплатно отовариться овощами и фруктами на базарах-шуках, как замечает рабочая полиция, почему лучше пахать на никаньонах (уборке), чем работать в кабаках и на стройках. Указываются особо опасные районы, где лучше вообще не светиться, – Дизенгоф, Аленби, Бен-Иегуда и т.д., советуют не шляться по улицам в шабат (субботу), когда весь город замирает, ибо Барух (Бог) по Торе (священной книге евреев) дал им этот день для отдыха и молитв. Особый упор делается на то, что евреи на дух не переносят пьющих, и даже запах перегара может послужить причиной для увольнения. Все эти туфта-базары здорово действуют на нервы, особенно, когда ты находишься в состоянии подвешенности и не знаешь, что тебя ожидает завтра. В общем, во всех общагах, где я жил, царит атмосфера нездорового ажиотажа на грани истерии и почти осязаемое звериное опасение того, что ты, нелегал, вот-вот будешь схвачен, посажен в призон (тюрьму) и депортирован.

Но все это еще впереди, а пока к моменту вылета в Израиль там начинается двухнедельная забастовка авиадиспетчеров, за ней следует общенациональная забастовка трудящихся, и я кукую в Питере, осваиваю местные значные места и завожу тесные знакомства с доступными жрицами любви, благо кое-какие бабки у меня еще есть. Деньги текут как вода, зимний Питер с его слякотью, тревожной атмосферой неустроенности и ясно ощутимой угрозы вызывает чувство неприкаянности и дискомфорта. Постоянно ощущение того, что ты попал в бутафорский город, полный исторического тлена, город теней, в котором по какой-то нелепой ошибке оказались люди, живущие в замкнутом континууме времени-пространства.

Но все когда-нибудь кончается, кончается и этот кошмар и, пройдя в Пулково-2 унизительный шмон, когда тебя раздевают догола и перетряхивают все твои вещи, рассматривая их чуть ли не под микроскопом, я попадаю в царство избранных, то есть отфильтрованных, проверенных, просвеченных, обысканных и допущенных в зал ожидания на второй этаж. Здесь царит уже совсем другая атмосфера, работают дьюти-фри (беспощинные магазины), удобные кресла, кондиционеры, пол покрыт толстым ковром, чистота и уют. В общем, промежуточная станция: ты уже не в России, но еще не за границей. Посадка в «Боинг-707» проходит быстро, стюардессы милы и приветливы, тепло, телевизоры, индивидуальное многоканальное радио, великолепное трехразовое питание с белым и красным вином. Четыре с половиной часа полета проходят совершенно незаметно, и ты так и не увидел ту черту, которая теперь отделит тебя от России и, как слепой щенок, радуешься жизни, не подозревая, какие тяжкие испытания ждут тебя впереди. Жизнь любит преподносить неприятные сюрпризы, особенно профанам и лопухам, действующим наобум Лазаря, а к дуракам фортуна вообще неблагосклонна вопреки расхожим представлениям и любит подстраивать им разные подлянки в совершенно неожиданных местах.

Конечно, это авантюризм чистой воды – лететь в Израиль не по вызову, не по рабочей визе, а на свой страх и риск, не зная страны, языка, обычаев, нравов, традиций, норм поведения, особенностей жизненного уклада населения, его отношения к мигрантам из бывшего Союза, в общем, не зная ничего. И пребывание в Израиле очень многих и очень скоро ломает, деморализует, унижает, озлобит и превратит нормальных парней в подлипал, скупердяев, готовых удавиться за шекель, стукачей и просто в дерьмо. Многие намертво усвоят психологию рабов, лакеев и хамелеонов и по возвращению

домой будут обладать настоящей рыночной ценностью для прорабов и архитекторов российского рынка, а накопленный ими опыт выживания и первоначальный капитал станут для них трамплином к превращению в настоящих бизнесменов российского дикого рынка.

Не надо удивляться тому, что в Израиле, обладающем значительным научным, техническим и экономическим потенциалом, стране хай-тек (высоких технологий) существует большой спрос на труд нелегалов. Причин здесь достаточно много и, в первую очередь, это причины экономического характера. Использование труда нелегалов экономически выгодно израильскому государству и израильским предпринимателям даже в условиях десятипроцентного уровня безработицы коренного населения. Нелегалы хватаются за любую, самую грязную, тяжелую, опасную, изнурительную и низкооплачиваемую (по израильским меркам) работу, на которую израильтянина не заманишь и калачом. Нелегал безропотен и почти всегда готов работать столько, сколько нужно хозяину. Он может работать и двенадцать, и шестнадцать (а иногда и более часов) в день. Мой личный рекорд – двадцать три часа непрерывной работы, час на отдых и полная двенадцатичасовая последующая смена. Нелегал никогда и никому не будет жаловаться на нечеловеческие условия труда и жизни. Нелегалу можно задерживать, урезать и вообще месяцами не выдавать заработную плату. Его можно подставить и сдать в полицию. Нелегал никогда не обратится в Комиссию по защите прав иностранных рабочих, которая худо-бедно, но могла бы его защитить от произвола балабая-работодателя. Нелегал – это фантом, его не существует, а если субъект, требующий защиты, не существует, то нет необходимости в его защите – так мне популярно объяснили на Аленби-78, где и располагается этот комитет. Нелегал получает деньги не в фирме, где он работает, а из рук балабая, который отстегивает ему ровно столько, сколько посчитает нужным, и доказать, что он химичит, практически невозможно. Нелегал должен постоянно помнить, что здесь у него нет друзей – есть только попутчики и конкуренты, нет дружбы, взаимопомощи и поддержки – есть только личные экономические интересы. Среди нелегалов царят законы волчьей стаи, и чем быстрее ты усвоишь и осознаешь этот непреложный факт, тем выше твои шансы на выживание.

Использование труда нелегалов выгодно и с политической точки зрения. Они заменяют рабочие кадры с Территории (то есть палестинцев) и арабов, коренных жителей Израиля. Как правило, русские нелегалы весьма законопослушны и стараются вести себя тише воды, ниже травы из страха залета в полицию, которая (знаю по своему горькому опыту) может отрихтовать не хуже родимых российских ментов, а кроме всего прочего, передать нелегала в руки миштара-авода (рабочей полиции), а дальше – тюрьма и депортация. Русские нелегалы работают намного лучше, чем арабы и афро-израильтяне, не имеют склонностей к громким скандалам, не требовательны к соблюдению правил техники безопасности и регламентации рабочего дня. У них нет такого количества религиозных праздников, и они практически не употребляют наркотиков в отличие от арабов. Кроме того, чем меньше палестинцев будет работать на территории Израиля, тем выше будет уровень общественного спокойствия и ниже вероятность терактов. Арабы прекрасно понимают растущую опасность потери рабочих мест вследствие экспансии иноземной рабочей силы, поэтому они ненавидят иностранных рабочих, а русских нелегалов в особенности, и пакостят им, как только могут. Работать с арабами очень трудно, а жить с ними в одном общежитии – кошмарно.

В Бен-Гурион я прибыл поздним вечером, прошел перекрестный допрос в службе безопасности и в условленном месте встретился с человеком синдиката, который повез меня в Тель-Авив на точку временного базирования. Посредник оказался владельцем маклерской конторы по сдаче квартир и трудоустройству туристов-нелегалов. Это был

мой бывший соотечественник – дагестанский еврей и, как выяснилось впоследствии, еще тот жучила. По дороге Рафаэль убеждал меня, что все будет о`кей, работы навалом, заработки до тысячи долларов и выше, спрос на труд туристов большой, и относятся к ним неплохо. Уже потом, на собственном опыте, я убедился, что все это чистой воды туфта, рассчитанная на дилетантов, а действительность весьма отличается от навешанной мне на уши лапши.

Он привез меня в общежитие-распределитель, выделил койку и сказал, что плата за проживание просто мизерная – всего тридцать пять шекелей в сутки и, выступая в роли благодетеля, заметил, что вычтет эти деньги потом, когда я получу первую зарплату.

Так началось мое знакомство с евреем-филантропом, который тут же меня объегорил и кинул как последнего фраера. Поясняю: тридцать пять шекелей – это 8 долларов 75 центов. Среднемесячная стоимость проживания, то есть квартплата, в южном районе Тель-Авива колеблется от 50 долларов в месяц (комната без мебели) до 450-600 (трехкомнатная квартира с телевизором, телефоном, мебелью и всеми удобствами). Квартплата, установленная Рафаэлем для лохов, соответствует двухкомнатной благоустроенной квартире. Мой новый «друг» поселил меня в арендованной им за пятьсот долларов квартире, где кроме меня ютилось еще двадцать семь человек. Несложный подсчет показывает, что благодетель имел чистый гешефт 6587,5 шекелей, или 1648 долларов в месяц. Вот это бизнес! Бойтесь данайцев, дары приносящих!

Учтите, что за посреднические услуги по трудоустройству маклер берет приличную сумму – от 150 до 400 долларов, и шанс получить эти деньги назад, если вы решили отказаться от услуг именно этого посредника, практически равен нулю. Главной задачей маклера является не ваше трудоустройство, а получение комиссионных за посредничество и процента с балабая-работодателя за поставку ему дешевой рабочей силы. Не думайте, что посредник денно и нощно печется о том, как лучше вас обустроить. Получив деньги, маклер быстро теряет к вам интерес и начинает или крутить динамо, или старается побыстрее спихнуть вас куда-нибудь с глаз долой. Нередко маклер начинает вертеть хвостом – перестает появляться в офисе, не отвечает на телефонные звонки, переносит встречи, тянет волюнку и при этом клятвенно обещает, что уже в ближайшее время непременно вас трудоустроит на очень денежное место. И все бы ничего, если бы у вас в запасе имелись свободное время и деньги. Еще дома в турагентстве я получил твердые заверения, что больше ста долларов на первое время мне брать не надо, так как трудоустройство займет от силы два-три дня. Деньги в Израиле летят со свистом, особенно в первое время, когда ты еще ничего не знаешь, а вот устройство на работу для меня затянулось на две недели. За это время кончились и виза, и деньги, и жизнь как-то сразу приобрела тускло-серый оттенок. А тут еще и психологическое давление окружающих доброхотов рассказывающих всяческие ужасы и доводящих и себя, и слушателей до истерики.

Со мною в комнате жили трое парней из Западной Украины, говоривших между собой на каком-то польско-украинском наречии, которое я с трудом понимал. Работали они в фирме, занимавшейся ремонтом широкого диапазона – от загородных вилл до махонов (кабинетов эротического массажа). Держались они особняком и относились к той анекдотической категории «щирых вкраинцев», которые, «если не могут зысты, то хотя бы пинадкусывают». Ели и пили они отдельно, ни с кем и ничем не делились, а сигареты в целях экономии предпочитали сшибать. И хотя все были молодыми – от двадцати пяти до тридцати лет, Россию, как это ни покажется странным, ненавидели, считая ее виновницей всех бед, которые постигли «неньку Украину», оккупированную «злыднями москалями». Это было бы, возможно, смешно и нелепо, если бы эти бредовые высказывания не лежали в основе их убеждений и непоколебимой уверенности в своей правоте. Вот вам и результат идеологической и морально-психологической

обработки украинцев за десятилетие «великих рыночных преобразований» и реконструкции истории в угоду политических карликов-перевертышей.

Но вот в один из дней лэхэм ве халав (хлеб и молоко), дней жесточайшей экономии, маэстро от работорговли предложил мне весьма заманчивое место. Он расписывал райские условия труда и проживания, отличное питание за счет фирмы, двадцать пять шекелей в час при десятичасовом режиме работы, а главное, он особо подчеркивал этот момент, люди, которых он посылал работать в эту фирму, не просто довольны, а счастливы, многие уже трудятся на этом заводе по два-три года и не собираются уходить. Мой благодетель отстегнул мне деньги на проезд, объяснил маршрут, дал телефон балабая-работодателя и пожелал доброго пути. Так я двинулся по цепочке Тель-Авив – Хайфа – Хаанария – Шломи, смутно представляя, где находится этот городок. На руках у меня было сорок шекелей, на железнодорожном вокзале я небрежно сунул кассиру две двадцатки и попросил один билет до Хаанарии, где меня должны были встретить и отвезти в промзону Шломи (разговор шел на-английском, которым я достаточно свободно владею). Кстати, многие израильяне довольно сносно говорят по-английски, чего не скажешь о населении России. Из всех русских арбайтеров-нелегалов, с которыми я сталкивался на земле иудеев, английским, причем на самом примитивном уровне, владело всего несколько человек. А ведь знание английского намного облегчает жизнь и очень помогает, в чем я имел возможность неоднократно убедиться, работая в Израиле.

Поезд был битком набит людьми цвета хаки, и я смотрелся среди них белой вороной. Израиль – страна предельно военизированная, нельзя и шагу ступить по улице любого города чтобы не столкнуться с парнями и девушками в военной форме, с автоматами «Узи» или американскими десятизарядками МК-1 за плечами. Тут есть два аспекта: во-первых, Израиль находится во враждебном ему окружении арабских стран и должен быть готов в любой момент отразить нападение своих не в меру воинственных соседей. Во-вторых, кто не пройдет службу в армии, никогда не сможет получить высокооплачиваемой работы и поступить в престижное учебное заведение. В армии не служат только дети ультратрадиционалистов-ортодоксов, живущих по законам Торы, запрещающим им брать в руки оружие.

Гром грянул для меня через полчаса езды, когда я начал пересчитывать оставшиеся у меня деньги. Из сорока шекелей, которые мне выдал Рафаэль, двадцать пять я потратил на билет и уже не мог вернуться назад, если в Хаанарии меня никто не встретит. Сойдя с поезда и разузнав, где находится автовокзал, я связался с Моше из Шломи, который пообещал вскоре подъехать к условленному месту. Настроение было отвратительным. По вокзалу беспрерывно шастали полицейские с собаками, натасканными на обнаружение взрывчатки и наркотиков. Собаки обнюхивали все подряд, багаж пассажиров и их самих. Видимо, все уже к этому давно привыкли, и никто не выражал ни удивления, ни возмущения. Одна наглая псина дважды обнюхала мою сумку. Я стоял ни жив ни мертв не потому, что у меня в сумке лежали бомбы и наркота, – мой загранпаспорт был давно просрочен, и при проверке документов меня ожидали очень крупные неприятности. Я проторчал на автовокзале полтора часа, и моя нелепая фигура, одиноко маячившая возле шеренги телефонных будок, стала явно привлекать внимание полиции. И тут из тоннеля вынырнул высокий широкоплечий парень в кожанке. Подойдя ко мне, он полуутвердительно произнес: «Алекс, Шломи?» и в ответ на мой кивок сказал: «Пошли». Я зашагал за ним, чувствуя огромное облегчение. Минут через сорок езды мы были в небольшом поселке Шломи, расположенном на самой границе с Ливаном.

Промзона находилась за поселком, за ней – плантации апельсинов, а далее, на вершине высокого холма, глазели в небо ажурные радиолокационные антенны поста наблюдения израильской армии. Поселок мне показался уютным, но каким-то вымер-



шим. Улицы были пустынные, и по направлению к Шломи за все время нашей езды проехало всего три или четыре автомобиля. На окраине поселения, за полуразрушенными домами, на крышах которых важно восседали павлины, я увидел многочисленные металлические ангары промзоны. Мы въехали на территорию завода и вместе с Моше зашли в офис, где в это время Аарон (хозяин) производил расчет с тремя работягами, уезжавшими домой на Украину. В помещении стоял такой шум, крик и отборный мат, что я сначала растерялся. Разобравшись в обстановке, я уяснил, что парни обвиняют хозяина в мошенничестве. Он срезал им по 150–200 рабочих часов и снизил расценки с восемнадцати шекелей до двенадцати монет в час. На требование ребят предъявить им распечатки и сделать перерасчет босс издевательски ответил, что они могут вообще ничего не получить, если он вызовет полицию и обвинит их в организации беспорядков на предприятии, выполняющем заказ Цохала (армии). И тогда вместо Украины их ждет тюрьма, где они будут куковать несколько лет. Мужики притихли, забрали деньги и, матерясь сквозь зубы, двинулись собирать вещи. Так началось мое знакомство с нравами и порядками на израильских предприятиях, но это были еще цветочки.

Я выпросил у хозяина триста шекелей до полочки, и Моше отвел меня в общежитие, которое оказалось бомбоубежищем на глубине пяти метров под землей, с липкими бетонными стенами и затхлым сырым воздухом. Здесь стояли кровати, тумбочки, газовая плита, обеденный стол и стулья, бак для отходов. Душевая работала от солнечных батарей, электроподогрев хозяин никогда не включал, экономя на электричестве, так что мыться приходилось холодной водой, в лучшем случае тепловатой. Туалет был наглухо забит, поэтому малую и большую нужду мы справляли на помойке, в овраге за промзоной. Уехавшие ребята оставили кое-какую замызганную до предела робу, и я с грехом пополам экипировался.

На триста шекелей я должен был прожить месяц, покупая продукты в единственном на весь поселок магазине. Бесплатное питание за счет фирмы оказалось очередным блефом подлеца Рафаэля. Продукты питания в Израиле стоят довольно дешево, если получаешь нормальную (среднюю) заработную плату или хотя бы минимальную ставку. Но если получаешь мизер на уровне двух-трех тысяч шекелей в месяц, то ты обречен на нищенское существование. Десять шекелей в день означали для меня великий пост, тест на выживание в условиях двенадцатичасового рабочего дня под неусыпным надзором церберов-мастеров и жесткого прессинга со стороны шестеро-кменуэлей, старающихся сделать все, чтобы ты не скучал без работы, и выжимая из тебя все возможное и невозможное.

Мне выдали картиз (карту учета рабочего времени), на котором я должен был отбивать электронным таймером не только уход и приход, но и переход с одной работы на другую. Все виды работ имеют свой шифр, и если мастер посылал меня со сварочных работ на слесарные, то я был обязан незамедлительно отметить это в своем картизе, так как расценки выполняемых работ довольно значительно отличаются друг от друга. Здесь для хозяина открываются широчайшие возможности для мошенничества и надувательства гоев-работяг. За день приходилось выполнять пять-семь видов работ и доказать потом, при расчете, что тебе недоплатили, практически невозможно.

Работа в промзоне Шломи выматывала физически и морально. Отношения между рабочими и начальством были сложными и достаточно напряженными. Карался любой промах, просчет, недостаточно высокий темп работы, пререкания с мастерами и внеплановые перекуры. Время, затраченное на завтрак, обед и полдник, вычиталось тоже. Фактически, при двенадцатичасовом рабочем дне нам платили намного меньше. Расценки беспощадно урезались, и вместо обещанных восемнадцати шекелей в час (двадцати пяти шекелей Рафаэля, чтоб ему пусто было!), нам платили всего по одиннадцать.

Надо отметить, что в Израиле при жесточайшей эксплуатации иностранной рабочей силы, особенно рабов-нелегалов, заработная плата в три-четыре раза ниже, чем в европейских странах и США. Парадоксально, но даже сами евреи, со многими из которых мне приходилось общаться, считают свою историческую родину страной прохиндеев, где каждый старается сожрать другого с потрохами. Здесь все против всех и каждый только за себя. Поэтому многие из них стараются эмигрировать в США, Канаду, Австралию и другие страны.

Рабочий день начинался в семь часов утра и каждый раз с какого-нибудь сюрприза. Уже на второй день я столкнулся с феноменом, который окрестил про себя синдромом мастера. Филипп (еврей из Бердичева) поставил меня на резку уголка, и я, отладив донельзя раздолбанный станок, начал работу. Через пятнадцать минут ко мне подлетел второй мастер – Лазарь (крохотный еврейчик из Биробиджана) и очень «вежливо» поинтересовался, какого черта я валяю дурака, когда надо наваривать ребра жесткости на металлические кассеты под заливку бетонных коробов для ДОТов (долговременных огневых точек). Он приказал мне прекратить это безобразие и немедленно переключиться на сварку. Через полчаса возле меня нарисовался Филипп и, матюгаясь как биндюжник, заявил, что пока я здесь давлю сачка, у него срывается задание по резке уголка. Когда же я попробовал объяснить ему, что меня сюда направил Лазарь, он, послав его и меня подальше, заявил, что Лазарь – оле хадаш (вновь прибывший еврей), бен зона (сучий сын), и вообще – он, как старший мастер, на него плевать хотел, и я должен выполнять только его распоряжения. Доходило до смешного. Сколачиваю ящики для упаковки танковых тросов. Рядом крутятся оба мастера, и каждый зудит, что молоток я держу не так, гвоздь вбиваю не так и не туда, и вообще руки у меня выросли не из того места. Тут уж я не выдерживаю и заявляю вконец оборзевшим мастакам, что у меня за спиной семь сезонов шабашек на севере по строительству коровников, свинарников, складов, домов и т.д. и что мне их советы нахер не нужны. И начинается спектакль. Мгновенно объединившись, оба мастера налетают на меня, как стервятники, популярно объясняя мне, кто я есть и что я такое, и что если я буду поднимать хвост и разводить базары, то они быстро выкинут меня на улицу бахуц (вон). Тут, перекрывая всех, из кабинета хозяина выплескиваются дикие вопли, и всю нашу команду бросают заливать бетоном подготовленные металлические формы: пришел бетоновоз, который ждать не может, поэтому надо работать в темпе маер-маер (очень быстро). Так продолжалось день за днем: постоянная смена работ, перманентное ожидание окрика и нагоняя за то, что ты работаешь не там, делаешь не то и вообще ничего не соображаешь. Произвол мастеров не имел границ, нас тыкали носом в грязь, напоминая, что мы не в России, работаем не за деревянные, что мы ничего не можем, не смыслим, не умеем, что все надо делать чик-чак (быстро-быстро), а мы копаемся, как навозные жуки. Такое отношение здорово угнетало, тем более что среди нас были высококвалифицированные специалисты – сварщики, энергетики, механики, инженеры, кораблестроители, и каждый старался работать как можно лучше.

Так бы и гробился я на этом заводе, но через неделю, почти под Новый год, произошли события, круто изменившие ситуацию и явившиеся причиной моего поспешного бегства из Шломи. Радио и телевизора у нас не было, газет и журналов – тоже, мы были оторваны от мира и ничего не знали о том, что происходит вокруг нас. Не знали о том, что двумя неделями раньше, во время налета израильской авиации на базы террористов на территории Ливана, под бомбами и ракетами фантомов погибла женщина и шесть маленьких детей. Хезболлах (террористическая антиизраильская организация) немедленно заявила о том, что Израиль дорого заплатит за зверское убийство ни в чем не повинных мирных жителей.

И вот 28 декабря в одиннадцать часов утра на северную окраину Шломи обрушился шквальный огонь. Над поселком раз за разом взметались черные с прожилками огня

столбы взрывов, в воздух взлетали обломки домов и ошметки людского скарба, небо почернело и затянулось серой пеленой. Огонь велся из правой ложины и постепенно передвигался влево по направлению к промзоне. Взрывы гремели уже где-то в ста пятидесяти метрах от нашего корпуса. Все, кто был на участке, рванули в бомбоубежище, где и отсиживались до конца обстрела, который длился около двадцати минут. Самое интересное, что террористы преспокойно ушли на территорию Ливана, никем не преследуемые. Разведка и армия Израиля в этом случае крупно лопухнулись, дав повод оппозиционной прессе для язвительных и уничижительных публикаций. Возможно, именно этот пограничный инцидент и стал последней каплей, перевесившей чашу весов в пользу Эхуда Барака в его избрании на пост премьер-министра страны.

Вяло и как-то незаметно прошел Новый год. Мастера требовали, чтобы и 31 декабря мы работали до семи часов вечера. А так как единственный магазин в поселке закрылся в 19.00, то встреча Нового года оказалась под угрозой. Евреи не признают христианский Новый год, празднуя свой в сентябре. После долгих препирательств и ругани мы выцарапали три часа и затоварились едой и питьем. Даже за столом все были в подавленном настроении, и водка не смогла развеять тяжелую атмосферу тревоги и чувства опасности. Слишком свежи были в памяти впечатления от недавнего налета террористов и, наверное, не мне одному пришла в голову мысль о том, что мы в бомбоубежище, как в мышеловке. Пара гранат – и останется от нас одно воспоминание и груда нашинкованных свинцом человеческих тел.

Я твердо решил вырваться из этого злосчастного поселка, подозревая, что не исключены новые налеты или что-нибудь похуже. Как оказалось впоследствии, я был абсолютно прав: через три месяца Хезболлах повторил налет не только на многострадальный Шломи, но и на целый ряд других приграничных поселков. При этом в ход пошли, кроме гранатометов, и минометы, пушки и даже установки залпового огня. Второго января я твердо заявил мастеру о том, что бросаю работу и уезжаю в Тель-Авив, и пусть он поищет других дураков, готовых под бомбежками вкалывать за гроши. Тут Лазарь, от которого за версту несло перегаром, начал орать, что я обязан заранее, за две недели до ухода предупредить хозяина о своем намерении и пусть со мной разбирается босс. Послав его вместе с боссом подальше, я посоветовал Лазарю заткнуть хлебoreзку и принять мое решение к сведению. Упаковав свои вещи, я зашагал на остановку такси, чтобы добраться до Хаанарии, откуда ходили поезда в Тель-Авив. Через пять часов я снова был в столице, на Левински-рехов, около центральной Таханы.

К моему удивлению, моя койка в общежитии оказалась незанятой, и я снова в компании западенцев-маляров. От заначки у меня осталось 65 шекелей, и началась черная полоса бесконечных хождений к Рафаэлю в его офис и диетическая полуголодовка. По контракту этот Рафаэль обязан был помогать мне в поисках работы в течение года. Однако, получив свои четыреста баксов, он к этому делу заметно охладел и никаких видимых усилий не предпринимал, отделяваясь завтраками. Шли дни, пару раз подворачивалось такое, о чем и писать не хочется. Второе направление я получил в какую-то полуподпольную фирму по резке и прессовке искореженных в авариях автомобилей. Мастерская находилась на окраине Рамат-Гана и выглядела как после массивной бомбежки. Я прошел тест на умение варить горизонтальные, вертикальные и потолочные швы, работу с аппаратом СО и был принят на работу. Когда я вернулся в центральный офис в Тель-Авиве, хитрюга балабай Федорович тут же потребовал, чтобы я, во-первых, заплатил ему 120 долларов за проживание в общежитии, а, во-вторых, обязал меня купить велосипед, чтобы я добирался на работу самостоятельно. Учитывая, что сидел я в седле велосипеда лет 25-30 назад, плюс интенсивность движения по дорогам Тель-Авива и Рамат-Гана, я понял, что моя первая поездка будет и последней. Дальнейшие переговоры с этим еврейским мухомором ни к чему не привели, и мы разбежались с ним в разные стороны.

Следующим было направление в город Беер-Шеву («Семь колодцев») сварщиком в промзону химзавода. Беер-Шева – сравнительно небольшой и чистенький городок, зеленый и какой-то домашний. Балабай фирмы встретил меня на автовокзале и повез в офис оформлять на работу. Это был здоровенный мужик, этакий бычара с пудовыми кулаками, мощной мускулатурой и пустыми глазами. Мы разговорились. Он спрашивал – давно ли я в Израиле, как мне тут нравится, сколько с меня взял Рафаэль за трудоустройство и жилье и т.д. Он «страшно возмутился» тем, что Рафаэль ободрал меня, как липку, сказал, что «они там все в Тель-Авиве оборзели» и, немного помолчав, потребовал у меня 220 долларов на медицинскую страховку. По всей видимости, он принял меня за круглого идиота и был по-своему прав, ведь только кретин может предельно откровенно и подробно рассказать все о себе первому встречному. Далее события последовали в ускоренном темпе. Когда я объяснил ему, что мне как нелегалу медстраховка нужна как мертвому припарка и этот номер не пройдет, он тормознул, вышвырнул меня из машины и дал по газам. Я очутился на совершенно незнакомой улице, неизвестно в каком районе расчудесного города Беер-Шева. Проплутав по улицам часа полтора и переговорив с дюжиной аборигенов, я в конце-концов вышел к автовокзалу, купил билет и через пару часов появился на Левински-рехов в Тель-Авиве. Я твердо решил содрать с Рафаэля сорок шекелей, так как ездил в Беер-Шеву на свои кровные, а в кармане шелестело меньше двадцатки, на которую можно было протянуть всего пару-тройку дней. Мои размышления прервали вопли и рыдания, раздававшиеся из соседней комнаты, и я решил заглянуть туда, чтобы выяснить – что там происходит. В женской половине все столпились вокруг маленькой некрасивой женщины лет пятидесяти, которая плакала навзрыд и что-то невнятно бормотала. Остальные обитательницы комнаты бестолково суетились вокруг нее, и каждая по-своему сочувствовала товарке, стараясь ее утешить. Как выяснилось, женщина уже три месяца проработала на уборке коттеджей, но ни в одном не продержалась и месяца. Денег нет даже на хлеб, положение безвыходное: вернуться домой она не может, там – долг в две тысячи долларов, занятых у какого-то барыги под «счетчик» в десять процентов ежемесячных. Остается одно – сунуть голову в петлю, чтобы разом покончить с этим ужасом. Мы молчали. Потом в редком для россиян порыве единодушия, скинулись этой бедолаге, попавшей в капкан, по пять шекелей и кое-как уложили ее спать. С подобными случаями я сталкивался в Израиле не один раз. Женщинам-нелегалам устроиться на работу значительно труднее, чем мужчинам, особенно если принципы не позволяют им торговать собственным телом. Если же женщине под или за пятьдесят, то ее шансы найти хорошее место мизерны, хотя, конечно, бывают исключения.

Дни тянулись, как расплавленный сургуч. Работы не было – одни обещания. Денег тоже не было, поэтому приходилось шакалить – собирать и сдавать бутылки, разгружать трейлеры, помогать мелким продавцам-бакалейщикам раскладывать товар, челночить по шукам (базарам), выпрашивая некондиционные овощи и фрукты, и просто побираться, стреляя сигареты и выпрашивая мелочь. Тут есть одна тонкость. На улицах Тель-Авива, Рамат-Авива, Герцлии, Нетании, Ашдода, Петах-Тиквы и других городов Израиля, где мне пришлось побывать, я практически безошибочно определял евреев – выходцев из СССР и работяг-нелегалов из России. Особенно последних. Есть целый ряд отличительных черт в их поведении, выражении лиц и глаз, манере держаться и одеваться, что позволяет идентифицировать их как своих. За кордоном вообще тянешься к своим, забывая постулат «не верь, не бойся, не проси», но очень скоро жизнь расставляет все по своим местам, и даже до особо тупых доходит – здесь не Россия.

Одно хорошо – в Тель-Авиве с голоду не подохнешь, всегда будешь иметь более-менее приличный прикид, если проявишь хотя бы минимум инициативы и забудешь

о таких моральных принципах как стыд и брезгливость. Требования к качеству продуктов здесь чрезвычайно высокие, и если они хоть на йоту утрачивают свежесть, то, безусловно, выбрасываются. Осетрины второй свежести здесь попросту не бывает. К закрытию базаров все непроданное вываливается в проходы для уборки и вывоза на свалку. Подбирать выброшенные овощи и фрукты никому не возбраняется. Продовольственные магазины выставляют перед витринами специальные ящики, в которые складывается хлеб, йогурт, молочные продукты. В каждом районе города есть специальные столовые для неимущих, так называемые шекельные (то есть столовые, где можно пообедать всего за один шекель). Одежда и обувь, постельные принадлежности – все, как правило, выстиранное и выглаженное, аккуратно выкладывается на спецплощадки возле мусорных баков. Конечно, это б/у, но, поверьте, – на порядок более качественное, чем то, что продается у нас в сэконд-хэндах. Все это – желанная и законная добыча бедных и беднейших слоев израильского населения и, конечно, работяг-нелегалов, получающих гроши и экономящих каждый шекель.

Удивительно, но факт: даже прилично зарабатывающие израильтяне не стыдятся походов на овощебазы и базары в поисках дармовщины. Они не считают зазорным на халяву забить овощами и фруктами свои холодильники или подобрать себе бесплатно очень даже приличные вещи. О распродажах вообще лучше не распространяться. Есть, знаете ли, особый шик в том, чтобы отхватить себе, например, очки от Версаче за 165 шекелей и хвастаться перед знакомыми удачной покупкой: «Я вам говорю, они стоят минимум пятьсот!». Впрочем, нелегалам все это по барабану, потому что красивая жизнь не для них, хотя и тут бывают исключения, да еще какие!

Пожалуй, стоит упомянуть еще об одной проблеме русских нелегалов. Это – водка, а точнее – употребление горячительных напитков. Учитывая крайне отрицательное отношение подавляющего большинства евреев к злоупотреблению спиртным, очень и очень многим нашим соотечественникам приходится держать себя в жесткой узде. Тут никто не будет с тобой возиться, воспитывать и переубеждать, а просто дадут пинка под зад и вышвырнут на улицу без оплаты ранее отработанных дней. Сами евреи пьют очень мало и не считают спиртное обязательным средством для общения. Как мне объяснил один из бывших «наших» – по Торе Бог разрешает евреям выпить в шабат (субботу) четыре стакана вина. В остальные дни употребление вина если не запрещается, то и не одобряется. Как-то наша группа работников кухни обслуживала большое, на пятьсот человек, торжество в арендованном центре отдыха под Нетанией. Французские повара и кулинары, столы, ломящиеся от всевозможных яств и... десять ящиков вина «Кармель» плюс пять бутылок водки на всех, на весь вечер. По нашим меркам такое гуляние непредставимо.

Евреи – народ весьма колоритный, повышенно эмоциональный, собранный с бору по сосенке из многих стран и континентов. Конгломерат еврейства предельно неоднороден по своему составу, духовности и социализации. И эти контрасты на пятачке земли, именуемом государством Израиль, весьма заметны, а сам этот пятачок, состоящий из купленных основателем династии Ротшильдов у арабских князей земель и приобретенных за счет многочисленных войн с соседними государствами, представляет собой полосу длиной шестьсот и шириной сорок-сто километров. Это передовой форпост всемирного еврейства на Ближнем Востоке, государство, народ которого получил Тору непосредственно из рук Бога, чье имя священо и неприкоснимо. Тору, законы которой он должен почитать и выполнять, но... – Барух ха шем! – не выполняет. Конечно, ультратрадиционалисты стараются по мере своих сил следовать священным законам, однако жизнь, как водится, вносит свои коррективы, а бесконечная погоня за призраком богатства, присущая евреям генетически, сводит все усилия Раввината к формально-прагматическому подходу к заповедям Священной книги.

Коренные израильтяне относятся к олимам из других стран достаточно настороженно, и борьба между алиями, то есть группами мигрантов разного срока пребывания на своей исторической родине, идет непрерывно. Она почти незаметна и невидима, но, тем не менее, достаточно ожесточенна и носит латентный дискриминационный характер. Вновь прибывший в Израиль еврей вряд ли может рассчитывать на то, что его непременно встретят с распростертыми объятиями, ну а то, что он будет получать за одну и ту же работу намного меньше, чем его соплеменники, живущие в Израиле более продолжительное время – непреложный факт. В общем, идет яростная борьба за место под солнцем, а тут еще всякие арабы, румыны, русские и прочие путаются под ногами. Есть от чего озвереть. Но есть и отдушина – можно разрядиться на рабе-нелегале, помыкая им как скотиной, и обвиняя его во всех бедах израилевых. Хорошо глумиться, зная, что никакого отпора не получишь, и чувствовать себя полным хозяином раба своего. Русские в подавляющем большинстве терпят все издевательства и редко идут на конфликт. Но уж если идут, то держись. На моей памяти в Эйлате двое русских замочили работодателя, получив пожизненное заключение. Жаль ребят, видимо, достал их балабай, если они пошли на такую крайность. Парни из Эйлата рассказывали, что после этого происшествия отношение к русским в фирме изменилось кардинально: и зарплату стали выдавать вовремя, и режим работы смягчили, и условия труда улучшили.

Двадцатого января к нам в общагу явился надутый Рафаэль и сообщил, что есть фартовая работа в престижном ресторане, где будет бесплатная еда, восемьсот долларов в месяц и место в общежитии. Я мгновенно подписался на это хлебное место с двумя другими сидельцами Рафаэлевой конюшни. Терять было нечего, я уже достаточно оголодал, наслушался всевозможных историй, и сама общага и ее обитатели мне уже до чертиков надоели. Босс дал нам адрес, объяснил, как проехать, выдал деньги на автобус, и мы отправились в путь, гадая, что нас ждет впереди.

158

Один из моих попутчиков оказался из Оренбурга. Он проработал в Израиле уже пять месяцев у какого-то фермера, державшего несколько огромных теплиц для выращивания экзотических цветов с дальнейшей их поставкой в страны Европы. Судя по рассказу Сергея (так звали этого парня), хозяин только что веревок из него не вил, заставляя работать по 16-18 часов в сутки за кормежку и пятьсот долларов в месяц. Серега был измотан до предела и, в конце концов, сбежал в Тель-Авив в поисках лучшей доли. Был он сух, черен и зол, денег у него почти не оставалось, жить было негде, и он был готов на все. Второй – Володя, приехал по приглашению родственников, живших в Иерусалиме, с месячной визой в кармане, успел поработать на стройке под руководством балабая-марроканца, еле-еле сумел ускользнуть от полицейской облавы на нелегалов и почем зря крыл и арабов, и евреев. В общем, все мы находились примерно в одном положении.

Наша новая общага находилась на Босем-рехов, возле парковой зоны, в глубине квартала, прямо за полицейским участком. Сначала такое соседство вызывало определенные опасения, но через несколько месяцев, когда я более-менее начал понимать обстановку, все страхи исчезли. Общежитие представляло собой ряд одноэтажных построек, огороженных каменной стеной, с внутренним двориком и маленькой зеленой лужайкой. Над головой каждые десять-пятнадцать минут ревели заходящие на посадку огромные воздушные лайнеры; аэропорт Бен-Гурион находился всего лишь в двенадцати километрах к юго-востоку, что гарантировало постоянное шумовое оформление. Но лучше слушать шум моторов в Тель-Авиве, чем взрывы снарядов и визг осколков в Шломи.

Устроившись во дворе на лавочке, мы собрались куковать до утра в ожидании нашего нового хозяина. Было довольно холодно, примерно пять-шесть градусов тепла, и сыро – чувствовалось наличие поблизости большого водоема. У Сереги оказались

кое-какие припасы, которые мы уничтожили в мгновение ока, а сигарету пустили по кругу. Так мы сидели часа три, пока не распахнулась калитка, и во двор вошло человек пять работяг, отработавших свою смену. Узнав, что мы новенькие и нас сюда прислал Рафаэль, они переглянулись и, не говоря ни слова, скрылись в помещении. Тогда я не знал, что нам готовится грандиозный спектакль, главной задачей которого было избавиться от нас любым способом как от возможных конкурентов. Основой действия являлась дезинформация, наглое вранье и описание ужасов, которые нас ожидают. Потом, проработав в этой фирме несколько месяцев, я неоднократно наблюдал подобную психологическую обработку новичков и понял, что это один из многочисленных способов выдавливания хадашей своими же соотечественниками.

Спектакль начался через час, когда двое ребят вышли во двор перекурить. Мы, естественно, набросились на них с расспросами: что за хевра (фирма), кто балабай, сколько платят, дают ли аванс, сколько часов в день приходится работать и т.д. Парни отвечали крайне неохотно, цедя слова сквозь зубы, в основном рассуждали о том, какую крупную ошибку мы сделали, поверив басням Рафаэля, и подписавшись на эту работу. Картина, которую они нам нарисовали, была достойна фантазмагорий Босха и Сальвадора Дали вместе взятых. Мест в общаге не хватает, спать приходится по-сменному. Балабаи – сволочи, один – аргентинский еврей Дани, второй – румынский еврей Нисим. Оба жулики, пройдохи и мерзавцы. Деньги выдают нерегулярно и постоянно обсчитывают на суммы от ста до четырехсот-пятисот шекелей. Талоны на проезд на работу выдают крайне редко, так что приходится ходить пешком по десять-пятнадцать километров в один конец. Рабочую робу и ботинки не выдают, работать нужно в агрессивной среде хлорки, спецмыла, щавелевой кислоты, повышенной температуры и влажности. Рабочий день в среднем по десять-двенадцать часов, но часто обслуживаются дополнительные иеруа (мероприятия), и тогда приходится вкалывать по восемнадцать и более часов. Плата всего 9,4 шекеля в час, когда в других фирмах можно зарабатывать без напряжения по пятнадцать. Есть на работе не дают, что схватишь из объедков – то и твое. Выносить еду категорически запрещено – немедленное увольнение. Часто специально оставляют на столах деньги, провоцируя на кражу. Если взял и не отдал менюэлю (старшему) – немедленный гон. Очень часто в картризах отмечают не фактическое окончание работы, а конец рабочего дня официантов, уменьшая, таким образом, фактически отработанное время на полтора-два часа. Многие рестораны оснащены электронными системами слежения, и каждый твой шаг, каждый промах отслеживаются. Часто практикуется сдвойка смен, то есть, отработав свою смену, остаешься на вторую. Развозка на работу организована так, что тем, кто живет на Босем-рехов, остается на сон три-четыре часа. Многие из тех, кто приходит на работу в хевру, сидят без дела по десять-двенадцать дней в ожидании, когда освободится рабочее место. Аванса здесь не дают, так что придется выкручиваться, кто как может. «Мы вам, парни, по-дружески советуем пойти на стройку, там работа полегче, а платят побольше. Если хотите, дадим адреса и телефоны самых надежных строительных фирм и маклерских контор, где устраивают на работу даже без предоплаты...» Это и есть спектакль, причем самое интересное заключается в том, что он устраивается для таких же, как ты, приехавшими на заработки в Израиль «руссиянами», превратившимися за несколько месяцев пребывания в чужой стране в скотов в человеческом облике. Волчья мораль и волчьи законы царят в большинстве общаг и местах скопления и проживания российских нелегалов. И дай Бог попасть в коллектив, который встретит и примет тебя по-человечески. Тогда не пропадешь.

Тут есть еще один интересный аспект: каждый старается побольше узнать о другом и как можно меньше рассказать о себе. Очень мало парней с открытой душой, охотно идущих на контакт. Причины замкнутости и недоверия к другим таятся в том, что у многих в России остались хвосты: среди нелегалов много отсидентов – лиц, скрывающихся от следствия, разорившихся и обанкротившихся предпринимателей, погряз-

ших в долгах и боящихся расправы, офицеров, изгнанных из армии, и прочей шелупони. Конечно, много и порядочных людей, но, к сожалению, не они делают погоду в местах обитания нелегалов. Вообще, в общежитиях нелегалов собирается такой разноцветно-разнокалиберный кагал, что только диву даешься, как эта гремячая смесь не взрывается.

Во дворе нарисовался еще один паренек и хрипло пробурчал: «Слушайте, мужики! Вы тут на этой холодрыге до утра попередохнете. Давайте вот на эту койку устраивайтесь втроем, до утра и перекантуетесь. Олег сейчас в ночной, ишачит в своем «Бургере», так что поместимся все». В маленькой комнатухе два на четыре было темно, сыро и только чуть-чуть теплее, чем на улице. В ней чудом разместились четыре двухъярусные кровати, маленький столик и стул. На гвоздях, вбитых в стены, висела одежда, а сами стены были сплошняком оклеены вырезками из журналов с фотографиями голых женщин. Пахло немытым телом, прелыми носками и мокрой одеждой. Воздух был тяжелый и спертый. Но выбирать было не из чего, поэтому мы кое-как втиснулись втроем на койку нижнего яруса и попытались заснуть. В комнате храпела, сипела и кашляла незнакомая братия, с которой мне, возможно, предстояло работать и жить. В семь часов утра нас разбудили автосигнал «Ниссана» и громкая ругань шофера Ривки, араба по национальности, доносчика и стукача по совместительству, лихого шофера и большого любителя музыки. На дикой англо-иврито-русской смеси языков и с помощью старожилов он объяснил нам, что нужен один человек, а двое пусть сидят здесь и ждут, когда потребуются. Мои напарники как-то стушевались и решили, что с помощью Рафаэля поищут лучшее место. Меня мутило от голода, так что продолжать дальнейшие поиски работы не тянуло. В салон автомобиля нас втиснулось человек пятнадцать, и мы покатали в неизвестность, которая манила и пугала. Однако другого выхода у меня не было, и я даже не думал о том, что меня ждет на новом месте.

Серебристый «Ниссан-патрол» летел по утренним улицам южной окраины Тель-Авива. Внутри салона, сжатый со всех сторон рабами божьими, находился и я – начинался мой первый рабочий день на земле богоизбранного народа. Джим пересек Моше-Даян-рехов и, забирая влево от Этцель-стрит, нырнул под мост, вырываясь на оперативный простор хай-вэй (трассы). В этот ранний час вся многополосная автострада была забита машинами всевозможных марок, единым потоком катившихся в деловой центр города. Справа, на крутых склонах холмов, окаймлявших трассу, торчали пестрые щиты рекламы, а слева, за бетонным бортиком, бежала железная дорога, которую я уже освоил в своем предновогоднем броске к границе Ливана. Наш маршрут пролегал мимо израильского «Пентагона», оштетинившегося штыками многочисленных антенн, к кафе «Абима», где высадился первый десант ложкомоев, и далее в Рамат-Авив – фешенебельный район еврейских богатеньких Буратин к ресторану «Грин-хауз», кошерному кафетерию музея иудаизма Тель-Авивского университета и «Палас-отелю» – закрытому клубу для «ну очень богатых».

Впоследствии, я, достаточно долго проработав в фирме «Джамп», владеющей сетью ресторанов, кафе и кафетериев, довольно близко познакомился с вышеуказанными объектами и не только познакомился, но и повкалывал в каждом из них до седьмого пота. Дело тут в том, что в нашей хевре сначала было довольно много арабов израильского происхождения, то есть жителей Израиля арабского толка, и это помимо тех, кто приезжал на работу с Территории (Палестины). Ну а арабы – это еще те трудяги. То у них религиозный праздник, то они бастуют, то укурятся вусмерть, а то просто бросят работу к едрене фене и жалуются на предпринимателя в комиссию по защите прав человека за якобы проявленный по отношению к ним национальный гнет и расовую дискриминацию. Самое интересное, что закон, как правило, оказывается на



их стороне, поскольку в Израиле арабы причислены к национальному меньшинству, и доброхотов защищать их мнимые права на удивление много. Предпринимателей просто обязывают иметь среди работников фирмы определенный процент арабов, и горе тому, кто этот процент не обеспечивает. Естественно, что когда начинаются арабские закидоны, технологический процесс обслуживания посетителей нарушается и возникающие дыры приходится латать за счет сверхэксплуатации других работников, как правило, нелегалов. Почему? Нелегал вряд ли откажется от переработки, так как боится гона из хевры, а во-вторых, надеется урвать лишний шекель, даже во вред своему здоровью. Этот, так сказать, пассаж я привел к тому, что руководство фирмы постепенно пришло к осознанию того неопровержимого факта, что лучше уж пусть на кухне работают нелегалы, чем арабы. И арабов стали выдавливать под благовидными предложениями, заменяя их нелегалами из Индии, России и других стран. Как вы понимаете, это вряд ли способствовало улучшению отношения арабов к нам, русским нелегалам. А так как они жили с нами в общаге, то иногда делали нам такие подлянки, что мама не горюй!

В конторе, в которую я попал, система выжимания из рабсилы всех соков была отработана до совершенства. В нашем кошерном кафетерии по штату на подсобе должны были работать два вспомогательных рабочих – один шотэф килим (мойщик посуды) и один хозрабочий. Обе эти функции совмещались, и приходилось вкалывать за двоих, причем, если минимальная почасовая зарплата официально составляла шестнадцать шекелей, то Балабай платил нам только по одиннадцать. Пять оставшихся он клал в свой карман. И такая система обдираловки бесправных гоев царит в Израиле повсеместно. Кроме того, широко распространена система принудительно-добровольных сверхурочных работ. Это означает, что в случае, если тебя после отработки на основном месте перебрасывали на подработку (замену) в другую точку, то ты вкалывал за четверых! Прикиньте: шестнадцасовой рабочий день, час-полтора на дорогу и что там еще остается? Ну, месяца три-четыре еще можно выдержать, хотя уже через пару недель такого напряжения человек превращается в полуживотное, ничего не соображает и живет в полусне. И это еще не форс-мажор для нелегала. На самом деле катастрофой является завал на работе, контакт с миштара-авода (рабочей полицией, как ее называют, хотя это и не совсем верно), тюрьма и последующая депортация. Не знаю, как в России, хотя и более чем уверен, что это так, а на Украине засыпавшихся нелегалов по возвращении бьют по-черному и требуют оплатить каждый день нелегального пребывания за кордоном из расчета 76 центов в день. Не убежден, правда это или нет, но думаю, что правда. Паренек, который мне это рассказывал, отмолотил пятерик в Иностранном легионе, прошел половину Африки, имел большие хвосты на Украине, и смысла вешать мне лапшу на уши у него не было. Украинцы-нелегалы при задержании и заключении готовы идти хоть к черту на рога, лишь бы не возвращаться в объятия «неньки Вкраины», обращаются с просьбами о помощи в посольства США и Канады, отказываются от украинского гражданства, в общем, косят по-черному. Ну, это Украина, иностранное государство. А Россия? Так вот, если вы думаете, что Россия – это другой коленкор, то вы глубоко заблуждаетесь. Но об этом попозже.

Самым форс-мажорным было кафе «Абима». На моей памяти там сгорело человек пятнадцать. Дело в том, что это кафе почему-то было очень популярным среди работников миграционной службы, охотившихся за нелегалами. Даже работа на кухне парламента Тель-Авива представляла собой намного меньшую угрозу. По крайней мере, я не припоминаю, чтобы кто-то на ней погорел, что само по себе достаточно удивительно и оригинально. Ведь служба безопасности парламента стопроцентно знала о том, что на кухне «прописаны» русские нелегалы, и тем не менее, кардинальных мер не предпринимала, делая вид, что нас не существует в природе. И на том спасибо. А вот «Абима» была кошмарным местом. Гребаный балабай с маниакальным упорством посылал нелегалов в это кафе, и каждый идущий знал о том, что его шансы «залета»

мгновенно увеличиваются до предела. Я сам терпеть не мог этот гадюшник еще и потому, что менеджер был типичная сволота, заставлял кроме работы на мойке чистить шерутимы (сортиры), смотрел волком, никогда не разрешал поесть и «резал» часы. Сам я только однажды был на грани прокола, когда служба безопасности университета пронюхала, что я не але хадаш (вновь прибывший еврей), и у меня нет теудат зеута (удостоверения личности). Помог господин случай.

В этот день вышел из строя «Хобарт» (посудомоечная машина), и мне пришлось всю посуду мыть вручную. Наплыв посетителей был большим, на мойке стоял дым коромыслом, жутко парило, я работал в темпе маэр-маэр (быстро-быстро). Пот лил ручьями, стекла очков запотевали, снова приходилось, как челноку, между кухней и залом и, кроме того, мыть, мыть и мыть. Я не сразу осознал, что около мойки скопилось подозрительно много охранников универа и что они слишком пристально меня разглядывают. Как-то вдруг сразу поплохело, и мне подумалось: «Вот и пи...ец! Приехали, приплыли». Подтверждая худшие предчувствия, наш повар Володя, длинно матюкнувшись по-русски, стал, отчаянно жестикулируя, что-то объяснять столпившимся церберам. Завязалась перепалка, в которую постепенно втянулись почти все наши работники. Должен сказать, что кто не видел настоящий еврейский базар-вокзал, тот вообще ничего не видел. Казалось, вот-вот в ход пойдут кулаки и от нашей кухни останутся рожки да ножки. Но... Бизнес превыше всего. Высокие договаривающиеся стороны, как я потом узнал, пришли к выводу о том, что пахать-то все равно кому-то на мойке надо, еврей сюда нейдет ни за какие коврижки, а если этот идиот из России согласен здесь париться и мантулить за гроши, то да будет так. Интерес к моей персоне был потерян, все вроде бы утряслось, но неприятное чувство своей второсортности и никчемной пешки еще долго бередило душу и не давало уснуть по ночам.

Но вернемся несколько назад. Предпоследний пункт выброски – Тель-Авивский университет, где я вытряхиваюсь из машины и в сопровождении шофера Ривки пересекаю границу универа, пройдя небольшой шмон на проходной. Секьюрити здесь работают на должном уровне, охранники вежливо-внимательны и, как я подозреваю, обладают фотографической памятью. По крайней мере, меня перестали проверять дня через три, видимо, я за это время достаточно примелькался. Университет какой-то праздничный, вылизанный и вольный. Газоны, лужайки, цветы, скульптурные композиции, симпатичные уютные корпуса различных факультетов органично вписываются в общий ландшафт. Однако мне было не до красот, температура январского воздуха явно зашкаливала за двадцать градусов тепла, и я в своей зимней куртке среди повесенному одетых израильтян выглядел нелепо и довольно странно, да и самочувствие оставляло желать лучшего. Пройдя метров тридцать и миновав еще один пост охраны, мы, наконец, попали в музей истории иудаизма исторического факультета, на первом этаже которого и располагался кошерный кафетерий, ставший для меня на многие месяцы не только основным местом работы, но и полигоном, на котором из меня лепили работягу без мыслей и чувств, призванного идеально и слепо выполнять свои функции. Надо сразу сказать, что я попал далеко не в худшее место и о многих сотрудниках фирмы «Джамп» у меня до сих пор сохранились теплые воспоминания. Конечно, взаимопритирка протекала далеко не гладко, да и наши взгляды на работу как таковую отличались не то чтобы кардинально, но весьма существенно. Мне крупно повезло в том отношении, что все работники кафетерия, за исключением директора Этцеля и нашего шеф-повара Арона, были русскоязычными, то есть моими бывшими соотечественниками из СССР и России, дернувшими из империи в разное время и по разным причинам. Это были представители разных волн эмиграции, которых кроме еврейского происхождения объединяло еще и одно – горечь. Да-да, я долго не мог подобрать эпитета, в полной мере характеризующего состояние душ людей, с которыми мне пришлось работать. И только по мере узнавания мотивов и причин,

толкнувших их на эмиграцию, я понял, что наилучшим определением внутреннего состояния олимов (репатриантов) является горечь.

Когда знакомишься с судьбами своих бывших соотечественников, то сначала охватывает растерянность, потом недоумение и, наконец, злость. А главное, понимаешь, что хотя ты и сам оказался за тысячи километров от своей страны, на самом деле твои злоключения и несчастья выглядят несколько бледно по сравнению с теми, которые пришлось пережить и преодолеть многим евреям. Волны их репатриации из России начали подниматься еще в семидесятых годах прошлого столетия, но особый размах они приобрели с началом перестроечных горбачевских реформ, а точнее – с распадом СССР и вспышкой этнического самосознания населения в республиках бывшего Союза. На одной шестой части суши забушевали локальные этноконфликты и войны, унося в небытие и выметая за кордон сотни тысяч людей. Русским, проживавшим за пределами России, тоже пришлось не сладко. Я сам на своей шкуре испытал, что такое ненависть к русским, подогреваемая пронационалистически настроенной интеллигенцией в Среднеазиатском регионе. Уже в Израиле я с удивлением узнал, что в годы перестройки были еврейские погромы в Баку, Тбилиси, Ереване, Алма-Ате, Самарканде и других городах. Евреям пришлось любыми путями вырваться из перестроечного ада агонизирующего Союза и рвать когти на свою историческую родину. Уходил цвет – физики и химики, музыканты и врачи, морские офицеры, кандидаты и доктора всевозможных наук, представители творческой интеллигенции. Грузчиков, слесарей, мусорщиков и маргиналов среди отъезжающих почти не было. Уходили лучшие из лучших, те, кто был уверен, что там, в далеком Израиле, манящем и притягивающем к себе, обещающем заботу и покровительство, но, одновременно пугающем неопределенностью и неизвестностью, они выживут, адаптируются и займут достойное место под солнцем. Страна «катастрофы» на много лет вперед обеспечила Израиль, и не только его, высококвалифицированными, подготовленными в лучших вузах и академиях СССР и России кадрами.

Вот так, в результате реформаторских новаций, оказались выброшенными за борт российского дребноута и нынешние работники кошерного кафетерия музея истории иудаизма Т-А универа, или, как его еще называют, «визитной карточки Израиля». Компания собралась как на подбор. Повар – «Гнесинка», заслуженный артист России. Второй повар – Бакинская консерватория, бывший главный дирижер каспийской военной флотилии, замдиректора – «Гнесинка», лауреат многочисленных международных конкурсов (фортепиано), раздатчица – МХТИ, доктор химических наук, пикколо (уборщик посуды) – бывший замдиректора самаркандского музея, салатница – врач-инфекционист, кассир – выпускница спецшколы новосибирского Академгородка, и я – демограф, выпускник МГУ – шотэф килим и по совместительству – хозрабочий. Нормалек? «Судьба, в ее течении деяния людей, как камешки на дне прозрачного ручья...» Недаром говорят, что судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Мне лично такие игры совсем не нравятся, да и моим бывшим соотечественникам в большинстве своем тоже. Судьбой здесь и не пахнет, но вот обстоятельства действительно бывают сильнее нас. У всех были явные причины, мягко говоря, недолюбливать не отечество, но государство, вынудившее их искать лучшей доли на земле обетованной.

Для меня главной причиной сваливания за бугор была безработица и бесперспективность прозябания в Майкопе. Да и материальный фактор играл не последнюю роль. По крайней мере, в туристическом агентстве мне обещали заработок семьсот-восемьсот долларов в месяц, что казалось фантастической суммой. Странная у нас страна. Кандидат экономических наук, и.о. доцента, работающий на полуторной ставке, получает в месяц столько, сколько паршивый мойщик посуды в Израиле за два дня работы. Где логика? Принцип адекватного труду денежного вознаграждения, еще никто в цивилизованных станах не отменял, хотя и тогда, в 1998 году и сейчас – в двух-

тысячном, этот принцип в России зачастую игнорируется. Результаты налицо. Дефолт, экономический хаос, стагнация, стагфляция, депрессия, враждебная населению социально-экономическая политика, проводимая государством. В стране созданы все условия для успешной деградации и вымирания населения, геноцид с общечеловеческим лицом.

Население России корчилось под ударами судьбы, глухо матюкалось, воровало, пило, из под палки и по привычке кое-как работало на предприятиях-банкротах, лихорадочно искало пути выхода из тупиковой ситуации. Челночный бум затих, люди мотыжили свои «сотки», надрываясь от каторжного непосильного труда, бичи и бомжи почем зря грабили дачи и садово-огородные кооперативы, чиновничество распухало, как на дрожжах. Как я написал в одном из своих стихотворений: «Жизнь не пенилась и не бурлила, был прожиточный минимум мал, тест на рыночность Русь проходила, получала заслуженный балл...» Грустно, девушки, как говаривал Остап Бендер. Особенно если учесть, что наши политики обещают нам выход на уровень ВВП 1989 года только в... 2030 году. Действительно, было бы смешно, если бы не было так грустно.

Мой первый рабочий день получился каким-то скомканным. Мало того, что я был слаб от голодухи и недосыпа, я и своих новых обязанностей толком не знал, поэтому и тыкался в разные стороны, как слепой шенок, нарываясь на бесконечные окрики и «ценные указания». Да, первоначальное отношение ко мне со стороны старожилов было более чем прохладным. Это, в общем-то, и понятно, так как я поначалу явно выпадал из общего слаженного ансамбля. Недаром я упомянул выше, что этот кафетерий является визитной карточкой Израиля. Ежедневно мы обслуживали 250-300 и более посетителей. С самого утра их поток был достаточно большим, преобладали репатрианты и туристы со всего мира, предъявлявшие, как правило, повышенные требования к уровню обслуживания. Туристические маршруты по Тель-Авиву были рассчитаны таким образом, что путешественники в первую очередь посещали музей иудаизма университета и, естественно, наш кафетерий. Кстати, гайдами (экскурсоводами) в этом музее работают многие выходцы из России (СССР) – искусствоведы, историки, добрая половина из которых окончила МГУ. Меня удивил тот факт, что очень многие посетители являлись выходцами из СНГ, причем преобладали подростки и молодежь. Я диву давался – откуда такой наплыв и как это понимать?

Гора посуды росла угрожающе быстро. Это же сколько вилок, ложек, чашек, тарелок, подносов надо на эту прорву клиентов?! И все должно быть перемыто в трех водах, просушено, рассортировано и отнесено из кухни в раздаточный зал. Стоять некогда, времени просто нет потому, что у меня постоянный цейтнот, явно проигрываю соревнование на скорость с прожорливой и ненасытной оравой. «Неужели так будет всегда? Куда я попал? Выдержать, выдержать, может, хотя бы дадут поесть. Надо держаться во что бы то ни стало», – вот какие мысли крутились у меня в голове, когда я впервые столкнулся с серийным (а для меня – пыточным) производством на настоящей кухне. Я подчеркиваю – настоящей. Это высокомеханизированный и автоматизированный комплекс по приготовлению пищи, напичканный стимерами, чипсерами, фризерами, холодильниками с предельной продуманностью и рациональностью. Продукты заказывались у оптовых фирм с калибровкой типоразмеров овощей, картофеля, апельсинов, рыбы и т.д. и были свежайшими. Все поступающее подвергалось тщательному контролю не только со стороны шеф-повара, кстати, закончившего лозаннскую академию поварского искусства, но и раввината, представитель которого был постоянно прописан в нашей кафетерии. Рецептура блюд тщательно соблюдалась, а требования к качеству пищи и чистоте на кухне были просто фантастическими. Все было нацелено на поддержание высшего уровня всего и вся на кухне и в кафетерии. Соответственно, и требования к работникам были предельно жесткими. Темп работы был бешенный и спуску мне никто давать не собирался.

С первого дня работы я попал под жесткую опеку всех и всякого, кому было не лень указать мне, кто я есть. Неделя шла за неделей, но пресс не только не уменьшался, а, наоборот, увеличивался. Как мне популярно объяснили – главное это не мойка, не приготовление пищи и обслуживание посетителей. Все это, само собой, должно быть на высшем уровне. Главное – это получение прибыли и, соответственно, зарплаты и премиальных бонусов, являющихся закономерным результатом отличной работы. В целом с этой концепцией нельзя было не согласиться, если бы не одно маленькое но...

Есть такое понятие как отчуждение. Если все работники кафетерия являлись в какой-то мере его совладельцами и поэтому были кровно заинтересованы в максимизации прибыли, то мне их заботы были до фонаря потому, что вне зависимости от результатов работы я получал свою почасовку, да и то в урезанном виде. Но чем отличается действие системы от единичного, дискретного воздействия? Тем, что, оказывая всестороннее комплексное влияние на достаточно податливый человеческий материал, она неизменно оказывается в выигрыше, несмотря на яростное сопротивление индивида и его активное неприятие догм, законов и правил системного Молоха.

Собственно говоря, человек – это такое животное, которое ко всему привыкает. Особенно это относится к совкам, долготерпение которых практически беспредельно, а умение выживать в экстремальных условиях, заложено, вероятно, на генетическом уровне. Так и я незаметно, потихоньку втягивался в круговорот работы кафетерия, трансформируясь, изменяясь, приспособляясь к жестким параметрам требований и коллектива, и конечной цели. Да и осознание того, что я могу ежемесячно отсылать домой по триста-четыреста долларов, тоже играло немаловажную роль. Многие россияне, с которыми я работал, так и не смогли наступить на горло собственной песне. Их бесило то, что к нелегалам относятся с пренебрежением, как к людям второго сорта. Многие из-за этого срывались, уходили в запой, шли на конфликт и на работе, и с балабаем и, как правило, проигрывали вчистую.

А, собственно, за что уважать нелегала? Нас презирают за то, что мы готовы вывернуться наизнанку, работая за мизер, на который не согласится никто из коренных жителей. Мы в буквальном смысле гробимся на тяжелых, опасных и вредных работах, пренебрегая техникой безопасности. И работа нам мстит многочисленными травмами, болезнями, физическим и моральным истощением, а здоровье не купишь ни за какие деньги, да и лечиться нелегалу нигде и некогда. Вот и оказываются многие нелегалы в прогаре несмотря на зелень, заработанную за кордоном каторжным трудом.

Каждый день нес что-то новое и неожиданное. Круг моих обязанностей постоянно расширялся. Я не только мыл посуду, но и принимал, сортировал, чистил, раскладывал по полкам, ящикам и холодильникам овощи и фрукты, готовил сэндвичи (ежедневно сто пятьдесят штук пяти сортов), жарил чипсы, варил пунш и проделывал еще множество операций. Проблема кормежки отпала сама собой, общага была бесплатной, я почти адаптировался к новой среде и условиям обитания. Свободного времени как такового почти не было, изредка удавалось отдохнуть в шабат, если не брали на подмену. Субботние подмены с поездками в Рамат-Ган, Рамат-Авив, Герцлию, Нетанию и другие города Израиля несли и новую информацию, и новые впечатления. Уже в йом-ришон (воскресенье – первый день рабочей недели) круговорот деловой активности израильтян начинал нестись с удвоенной энергией, вовлекая в свое безостановочное движение и рабов-нелегалов. Меня все чаще стали дергать на подмены и замены, времени на сон, отдых и восстановление становилось все меньше, силы убывали, по ночам мышцы сводило судорогами, я сильно похудел. Но я не сдавался, выхода все равно не было, а остаться без работы означало для меня катастрофу потому, что почти все деньги я отсылал домой.

Закончился мой первый день в качестве ложкамоя. Получив порцию вьедливых замечаний от нашего повара, я в сопровождении шофера Ривки, наконец, покидаю тер-

риторию универа и втискиваюсь в джип, где меня уже ждут ребята, отпахавшие на других объектах. Первый вопрос:

– Хавку взял?

– Да вы че, мужики, охренели? Я же первый лень работаю! Дайте осмотреться, а там поживем – увидим, посмотрим, попробуем, может, что-нибудь и перепадет.

Как в воду глядел. Перепало. Мой кафетерий оказался одним из немногих заведений, где разрешали брать пищу домой. Вообще-то это не поощрялось, и мой шеф-повар очень долго косился и скрипел по поводу того, что я беру еду домой, хотя никакого ущерба кафетерию я не наносил. Сами работники кухни не делали этого никогда, считая подобные действия оскорбительными для своего достоинства. Ну а мое достоинство скромно молчало и прислушивалось к урчанию голодного желудка. Я прямо скажу: эта еда была огромным подспорьем не только мне, но и моим невольным товарищам. Очень часто, когда у кого-то не было работы и денег, а это касалось в первую очередь новичков, несуну помогали им выжить в непривычных условиях и продержаться до первых рабочих дней. В нашей фирме такие периоды могли длиться неделю, две, а то и больше. Попробуй тут выжить в одиночку и не пропасть! Дело достаточно трудное, поверьте. Это потом, когда ты уже поварился в этом котле несколько месяцев, становится легче, а сначала одиночке лучше прибиться к какой-нибудь компании, чтобы выжить.

Общага. Как много в этом слове... «Комната с белым потолком, с правом на надежду...» Меня мотало по общагам лет двадцать, но такого убожества, как в своей первой хевре, я не видел ни до, ни после. Кадры официальной кинохроники иногда показывают нам трущобы Запада и бидонвили Южной Америки. Трущобы есть везде, во всех странах, хотя и отличаются друг от друга. Да и само понятие трущоба довольно растяжимо. Если у нас его почему-то путают с хрущевой, то это означает, что жареный петух свое дело сделал не до конца. Просто россияне не представляют себе, в каких условиях живут на дне за границей. Нормальному человеку такие условия могут лишь привидеться в полуночном кошмаре. И, тем не менее, нелегалы живут и выживают в этом экстриме, утешая себя тем, что все перемелется – мука будет.

Удивительные мы все-таки люди! Живем дискретно, искусственно разделяя течение жизни на периоды и сроки выполнения поставленных задач. Живем, надеясь пережить временные трудности, а уж потом «оторваться на полную катушку». Утешая себя, говорим: «Да, ладно, подумаешь... Отышачу здесь год, ну полтора и вернусь домой с башлями, на белом коне. Ну а как мне эта зелень досталась, я из скромности умолчу». Мы не понимаем или не хотим понимать, что гонка за эфемерным, призрачным богатством бесконечна и бесперспективна. Растрачивая силы на то, чтобы по возвращении домой быть первым парнем на деревне, тратим самое драгоценное, что отпущено нам Всевышним – время. И самое обидное, что делаем это зачастую под давлением внешних обстоятельств.

Условия общаги приближены к экстремальным, но, в принципе, если есть крыша над головой и есть куда бросить кости, то остальное постепенно наладится. Основная проблема общежитий – это взаимоотношения между обитателями, которые зачастую оставляют желать много лучшего. Наше пристанище вообще было проходным двором для всех попадавших в хевру. Народ приходил и уходил, менялся, не успевая толком познакомиться, да и такого желания у большинства не наблюдалось.

Обычно народ кучковался по принципу землячества, взаимных интересов и симпатий, сходства характеров и судеб. Но в целом каждый старался быть предельно независимым и самодостаточным. Новички обычно отделялись пропиской и через несколько дней исчезали. Кто отправлялся в Иерусалим (Ерушалаим), кто в Петах-Тикву или еще куда-нибудь. Хуже всего было не попасть в штат, то есть не иметь постоянного места работы. Таким трудягам приходилось тяжелее всего – рванный ритм

работы, длительные простои, постоянная смена мест, неизвестность будущего и неопределенность настоящего. Плохо было и тем, кто зависал в бургерах. Наш балабай поставлял рабсилу в сеть «Бургер Кинг» – закусовые фаст-фуд типа «Макдональдс». Обычно брали на ночную уборку, причем вся еда – это, в лучшем случае, пара бутербродов и кофе. Все остальное под замком и строгим учетом, так что особо не разгуляешься и вволю не поешь. Еще более тяжелая работа на фабриках-кухнях – погрузки-разгрузки, не лимитированная работа, постоянные задержки зарплаты, бесконечные разъезды. Так что те, кто работал в черте Тель-Авива, попадали, так сказать, в привилегированное положение, хотя и у них хватало всяких заморочек.

Я как-то попал в кафе «Аппропо» фешенебельного комплекса «Си гейт» в Рамат-Авиве, на кухню закусовой итальянского типа с интернациональным экипажем. Хозяин – еврей, повар – немец, пикколо – румыны, уборщики – арабы, хозрабочие – болгары, мойщики посуды – русские, в общем – кагал. Все бы ничего, если бы не скряга-хозяин и не высокая вероятность попадания в лапы миграционной службы. До сих пор вспоминаю, как попал под облаву в этой забегаловке и чудом избежал тюрьмы. В этот день из нашей фирмы на работе в «Си гейт» пахали трое. Володя и Сергей имели весьма колоритную и, я бы сказал, типично русскую внешность, да и по возрасту они никак не вписывались в ряды пикколо, поскольку относились к разряду сорокетов и старперов. Я как раз вывозил мусорные баки, когда нагрянула миштара авода и начала шмонать пиццерию. Ребят, естественно, повязали, надели наручники, погрузили в автозак и увезли. Менеджер поехал давать объяснения, арабы под шум волны начали качать права, мы устроили хофиш (отдых), работа кафе была парализована, ну а посетители кляли, на чем свет стоит, полицейских, от забот которых становится тошно и невозможно вовремя поесть.

Как бы то ни было, дорабатывал я этот день с тяжелым осадком в душе, не только потому, что сам едва не сгорел, но и потому, что знал предысторию обоих парней и представлял себе, что их ждет впереди.

Санек, земляк из Краснодара, рассказывал мне, как работал сварным в кибуце на границе с Территорией. Попал он туда, клюнув на обещания балабая платить по сорок шекелей в час, плюс бесплатная кормежка и проживание. В действительности хавка и крыша над головой (строительный вагончик) были бесплатными, платил балабай хоть и не по сорок шекелей, а по тридцать, но регулярно. И, тем не менее, Санек оттуда бежал, несколько суток ночами крался по обочинам дорог, уходя от бешеных бабок и проклиная балабая, заманившего его в это гиблое место.

А ларчик открывается просто. Мало кому известно, что Израиль осуществляет планомерную ползучую территориальную экспансию против Палестины. Так как мировое общественное мнение не позволяет осуществить прямую аннексию палестинских земель, то задействована простая до гениальности схема использования факта проживания евреев на территории Палестины в святых для евреев местах. Палестинцы по своей дурости часто нападают на еврейские поселения, провоцируя Цохал (армия Израиля) на ответные действия. Под предлогом защиты интересов еврейских поселенцев на Территорию вводятся войска, проводятся массовые облавы, аресты, зачистки близлежащих арабских деревень от подрывных элементов. Вслед за этим освободившаяся территория немедленно осваивается и заселяется. Обычно работы ведут иностранцы – болгары, румыны, украинцы, то есть рабсила из стран, с которыми у Израиля есть договор по линии обмена, привлечения и использования иностранных специалистов. И, конечно же, там работают русские нелегалы, жизнь которых вообще бесценна, то есть не стоит и плевка.

Но так как попавшие на теплое место быстро спохватываются, то их начинает охранять армия. Тех, у кого есть рабочая виза, успокаивают угрозами разрыва контракта, который заключается таким образом, что работяга, получивший визу по форме «В-1», намертво привязывается к одной фирме, и если он ее покидает, то под-

лежит высылке на родину. Ну а с нелегалом можно вообще не церемониться, пришьют – ну и никому от этого не холодно и не жарко. Вот Санек и попал в такое место, где походил рядом со смертью чуть ли не полгода. Игра со смертью по-своему, конечно, интересна, особенно, когда о ней читаешь в крутом детективе, лежа дома на диване. Но в натуре дело это неблагоприятное, потому что смерть – игрок беспощадный, и шанса отыграться никому не дает. Я и сам, когда чуть-чуть не попал ей в лапы, здорово перетрухнул, и врачам Ихиллов-хоспитал с превеликим трудом удалось меня выпарпать из рук костлявой и вернуть по-новой в этот прекрасный многогрешный мир.

В общаге, в комнате со мной жил румынский паренек Тити – этакий добродушный увалень, безотказный работник и неплохой товарищ. Он тоже подорвал с объекта, подобно тому что я описывал выше, и очень боялся, что его заметет миштара. А балабай, в свою очередь, этим пользовался и гонял пацана почем зря на самые тяжелые работы. Тити не выдержал, и дело дошло до рукопашной, чему я сам был свидетелем. А кончилось все тем, что балабай сдал его полиции, и Тити загремел за решетку.

Поддерживать добрые отношения с балабаем и работодателями-фирмачами достаточно сложно, поскольку каждый из них преследует свои собственные цели, но и та и другая сторона отыгрывается, как правило, на нелегале. В любом случае и при любом раскладе в проигрыше оказывается нелегал, на которого смотрят не иначе, как на говорящее орудие труда. Кроме того, когда ты являешься временным работником, то у менеджера заведения единственная по отношению к тебе задача – выжать из тебя все по максимуму. И если наемная рабсила начинает фордыбачить, то ее попросту выбрасывают бахуц (на улицу). Многие рестораны, кафе и кафетерии оснащены системами видеоконтроля, наблюдения и слежения. Каждый твой шаг фиксируется, и каждый проступок берется на учет, и не просто на учет, а тут же пресекается и наказывается.

Любимым занятием у менеджера «Таун гейт» была слежка за мэлцарами (официантами) и работниками кухни. Причем кафе было, на мой взгляд, беспонтовое и кормили там невкусно, хотя рейтинг этого заведения у евреев оставался на удивление высок. Скорее всего, это объяснялось тем, что его часто посещали высокие должностные лица парламента Тель-Авива. Бывало, улучив момент, только возьмешь что-нибудь поесть (и ведь ешь-то на ходу!), – вылетает менеджер и начинает орать благим матом, призывая на твою голову все беды и несчастья, поминая тебя, твоих родственников и Россию тихим, добрым словом.

Естественно, ребята шли работать в этот кафетерий очень неохотно. Пару раз, нарвавшись на скандал, я сам стал провоцировать излишне ретивых мэнгуэлей (старших шестерок) на принятие ко мне адекватных мер. Начал косить под дурака, волынить и (о, Боже!) пить хозяйское пиво, благо ящики стояли в подсобке. Цель была простой – добиться того, чтобы меня не привлекали к работе именно в этом кабаке. И я этого почти добился. Но тут, на мою беду, изменилась ситуация в самой нашей фирме, которую начало лихорадить от недостатка рабочих рук, занятых на подсобной работе. С одной стороны, менеджеры доэкономились на рабсиле до предела, а с другой – начался массовый исход арабов и нелегалов из хевры. Сначала дернули арабы, потом, так уж случилось, миштара выбила из наших рядов человек двадцать, и многие из моих подельников, видя, что дело пахнет керосином, один за другим начали уходить в другие компании. Притока новых кадров в ближайшем будущем не ожидалось, так что на мой демарш просто закрыли глаза.

Собственно говоря, труд рабов-нелегалов является естественным компонентом капиталистической системы хозяйствования, о чем свидетельствует наличие армии полурабов из стран СНГ в России. Стараясь перестроить свое хозяйство по западному образцу, наша страна одновременно приобретает и все пороки современного капитализма. И тут ничего нельзя поделать. Можно смягчить ситуацию, можно



затушевать или подретушировать негативные моменты нового экономического строя, но, в принципе, проблема неразрешима, поскольку она органически присуща всемирному экономическому спруту...

### III

Это был обычный день, приближался Песах (один из главных еврейских праздников), и кафетерий работал в режиме маэр-маэр (быстро-быстро), стараясь справиться с резко возросшим наплывом посетителей. С утра и до вечера туристы, побывавшие в музее истории иудаизма, толпами валили к нам, чтобы подкрепиться. Кафетерий предлагал только кошерную (разрешенную раввином) пищу, и раввин, прикомандированный к нашему кафе, совал нос во все дыры, надоедая своими мелочными придирами. Надо сказать, что коллективное поведение евреев представляет собой любопытный и загадочный феномен, напоминающий реакцию муравьев на внешнее воздействие и вмешательство в их четкую, налаженную жизнь, где каждый выполняет определенную функцию. Сравнение, конечно, не совсем точное, но то, что заводиться с полуоборота и доводить дело до хипеша и эмоционального взрыва для евреев плевое дело – это аксиома. Наступает время, когда ты уже кожей начинаешь чувствовать приближение грозы, причем, что удивительно, разборка может зародиться на пустом месте из-за любой мелочи. Тем не менее, конфликтующие стороны вкладывают в ссору столько эмоций, сил, энергии и страсти, что просто диву даешься. Это когда смотришь со стороны. Намного хуже, если ты сам невольно оказываешься втянутым в это дело и вообще труба, если все ополчатся против тебя.

Выдержав утренний наплыв посетителей, и перебив горю посуду, я поставил посудомоечную машину на промывку и переключился на разделку рыбы. К моменту событий я был уже не совсем шотэф килимом (мойщиком посуды), но еще не вполне озэр табахом (помощником повара). Статус у меня был очень странный, что позволяло поварам гонять меня как наскипидаренного, чуть ли не ежеминутно напоминая мне, что я теперь получаю на два шекеля больше. А то, что работы стало в два раза больше, так этого мои шефы старались не замечать. Я уже писал, что кухня нашего кафетерия – это нечто особенное и сверхсовременное. Оборудование было просто хай-класс, такого количества ложек плошек, поварешек, вилок и ножей разных форм и типоразмеров я еще никогда не видел. Вот с ножа все и началось.

На кухне кафетерия был замечательный набор ножей, которые крепились на стене магнитными присосками. Ножи диковинных форм, с насечками, зубцами и без оных, от полтораметрового двуручного до малыша длиной восемь-девять сантиметров. Сделанные знаменитой немецкой фирмой из золингенской стали, они представляли собой само совершенство. Работать с ними было одно удовольствие. Естественно, стоил такой набор весьма недешево, и шеф-повар следил за их наличием и сохранностью.

*Окончание в следующем номере*

## Она сшивает время и пространство

Видео-книга Н. Мери «Поэтическая география»  
Kinovia, 2012

Она сшивает время и пространство, вдевая в иглу воображения нить поэтического таланта. И мы с вами уже в ином измерении, где города и страны окутывает серебристый туман, где Нью-Йорк находится на острове одиночества, Аргентина нежится в волнах танго, под окнами, на пригорке – Россия в венке из багряных кленовых листьев, а над Парижем дождем проливаются слезы угасшей любви...

Наталья родилась в России. Вскоре отца направили на работу в Алжир. Так и случились первые географические открытия: Россия – Алжир – Египет – Эстония. В Таллинне Наталья встретила своего будущего финского мужа, уже в Финляндии у нее родилась дочь. Стихи ее родом из детства, когда строки появляются легко и радостно. Домашняя библиотека открыла девочке мир Пушкина, Чехова, Лескова, Маяковского, погрузила в глубины русской культуры и воспитала взыскательность к слову.

13 сентября 2012 года в музыкальной гостиной центра науки и культуры России города Хельсинки состоялась премьера видео-издания «Портрет в интерьере поэзии и географии».

Книга-фильм состоит из четырех частей: «В шотландском замке», «Догорает вечернее солнце», «Восточный уголок», «За письменным столом». Стихи в фильме исполняются автором Натальей Мери.

Целью работы было не только познакомить зрителя с поэзией Натальи Мери, но и создать ее автопортрет. И это удалось: фильм «Поэтическая география» хочется смотреть вновь и вновь. Стихи в авторском исполнении завораживают певучестью, естественностью и глубиной чувств.

После просмотра остается ощущение того, что зрителю подарили тепло и красоту, осветившие будни искрой таланта.



Творческая группа KINOVIA:

Ирина Пилар  
Людмила Маковейчук  
Станислав Воронин